

**Феликс
РАХЛИН**

**ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО**

Воспоминания

Часть 1

Харьков
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2015

УДК 821.161.1'06-94
ББК 84(2Рос)6-442
Р27

Художник-оформитель
Б. Е. Захаров

Рахлин Ф. Д.
Р27 **Повторение пройденного.** Воспоминания. Часть 1 /
Ф. Д. Рахлин. — Харьков: ООО «Издательство права чело-
века», 2015. — 288 с., фотоилл.

ISBN 978-617-7266-23-4

Автору этой книги, на момент её выхода в свет, исполнилось 84 года. Из них в детстве и юности он в разное время около десятка лет жил в Рос-сии, около 45 лет — в Украине, а последние четверть века — в Израиле. Журналист, педагог, писатель. Автор трёх стихотворных сборников, ряда мемуарных книг, критико-библиографических обзоров, публицистических статей. Лауреат израильской литературной премии имени Виктора Некрасова «За гуманизм творчества» (2014).

Книга «Повторение пройденного» — это воспоминания автора о жизни его и его семьи, попавшей в мясорубку сталинских репрессий. Начав писать их на рубеже своего сорокалетия, ещё без малейшей надежды на их опубликование, автор решил создать правдивый рассказ о событиях, парадоксах и нелепостях своего времени, о быте и нравах эпохи. Большинство сюжетов связаны с Харьковом. Часть первая — хронологическое повествование о детстве и отрочестве рассказчика, о жизни в эвакуации и параллельно — о трагедии его семьи.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1'06-94
ББК 84(2Рос)6-442

ISBN 978-617-7266-23-4

© Ф. Д. Рахлин, 2015
© Б. Е. Захаров, художественное
оформление, 2015

*Светлой памяти моей двоюродной сестры
Зори Разумбаевой,
самоотверженность которой сделала
возможным издание этой книги.*

Автор.

*Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?*

Борис Пастернак

ВСТУПЛЕНИЕ

Ю. Милославскому

* * *

Всю первую половину своей жизни я писал за других!

* * *

В наш седьмой класс явилась толстая, добрая тётя. Она предложила подросткам откровенно ответить на вопросы анкеты: как мы относимся к школе, к учителям, директору, завучу, друг к другу. Тайна исповеди гарантировалась.

В те времена (1945 – 1946 учебный год) такие опросы были редкостью. Я увлёкся. Отбросив приготовление к урокам, просидел несколько часов и написал целый трактат.

Прошли годы. Как-то был в гостях. К хозяевам дома забежала на минуту соседка в халате и шлёпанцах. В ходе возникшего разговора выяснилось: это мама моего школьного приятеля, кандидат педагогических наук. Узнав, что я знаком с её сыном, спросила, как моя фамилия. Услышав ответ – ахнула:

– Боже мой! Вы – *тот самый Рахлин?!* Да ведь на вас построена центральная глава моей диссертации!

Оказалось, это она приносила ту анкету. Мой искренний мальчишеский бред послужил учёной даме для каких-то серьёзных научных выводов, составивших, как она выразилась, «не просто сердцевину, но изюминку» её труда.

В 1951-м году, в один из чёрных дней моей юности, мне улыбнулась судьба: слепой аспирант кафедры философии Харьковского госуниверситета Мара Спектор пригласил меня на должность чтеца. Это был искомый кусок хлеба!

Мара писал диссертацию «Философский материализм Радищева». Пока шёл сбор материала, я, действительно, только читал вслух да делал по его указанию выписки, раскладывая их по многочисленным тематическим папкам. Но вот настал «первый день творенья». Под Марину диктовку я вывел на белом листе первое слово: «Введение». А дальше дело застопорилось.

Мара – милый, славный, незаурядно способный человек с отличной памятью, хорошо усвоенными знаниями по университетской программе и «кандидатскому минимуму», но связно, гладко формулировать мысль, диктовать готовые фразы ему было неопишимо тяжело. «Глядя» пустыми, выжженными на войне глазницами через тёмные стёкла очков, он напряжённо пытался скототить предложение, общий смысл которого мне уже был ясен. Жалко было смотреть, как он мучается, и я предложил:

– Подожди минутку: я сам попытаюсь записать то, о чём ты мне толкуешь, а потом я тебе прочту...

Работа пошла веселей: мы обсуждали очередной пункт плана, перечитывали все выписки, относящиеся к этому пункту, а потом я писал, уже без его участия, кусочек текста, прочитывал его, и он утверждал написанное, тщательно следя, чтобы я не впал в презренный идеализм и ползучую метафизику. Так была написана вся диссертация. Мара с успехом её защитил в 1953 году, в самом начале хрущёвской «оттепели», а я сидел среди публики, а потом пил горькую на банкетах: полуофициальном – в ресторане «Люкс» и домашнем – для самых близких друзей и знакомых.

Подпив на одном из этих торжеств, я стал бравировать знанием наизусть сложных, со «славянщиной» (словечко Радищева) цитат из его сочинений. Как вдруг один из гостей, Марин товарищ по несчастью Л. Б., тоже слепой, но преподававший не философию, а «основы марксизма-ленинизма», отыскал меня

по голосу в толпе гостей и стал переманивать к себе на службу, посулив прибавку к жалованью. Однако я остался верен своему Мару, платившему мне за 10 часов почти непрерывной работы (подчёркиваю это ничуть не в осуждение!) 500 тогдашних рублей в месяц плюс плотный завтрак в получасовой перерыв.

Мара – славный парень, он ссужал меня деньгами в трудные моменты. В конце концов, я ему основательно задолжал и не расплатившись уехал в армию – на действительную службу. Отслужив, зашёл к нему домой – и узнал, что частично его диссертация в виде статьи опубликована в журнале «Вопросы философии»

– Знаешь, – сказал благородный Мара, – будем считать, что ты ничего мне не должен: ведь я получил гонорар, а писали-то мы вместе...

Я не возражал: во-первых, денег – отдать долг – у меня безнадежно не было, а во-вторых... писали-то мы, действительно, вместе!

* * *

Вскоре я поступил работать в одну маленькую заводскую редакцию. Заместитель редактора многотиражки уступил мне заказ областного издательства: написать брошюру об опыте работы цехового партийного агитатора.

Механика таких дел проста: журналисту поручается изложить от первого лица «опыт работы» такого-то агитатора (пропагандиста, изобретателя, передовика производства и т. п.), фамилия которого и проставляется над заголовком, в то время как фамилия подлинного автора – того, кто писал (ибо автор, по всем словарям, это и есть тот, кто сам пишет!) – фигурирует лишь в платёжной ведомости и в авторском договоре. Некоторые издательства поступают честнее (например, так делается в Ленинграде): указывают фамилию журналиста на обороте титульного листа с пояснением: «литературная запись такого-то». Но у нас в Харькове это считают излишним.

– Деньги – ваши, слава – агитатора, – сказал мне наш зам редактора Пётр Михайлович Фатеев. Ему самому писать было некогда, так как он в это время работал над диссертацией по истории завода, то есть был занят чтением и переписыванием старых комплектов нашей же многотиражки.

Для уточнения задачи мне пришлось съездить не то в обком, не то в горком партии к инструктору отдела пропаганды и агитации товарищу Бабенко, который был одновременно и редактором планируемой серии брошюр «об опыте работы» идеологических активистов.

– «В переконуванні – сила агітатора», – сказал он мне название и тему брошюры (переконування – по-украински – убеждение кого-либо в чём-либо). – *Подыщите* автора подходящего, – чтобы это был обязательно рабочий, а не какой-нибудь там конторщик. Объём брошюры – от одного до полутора печатных листов. *Деньги – ваши, слава – агитатора.*

Последняя фраза, очевидно, заключала в себе рабочую формулу того идеологического жульничества, которое было в обыкновении у партийных властей нашего – да наверняка и многих других городов. Но при моём тогдашнем безденежье эта формула меня «переконала»: за печатный лист платили 1300 рублей, а за 800 тогдашних целковых можно было купить вполне приличный костюм, после армии мне крайне необходимый. Я принялся за поиски «автора».

– Возьмите Филиппенко из цеха «140», – посоветовали мне в парткоме завода. *Я взял.*

Слесарь ремонтного участка Филиппенко был агитатором, то есть, по поручению цехового партбюро, читал рабочим вслух газеты или пересказывал их содержание. По правде сказать, какой уж тут опыт. Вдобавок оказалось, что мой предполагаемый «соавтор» порой закладывает за воротник.

– Увлекается, – сказал мне цеховой партийный секретарь, деликатно пряча глаза.

– Но ведь не до безобразия? – спросил я с надеждой.

– Ну, что вы? Нет, конечно! – успокоил секретарь.

Агитаторами чаще всего бывают производственные мастера участков, всякие там «распреды», нормировщики, рабочего найти трудновато, я ещё раз посоветовался в парткоме – остановились на Филиппенко.

Раза два пришлось ему посидеть со мной после конца рабочей смены: из чего-то ведь надо было слепить несуществующий *опыт*: нужны фамилии, «факты», ситуации... Я выспрашивал, тянул из агитатора жилы. Скажем, такой-то рабочий не

вырабатывал норму. «Однажды я (то есть Филиппенко) после беседы на участке сказал ему...» Что именно он сказал – зависело от моей фантазии. Но надо было продемонстрировать, как в результате такого «переконування» лодырь исправился и стал передовиком производства.

Вот на такие творческие наши встречи ушло, в общей сложности, часа три. В моём блокноте появились фамилии, даты, тематика проведённых или *якобы* проведённых агитатором бесед... (Вообще, слово *якобы* во всей этой истории наиболее подходящее: якобы отчёт о якобы опыте якобы агитатора, написанный якобы им самим, а на деле – якобы журналистом и, самое главное, якобы полезный и необходимый читателям! Сколько такой макулатуры печатается в стране, и какие на это уходят средства! А Бориса Чичибабина печатать перестали!...)

Сотворив некое пакостное тесто, мне самому противное, но по какой-то причине нужное родной коммунистической партии, пришлось ещё и самостоятельно переводить написанное на украинский, – труд мучительный, так как надо было то и дело лезть в толстенный русско-украинский словарь. Мог бы, конечно, не возиться и отдать переводчику, но на этом мы с Филиппенко потеряли бы треть заработка, а возделенная мною пиджачная пара на три без остатка не делится... Перспектива пожертвовать штанами мне не улыбалась, и пришлось засесть за перевод, потратив на это сколько-то вечеров.

«Щирый» Бабенко, читая, морщился на ухабах моей *мовы*, но – сошло... Рукопись была принята, после чего мы (то есть Филиппенко и я) заключили с издательством договор, в котором оба именовались авторами. В договоре была названа сумма гонорара, но доля каждого из нас не оговаривалась.

– Обычно у нас такая практика, – объяснили мне в издательстве. – Кто писал, но на обложке не назван, получает 75 процентов, а тот «автор», чья фамилия там значится, – 25 процентов. Но об этом вы должны сами договориться между собой, составить авторское соглашение и сдать его в бухгалтерию.

– А вдруг он не примет таких условий? – спросил я.

– Ну, что вы! – замахали на меня руками сразу два или три

¹ Писано в конце 60-х – начале 70-х гг.

редактора, в комнате которых шёл разговор. – Да ведь работали вы, а вся слава достанется ему, плюс четверть гонорара буквально ни за что. *Совесть-то* есть же у человека – тем более, у агитатора!

Итак, вот, оказывается, какова цена славы: четвертушка гонорара. Глядя в хитренькие, пьяненькие глазки своего «соавтора», я объяснил ему всю механику дела – и, видимо, слишком подробно, потому что он заподозрил меня в лукавстве. Сперва, правда, ничего не сказал, молча подписал авторское соглашение на предложенных мною началах, зато буквально назавтра явился – и говорит с какой-то гаденькой улыбочкой:

– Я, товарищ Рахлин, вы, конечно, извините, но в настоящее время обстоятельства, учитывая особенности текущего момента, а также, во-первых, поскольку план не выполняется, прогрессивки не плотют, и большие простои оборудования...

– Короче, в чём дело?

– Да уж извините, а я решил, что нельзя ли переписать на «по 50 процентов»: вам половину, но и мне половину, так уж никому обидно не будет...

Соглашение уже было накануне мной передано в издательство. Я позвонил туда.

– Ах, подлец! – возмутился непосредственный редактор брошюры Марк Глузберг, – такого у нас ещё ни разу не бывало. Ну, пришлите гада, мы ему объясним.

На другой день «гад» пришёл ко мне с повинной:

– Понимаете, мне сказали там вчера, что 25 процентов – это рублей 300 – 400. А этого мне вполне достаточно на вставление зубов. Вот видите – мне зубы надо вставлять...

И, оттянув губу, показал голые дёсны. На пропойной физиономии – умильная улыбка: ну, доволен человек, и меня приглашает порадоваться, что будут у него новые, дармовые зубы. Да ещё и «слава», уступленная мною за 25 процентов гонорара. Как раз цена протеза. Есть, есть у агитатора совесть!

...Через некоторое время в Харьковском книжном издательстве вышла брошюра «В переконуванні...» – Рахлиным там, слава Богу, и не пахло. Пахло спиртом с ремонтного участка (им выдают на протирку деталей станков): мой «соавтор», дыша через новые зубы перегаром, раздавал автографы. А я ку-

пил, наконец, свой первый после армии очень приличный коричневый костюм.

К сведению книголюбов: брошюра, на мой взгляд, представляет чисто уголовный интерес.

* * *

Году, примерно, в 1959-м вызвала меня, редактора заводского радиовещания, в свой кабинет моя начальница – заместитель секретаря парткома завода по идеологической работе товарищ Валетова Наталья Тимофеевна.

У этой сорокалетней благоуханно-чистенькой, всегда с иголки одетой, миловидной руководящей дамы был свой собственный стиль руководства, свой способ успешного контакта с людьми: она... целовалась.

Вот ей что-либо от вас надобно. Например, чтобы вы вошли в состав какой-либо кляузной комиссии, или поехали в изнурительную командировку на целину – читать там лекции, или вступили в ряды добровольной народной дружины, или сочинили какую-то срочную бумагу... Она вас вызывает к себе в кабинет и принимается безудержно льстить, пожимать руку, заглядывать в глаза и, наконец, непременно целует в щёку.

Совестно признаться, но, не раскусив сначала эту игру, я простодушно принял такое поведение за знаки чисто женского внимания к моей персоне. Как хотите, но для людей неизбалованных прийти к такому выводу отчасти даже соблазнительно.

Потом-то оказалось, что те же нежности она расточает и другим мужчинам, притом – независимо от их возраста и зачастую вполне публично. Скажем, вручая подарок за хорошую работу какому-нибудь престарелому общественнику, не преминёт чмокнуть его в пухлую старческую физиономию. Рамолический деятель млеет от удовольствия, публика радостно аплодирует, а руководящая дамочка наживает моральный капитал. «Умеет она работать с людьми!» – неоднократно слышал я восторженные отзывы идеологических активистов.

Вот и на этот раз, едва я вошёл, Валетова бросилась ко мне, благоухая хорошими духами. Заглядывая в глаза, стала говорить, какой я «умничка» и какой «лапочка».

– Феличка, деточка, – говорила она, сладко улыбаясь, – у меня для вас интересное порученьице. Только *вы* можете его выполнить, ведь вы такой умничка.... Вот взгляните на этот вопросничек...

В моих руках очутилось несколько страничек убористой машинописи. В 28-и пространных вопросах был представлен подробный план «справки» о развитии «движения за коммунистический труд» на предприятиях (это было вскоре после того, как была поднята громкая пропагандистская шумиха вокруг бригад и ударников коммунистического труда – «разведчиков будущего»). Мне предлагалось ответить самым детальным образом («подробненько-подробненько», сказала Валетова) на каждый вопрос (статистика, фамилии, конкретные примеры) по материалам нашего завода и получившуюся справку передать в горком партии – его секретарю товарищу Шевченко.

– Мне Шевченко так и сказал: «Поручите это дело Рахлину».

– Ну, что вы, Наталья Тимофеевна, откуда ему меня знать...

– Да как же вас не знать, – горячо возразила она. – Вы себя недооцениваете. О вас, душечка, и в обкоме хорошо известно...

Душистая, лстивая, зазывная ложь! Не то чтобы я враз поверил, но так соблазнительно было подумать: «А вдруг... Почему бы и нет?»

Я дал согласие.

Но, прочтя на досуге «вопросничек», опешил: чтобы подготовить обстоятельную справку, надо было забросить всю свою работу и трудиться в поте лица месяца полтора. Нужны были данные из цехов и отделов, подсчёты хозяйственников и экономистов, а чтобы их получить, необходимо вызванивать, запрашивать, требовать, напоминать... Когда же всем этим заниматься? Ведь от моих прямых обязанностей – подготовки и выпуска заводских радиопередач – никто меня не освобождал...

Попытался я было что-то сделать, но ответы на 7 – 8 вопросов заняли страниц 20 – 30, то есть целый печатный лист (примерно, размер нашей с агитатором брошюры)...

А между тем, время шло, моя патронесса стала нажимать: Шевченко звонил ей, торопил, требовал. Я всё тянул время, ссылаясь на занятость. Моя «поклонница» сменила милость на су-

хость, сухость на гнев. Наконец, пригрозила даже, что вызовет «на партком». Видно, забыла, что я – не член партии, а я о том не стал ей напоминать, потому что на эту, хотя и весьма скудно кормившую, но всё же в какой-то мере пришедшуюся мне по силам «номенклатурную» должность устроился незадолго перед тем случайно, после долгих мытарств, и теперь струхнул, что могу её потерять.

Но тут моя дама укатила на юг – на курорт. Решив схитрить, я пошёл к другому заместителю секретаря парткома – товарищу Белоусову.

Этот товарищ никогда не улыбался. И в создавшейся ситуации он также не усмотрел ни капли юмора.

– Понимаете, – втолковывал я, от волнения мусоля в руках вопросник, – на это надо потратить уйму времени, вопросы объёмные, сложные, а у меня...

Я хотел сказать, что у меня для этой работы нет не только времени, но и всех необходимых сведений, однако товарищ Белоусов меня перебил:

– Да, конечно, у вас для этого нет *кругозора*.

Такое замечание меня слегка задело, я вновь принялся объяснять: по своей должности, как редактор заводского радиовещания, не располагаю необходимой документацией, цифрами, фактами. Чтобы их получить, надо сидеть на телефоне, звонить, спрашивать, запрашивать, а у меня на это нет...

– Ну, вот же я и говорю, – убеждённо сказал Белоусов, – у вас нет *необходимого кругозора!*

Что поделаешь? Я смолчал. Должно быть, у меня и в самом деле нет кругозора – понять, каким образом на ответственные посты удастся подобрать так глубоко и серьёзно мыслящих товарищей.

Но – спасибо Белоусову: заручившись его поддержкой, я решил ограничиться сделанным и повёз «справку» в том неполном виде, как у меня получилось, самому заказчику – товарищу Шевченко.

Войдя в пустынное и тихое, как храм, здание, по тихим, безлюдным коридорам прошёл в приёмную, а затем и в кабинет – просторный и студёный. При распахнутых (это зимой-то!) окнах за фундаментальным письменным столом сидел мужчина

интеллигентного вида, то есть в костюме и при галстуке. Он принял рукопись, пожал мне руку и сказал «спасибо».

Через некоторое время в одном из харьковских вузов была защищена диссертация, а в издательстве вышла брошюра о «движении за коммунистический труд». Автором в обоих случаях значился товарищ Шевченко. В брошюре были данные не только с нашего, но и многих других предприятий города. Видимо, повсюду нашлись люди без кругозора. Но, конечно, ими (нами!) ни в диссертации, ни в брошюре и не пахло.

* * *

Шли годы, и я вполне вошёл в роль «учёного еврея» при парткоме.

Особенно меня полюбил секретарь парткома товарищ **Роденко**. «Рахлин прав!», – частенько говаривал он, когда мне случалось на каком-либо совещании вякнуть по тому или иному поводу.

Роденко всё чаще поручал мне писать различные бумаги, особенно для него самого.

– Мне нравится, как ты пишешь, – объяснял он и наедине, и прилюдно. – У тебя есть *слова*.

В середине 60-х годов проводились «дни русской литературы на Украине», и в Харьков приехала группа русских писателей. Заводу было поручено провести с ними встречу. Писатели маститые: Солоухин, Михаил Алексеев, Закруткин, Шундик... В грязь лицом ударить нельзя! Роденко поручил мне написать для него приветственную речь.

«Дорогие друзья! – начал я как человек, у которого «есть слова». – Мы собрались здесь, в этом зале нашего рабочего клуба, чтобы приветствовать...» – и так далее.

Роденко вызвал меня с текстом речи к себе. У него была привычка: сначала выслушать текст в моём чтении, затем самому прочесть его при мне вслух, а я должен был поправлять по ходу чтения его речевые ошибки.

«Дорогие друзья! – читал я «с выражением». – Мы собрались, чтобы...»

Затем читал он: «Дорогие друзья! Мы собрались...»

«Собрал^ись!» – перебил я, поправляя ударение. Под моим руководством он сделал пометку над нужным слогом и потренировался при мне, повторяя верный и неверный варианты ударения:

– Ага: «собрал^ись», а не «собра^лись Собрал^ись» – «собра^лись», «собрал^ись» – «собра- лись»... Понятно. Ну, ладно, иди работай. Спасибо.

Наступил вечер. Чтобы заполнить зал народом, в заводской вечерней школе отменили занятия и привели в клуб всех учеников. Роденко вышел на сцену и произнёс: «Дорогие друзья! Мы собрались...»

У маститых дрогнули брови. По залу прошёл шумок.²

* * *

Вот так 15 лет подряд, всё совершенствуясь, писал я, параллельно основной работе редактора заводского радио, всяческие речи и справки, брошюры и листовки, материалы для диссертаций и приветствия пионеров, обращённые к участникам профсоюзных конференций, выступления делегатов всяческих Советов – от районного до Верховного...

Я был един во множестве лиц.

² *Интересна карьера этого человека. Он был рабочим, потом – мастером. В войну работал в Нижнем Тагиле. Вернулся в Харьков. Долго был секретарём партбюро крупного цеха и за это время заочно окончил вуз. Через некоторое время был избран секретарём парткома этого (самого крупного в городе) завода – должность настолько крупная, что как бы автоматически её обладатель становится членом бюро обкома. Пробыл секретарём парткома несколько лет, перешёл пенсионную черту – и вдруг его сместили. Но он продолжал работать. Кем же? Начальником футбольной команды, числившейся за заводом, но защищавшей спортивную честь Харькова во всесоюзном масштабе.*

Под его чутким руководством команда вылетела, наконец, не только из высшей лиги, но вообще из большого футбола. И тогда он стал начальником... социологической лаборатории того же завода! Свидетельствую: в социологии он не смыслил ни бельмеса. Хотя я и сам в ней не очень много понимаю (окончил годичный курс социологии в вечернем университете марксизма-ленинизма), но наиболее компетентным консультантом сам секретарь парткома Роденко в социологии считал – меня....

То я «был» токарем, Героем Социалистического Труда, членом ЦК КПСС Германом Михайловым. То, меня возраст и даже пол, превращался в депутата Верховного Совета Украины Валентину Подопригору. А уж сколько писал всяких бумаг для своего партийного начальства! Вплоть до газетных статей, за которые оно исправно получало заработанные мной гонорары. Спрашивается: отчего я всё это терпел? Почему не отказывался? Выслуживался, что ли? Пожалуй, что и так, – но не в ожидании карьерного роста, а просто потому, что боялся: откажусь – выгонят. А ведь я еврей – не так легко мне, с моей специальностью, устроиться на новую работу...

Скромности и точности ради добавлю, что таких, как я, на заводе было несколько. Точно то же делали, сверх своих служебных обязанностей, некоторые мои коллеги – в том числе женщина по фамилии Форгессен (на языке идиш это означает «забыла») и башковитый на всякую липу начальник «бюро передовых методов труда» Михаил Петрович Сахновский (Форгессенша называла его – Миля).

Такой национальный подбор получился не специально: раньше для директора и парткома бумаги писали украинец Н., русский Ф., и т. д. Но к тому времени, о котором здесь речь, подобралась наша троица.

В 1967-м, когда началась «шестидневная война» на Ближнем Востоке, нас троих вызвали в партком и в срочном порядке поручили писать гневные речи против «израильских агрессоров» для участников митинга, которые о нём, а тем более о своём гневе, ещё даже не подозревали.

Уж на что верноподданные и осторожные люди были мои коллеги, да и я тоже давно утратил юношескую наивность, но, оставшись втроём, мы посмотрели друг на друга – и дружно рассмеялись.

Однако нужные речи исправно сочинили.

Каждый раз, присутствуя на публичных сборищах, где произносились написанные мною тексты, я ловил себя на беспокоестве: так ли прочтут мой текст? И если читали, как надо, а особенно когда зал аплодировал какому-то удачному месту выступления, – мне, как Лягушке-Путешественнице из сказки Гаршина, хотелось, чтобы все узнали о моём авторстве.

Вы помните: лягушка попросила диких уток взять её с собой на Юг. Две утки по её наущению взяли в клювы прутик, она ухватилась за него ртом – и полетела над градами и весями.

– Кто придумал такое? – удивлялся, задравши головы, русский народ.

– Это я! – квакнула тщеславная лягушка. Но, чтобы квакнуть, она была вынуждена разжать рот, отпустила прутик и, конечно же, шлёпнулась с высоты в болото.

Вот какая участь ждёт всех нескромных лягушек.

* * *

И всё-таки (*писано в 1970 году*) – отваживаюсь квакнуть. Идиотская логика тайных канцелярий произвела на свет Анкету и Автобиографию.

Там написано, что Рахлин Ф. Д. родился в 1931 году, что он еврей, журналист, педагог, имеет сына, болен гастритом.

Но в какой анкете, в какой бумажке найдёте вы сведения о том, сколько боли, горечи, яда, смятения в душе Рахлина Ф. Д., как мучают его видения прошлого, живые тени настоящего и жуткие призраки завтрашнего дня?!

В наши дни, когда правду то и дело именуют клеветой, а клевету печатают в «Правде», писание искренних мемуаров – дело небезопасное. Не только опубликование невозможно, но даже простое хранение их под спудом внушает мне тревогу.

И всё-таки, всё-таки отваживаюсь *квакнуть под спудом!* Пусть лежат: кушать не просят – может, когда-нибудь и увидит свет мой труд – *мой* по-настоящему (а то ведь мне и мемуары приходилось писать чужие, и неоднократно: один раз – за южного полярника, побывавшего в Антарктиде, другой – за члена «команды Двинцев», штурмовавшей московский Кремль в октябре 1917 года), однако унести с собой всё, что сам я видел и пережил, что хранит моя собственная память, было бы, мне кажется, слишком расточительно. Так сказать, потомки не простят.

Нет, я не льщу себя надеждой на то, что помогу внести ясность во множество ваших, товарищи потомки, недоумений. Пусть просто предстанут перед вами страницы одной достаточно нелепой жизни, а уж вы сами делайте всякие выводы.

Конечно, как и любой мыслящий тростник, я не мог удержаться от оценок. Вы чувствуете – они есть уже и в этой затянувшейся интродукции. Но мне хотелось быть объективным. Не в смысле бесстрастности (это невозможно), но ведь есть же правда, не зависящая от того, нравится она вам или нет, – есть же правда как совокупность фактов. Скажем, большевики в 1918-м расстреляли царя с его домочадцами. В том числе и малолетнего наследника. Те, кто расстреливал, считали это правильным, монархисты и гуманисты-демократы – преступным и злодейским. Но от этой разницы подходов сам факт не изменился: царя, царицу, царевен, цесаревича и даже их доктора, действительно, «шлёпнули» без суда и следствия, коварно, разбойно...

Предметом истории как «науки» служит собирание, изложение, истолкование, но иногда и сокрытие фактов. Однако, если хочешь познать истину во всей её красе и неприглядности, – отдай предпочтение первому, постарайся выбрать верный критерий для второго, третьего – и полностью исключи четвёртое.

Нынче слишком многие поступают наоборот. Некоторые события предпочитают вовсе не упоминать, о многом – забыть. Такой подход к фактам истории вызывает отвращение у всех честных людей, – честных не в том смысле, полезен или вреден этот факт пролетариату, а в первоизданном, самом прямом: я честен – значит, принимаю истину в её подлинном виде, нравится она мне или нет.

Нынче как раз много попыток вытравить память из человека. Желание противостоять такому подходу породило новую, только что мною прочтённую книгу Айтматова с её легендой о манкурте – человеке, у которого отнята память.

Может быть, мне удастся спасти хотя бы одного читателя от жалкой участи манкурта... Знать бы, что это случится – я бы считал своё время потраченным не зря.

Харьков, 1970 – 1981 гг.

Часть 1

**Записки
без названия**

Глава 1

Ленинградский Петербург

Первые гадости

В Тайцах, под Ленинградом, мне гадала цыганка.

Ехали мимо нашей дачи их шатры на колёсах, я стоял у калитки. Цыганка выскочила на ходу из шатра, подошла ко мне, взяла за руку, стала водить мне по ладошке большим грязным пальцем, что-то приговаривая. Потом сказала:

– Принеси денежку!

Я убежал, забился под деревянную лестницу двухэтажного дома, в котором мы жили, сидел там долго-долго: ждал, чтобы ушла.

Там же было однажды ночью:

... иду с няней Марусей смотреть пожар. Под ногами – доски деревянного тротуара, над головой – светлое-светлое небо, не от пожара светлое, а от белой ночи. И светлота вокруг – ночная, северная, бледно-молочная. Навстречу нам – люди:

– Возвращайтесь: уже потушили!

В Тайцах было мне чуть больше трёх лет. Но я помню себя – хотя и отрывочно, – с ещё более раннего возраста. За год до этого была дача в Петергофе. В то время там бывало много иностранцев. Мама из идеологических соображений выводила-

ла меня на аллее знаменитого парка. Был я упитанный, румяный, щекастый, и мама, которой, подобно Карлу Марксу, было присуще единство цели¹, хотела продемонстрировать мировой буржуазии, каких славных карапузов растит молодая советская власть.

Сейчас страшно подумать, что было это в голодном 1933 году. Между тем, упитанность и румянец объяснялись просто: я рос в семье, по тем временам, архиблагополучной: отец преподавал политэкономии в военной академии и по чину приближался к теперешнему полковнику; мать же была «культпропом» на заводе «Большевик» – бывшем Обуховском, секретарём партячейки на швейной фабрике и ещё кем-то в этом же роде.

Вскоре после моего рождения родители получили трёхкомнатную кооперативную квартиру. Роскоши, правда, не было ни малейшей, быт, мебель, предметы обихода – всё просто до примитива. Жили, однако, и сытно², и удобно вполне.

Дом наш стоял напротив катушечной фабрики за Невской заставой, на отдалённой от центра заводской окраине. Сейчас это проспект Обуховской обороны. А в то время улица называлась «проспектом села Смоленского». От такого названия веет петровскими временами, но сама улица – совершенно городская и на село ничем не похожа.

В 1953-м, уже взрослым парнем, приехал я в Ленинград. Жил у родни возле Нарвских ворот. Расспросив, как проехать, долго тряся в трамвае, глядя на незнакомые места вполне равнодушно, как вдруг... стал *узнавать*: пакгаузы вдоль Невы, ко-

¹ Из «анкеты Маркса»: «Ваша отличительная черта? – Единство цели».

² Сестра вспоминает (она старше меня на пять с половиной лет, а уж я-то не помню), что в ежедневном будничном рационе семьи бывали иногда чёрная и красная икра, другие деликатесы. Мне помнятся мандарины. Отец отправлял в Харьков своим родителям и сестре посылки с буханками хлеба. А в деревне на Харьковщине в это время свирепствовал голод, нередко были случаи людоедства... Я не виню родителей своих – я их жалею: многого они не знали, на многое закрывали глаза.

торую в детстве я называл «море-река», переулок возле рынка, сад имени Бабушкина (когда-то там стоял *настоящий* самолёт в память о герою пилоте)...

Вот и бывшая катушечная фабрика. Я вышел из вагона, узнал наш дом, вошёл во двор, посмотрел на окна *нашей* квартиры, вздохнул, взгрустнул и направился в ... *очаг*, как называли когда-то в Ленинграде (и, по-моему, больше нигде!) детский сад.

Но дороги туда уже не нашёл.

Из ленинградских воспоминаний.

По утрам, проснувшись, пою «По долинам и по взгорьям»
Потом кричу:

– Маруся, одеваться!

Приходит домработница Маруся *Ма́*нышева, надевает на меня лифчик с чулочками³, штаны, рубашку, зашнуровывает ботинки – и я бегу в соседнюю комнату, где папа с мамой лежат на большой деревянной кровати, спинки которой, украшенные круглыми точёными набалдашниками, окрашены под слоновью кость. Мама курит в постели. Папа тоже не спит, но, заметив меня, прикрывает глаза. Это у нас такая игра: я команду «раз-два-три», а он должен вскочить с постели.

Но порой отец начинает дурачиться: вскакивает на счёт «два» или, наоборот, продолжает «спать» даже после команды. Притворяюсь рассерженным, и мы оба смеёмся.

Отец для меня существо высшее. Он такой огромный, сильный, стройный. Притом – военный, ходит в красивой командирской форме, в гимнастёрке, перехваченной ремнём с португеей. У него в блестящей кожаной кобуре есть револьвер. У него на петличках по две малиновые «шпалы» (потом станет больше: по три в каждой петлице – это будет называться «полковой комиссар»). Вижу его редко, а ещё реже он со мной играет. Чаще всего, когда он дома, то сидит за столом и, заглядывая то в одну, то в другую, то в третью книгу, что-

³ Уж так тогда одевали и мальчиков: лифчик служил для пристёгивания широких резинок с застёжками, к которым, в свою очередь, пристёгивались чулки.

то пишет быстро-быстро, макая ручку со стальным пером в чернильницу и оставляя на бумаге кружочки и чёрточки с петельками. Мне тоже иногда дают ручку, и я тоже вывожу «такие же» петельки и каляки-маляки. Иногда мне позволяет тихо-тихо стоять и смотреть, но чаще в кабинет заходить в такие часы запрещено и шуметь тоже не разрешается: «папа работает».

В годы моего ленинградского детства вышел в свет двухтомный учебник политической экономии, где в первом томе, посвящённом политэкономии капитализма, есть написанная отцом глава о марксовой теории прибавочной стоимости. Учебник создан авторской бригадой Ленинградского отделения коммунистической академии (ЛОКА) – в бригаде был и А. Вознесенский, брат будущего председателя Госплана СССР – обоих братьев расстреляли в 1949 году по дутому «ленинградскому делу». А редактором учебника, по-моему, был Н. И. Бухарин. Вот такая у нашего папы была компания...

Маму тоже не часто удавалось мне видеть. Разве что по утрам, да вечерами немного... Основной интерес жизни был для родителей в их работе, в политике, в мировой революции.

Однажды, прибежав к ним утром в спальню, нахожу обоих неожиданно грустными. Со стены из чёрного рупора льётся печальная музыка.

– Кирова убили, – печально говорит папа.

– А кто это – Киров? – спрашиваю я. И по сей день помню ответ, который дал 32-летний человек своему трёхлетнему ребёнку:

– Вождь ленинградских рабочих!

Сам удивляюсь столь цепкой памяти своей, но именно тот день, то событие, сыгравшее столь роковую роль в истории страны, в жизни нашей семьи и, в конечном счёте, оказавшее такое серьёзное влияние на всю мою судьбу, – что это событие живёт в моей памяти...

Накануне родители оба присутствовали на том знаменитом «активе», куда Киров должен был приехать, но не приехал, потому что был убит. Они явились домой, обескураженные неожиданной отменой собрания. Их неожиданное возвращение, растерянность и тревогу помнит сестра – я уже

спал. А вот утро следующего дня чётко запомнил на все будущие годы.

1 – 2 декабря 1934 года было мне около трёх с половиной лет.

Маруся

Родители очень мало времени проводили в семье. Со мною возилась в течение первых лет моей жизни – и без памяти любила меня – бобылка из-под Сердобска, Пензенской области, Маруся Ма^аньшева. Я был к ней очень привязан. Звал её – *Маюкой*, обожал, считал самым красивым в мире её худое, побитое оспой лицо с широко расставленными калмыцкими глазами. .

Вот иду с нею на рынок – она быстро шагает, крепко держа меня за руку. А я меленькой трусцой бегу рядом по квадратным плитам *панели*, как ещё называли тогда тротуар. (Как странно и утешительно будет мне увидеть эти плиты через 19 лет целыми и невредимыми... Но потом вместо них положили ординарный асфальт).

Мне нравится, как весело болтает она со своей тёзкой, живущей в первом этаже. Они пользуются каким-то шутовским воляпюком, вставляя в слова, вместо первого слога, слог «ша», а выброшенный – приставляя к концу слова, так что, например, имя Маруся звучит как «Ша-руся-ма»... Эту соседку мы, дети, почти так и называли: «Шаруся-мать».

Маруся жила у нас несколько лет, а ушла, может быть, из-за нашего переезда в Харьков, когда мне уже было пять лет. Знаю, что приехала туда за нами следом, но родители к тому времени утратили возможность держать прислугу. По их рекомендации она поступила в семью папиного сослуживца по военной академии – Рыжика. В 1937 году Рыжик вдруг застрелился (скорее всего, ему угрожал арест), Маруся уехала – и надолго исчезла из моего поля зрения.

И вот уже подростком приехал я в Москву – и вдруг узнал, что тут моя Маруся. Она после Рыжика, оказывается, служила в семье папиного брата Абраши и, хотя теперь давно уже работала санитаркой в больнице, иногда заходила к ним.

Когда я узнал о предстоящей встрече с няней, у меня сердце затрепетало. Оказывается, всё ещё жила в нём сладкая младенческая любовь.

И вот мы увиделись. Но, Бог мой, какой же она оказалась маленькой, худой, некрасивой! Мы шли по улице – и нам не о чем было говорить. Её маленькие глазки теперь казались мне злыми, редкие жёлтые зубы обнажались при улыбке, как у ведьмы на картинках в детских книжках. На углу, где-то на Маросейке, встретила она какого-то своего знакомого и с игривостью, совсем к ней не шедшей, что-то ему сказала. В ответ этот грубый и явно нетрезвый мужик прошарил мою Марусю ладонью по плоской груди, а она захихикала.

Мы поехали с нею в парк «ЦПКиО⁴ имени Горького», гуляли там по аллеям, она меня угощала мороженым, наглядеться на меня не могла. А мне что-то было тяжело и неприятно, а от этого совестно, и хотелось прервать свидание. Окончилось оно ужасно.

Мы вышли из парка, увидели толпу возле трамвайной остановки и подошли узнать, в чём дело. Оказалось, два деревенских парнишки пытались на ходу запрыгнуть в трамвай (двери автоматические тогда ещё были редкостью, на открытые трамвайные подножки часто вскакивали на ходу), один из братьев сорвался, попал под колесо. При нас подъехала «скорая помощь», санитары несли носилки, на которых лежало накрытое брезентом тело, а поверх брезента – отрезанный, дымящийся (так мне показалось) кусок мяса килограмма на полтора. Рядом навзрыд плакал младший братишка погибшего.

Больше я Марусю никогда не видал.

«Великий фантаст»

Когда Маруся нас в Ленинграде покинула (а, может, это было во время её отпуска), вместо неё поселилась старая бабка, вечно что-то ворчавшая себе под нос. В это время у нас жили наш двоюродный брат Виля и его единоутробная сестрёнка

⁴ *Центральный парк культуры и отдыха.*

Галя, которой он верховодил, – так же, как мною и Марленой. Виля подбивал нас троих подслушивать бабкины монологи.

Подкравшись ко входу в кухню, мы прятались под дверью, затаив дыхание, слушали старушечью неразборчивую воркотню – и вдруг взрывались хохотом. Бабка пугалась, злилась и поднимала крик – мы бежали вон, продолжая громко смеяться, а через минуту всё повторялось.

Других домработниц ленинградской поры не помню, Но знаю, что была (может, ещё до моего рождения) Сима, нянчившая Марлену. Потом она оставила нас, поступила на какую-то фабрику, завела семью, родилась у неё девочка, которую она назвала ... Марленой! В выборе нашими родителями такого имени сыграли роль идейные соображения: имя Марлена, как и его мужская модификация (Марлен) соединяет в себе память сразу о двух великих революционерах: Марксе и Ленине... О существовании Марлен Дитрих родители вряд ли в те времена подозревали... Впрочем, нередкое у католиков женское имя Марлен (есть ведь и песенка «Лили-Марлен») имеет совсем иную этимологию: это сокращение, евангельское двойное имя: Мари-Магдалена... Но папа и мама в такие дебри не вдавались, им, как я уже говорил, было присуще единство цели, и, давая имя своему первому ребёнку, они имели в виду только классиков диалектического и исторического материализма. Меня ведь Феликсом тоже назвали не просто так, а со смыслом: в честь железного чекиста. Придумав мне имя, папа сказал маме: «Пусть растёт борцом». Домработница Сима, скорее всего, до таких высот коммунистической идейности не поднялась и нарекла свою дочь по новой моде лишь в порядке подражания: «чтоб красивше»⁵...

⁵ *Примечание 2005 г.: Интересно, что за 60 лет своей жизни в СССР ни одной другой Марлены, кроме своей сестры, я не встречал (мужская модификация имени – например, кинорежиссёр Марлен Хуциев, – не в счёт). Но прибыв в Израиль и устроившись на работу в редакцию русской газеты, обнаружил: должность технического секретаря занимает там молодая женщина именно с таким необычным именем. Живя уже 14 лет в Афуле, прочёл в газете такое сочетание: Марлена Ткаченко. Это юная жительница нашего города, спортсменка, занимающаяся греблей. В Польше, в городе Кошалине, живёт*

Казалось бы, имея единственную родную сестру, я её и помнить должен с самых ранних времён и более чётко, чем кого-либо, но вышло не так. По Ленинграду я её помню очень смутно. Зато великолепно отпечатались в памяти Виля и Галя. Это были дети маминой родной сестры Гиты – дети от разных отцов.

Гита – средняя из трёх сестёр (мама была старшей). В юности комсомолка, бесшабашная голова, участница «весёлых и грозных» (по Арк. Гайдару) событий, она в Киеве дружила с Колей Островским, будущим слепым писателем, и с удовольствием поддерживала потом версию, будто это с неё списана Рита Устинович в знаменитом его романе «Как закалялась сталь». Я-то сильно в этом сомневаюсь, но общее у неё с Ритой (кроме общих букв в рифмующихся именах) всё же было: глубокие тёмные глаза, женственность и отчаянная революционность. В первом браке она была замужем за крупным комсомольским деятелем (даже, кажется, он был секретарём ЦК комсомола Украины) Сергеем Ивановым.

В Ленинграде Сергей бывал у нас с гармошкой, играл на ней и пел. Это был крестьянский парень, попавший в город мальчишкой, он стал учеником повара и из поварят прыгнул прямо в революцию. От него у тёти Гиты и родился в 1924 году, 22 января, на другой день после смерти Ленина, сын, которого они, естественно, назвали – *Вилен* (В. И. ЛЕНИН).

С Сергеем Гите жилось трудно: она хотела после рабфака или комвуза⁶ учиться дальше, но муж, которого, по окончании

Марлена Зимна - кандидат филологических наук, директор, создатель и владелица коллекции Музея Владимира Высоцкого. Феликсов в Израиле тоже немало, а вот в Союзе за всю свою советскую жизнь я повстречал лишь трёх-четырёх. Впрочем, почти все встретившиеся мне здешние, «израильские», Феликсы – из СССР.

⁶ *Рабфак (рабочий факультет), комвуз (коммунистический университет – высшее учебное заведение) – подготовительные факультеты, ставившие задачей общеобразовательную подготовку активистов новой власти, в большинстве своём малограмотных, к дальнейшей учёбе в вузах или (если речь о комвузе) к партийно-политической, агитационно-пропагандистской работе.*

какого-то учебного заведения, направили куда-то в центральную Россию – кажется, в Тамбов – преподавать диамат, настоял на том, чтобы она уехала с ним. Через некоторое время она его оставила, вернулась в Москву и стала там учиться на инженера-химика в Менделеевском химико-технологическом институте. Тут-то и познакомилась с молодым начинающим учёным Рябцевым и, разведясь с Ивановым, вышла замуж за Ивана Ивановича... Родила ему дочь Галю... и вдруг узнала, что новый муж ей изменяет, что у него есть любовница.

Произошёл бурный разрыв. Муж женился на любовнице, а Гиту на почве всей этой истории поразила тяжкая душевная болезнь – маниакально-депрессивный психоз.

У неё была мания самоубийства. Родители наши забрали её в Ленинград, организовав квартирный обмен, в результате которого она стала обладательницей комнаты в коммуналке, но там её оставить одну было нельзя, и некоторое время она жила у нас с обоими детьми. Наши родители с нею буквально извелись: то Гита хваталась за нож, чтобы зарезаться, то выбегала на улицу, чтобы броситься под трамвай или же в Неву... Мама и младшая сестра Этя ходили за нею по пятам. Но долго так продолжаться не могло, и пришлось положить её в Бехтеревскую психиатрическую больницу. А дети на какое-то время остались у нас. Марлене было тогда лет десять, Виле – одиннадцать, Гале – пять, мне – четыре.

Галя как Галя. Была она на полгода старше, но какого-либо влияния на меня не имела. А вот Виля – тот сыграл в моей жизни роль значительную и, я бы сказал, роковую. Это он заронил в мою душу первые зёрна страха, конформизма, скрытности, тайной ненависти. Ещё тогда, в четырехлетнем возрасте, я испытал на себе воздействие его болезненной, изощрённой фантазии и злой, беспощадной воли.

Перед моими глазами – наша детская, тьма за окном, лампа без абажура в центре потолка – и Виля, почему-то лежащий на кровати. Мы с Галей стоим перед ним и трепещем. Виля рассказывает.

На Солнце живёт Кап: великий, всемогущий колдун, личный друг и покровитель нашего Вили. Он может всё! И сделает всё, о чём только Виля его ни попросит.

У Капа есть Руки. Нет, не конечности его собственные, не часть его тела, а отдельно существующие Руки – слуги великого колдуна, живущие на Луне. Руки без туловища и без ног. От человеческих они отличаются тем, что на каждой не пять пальцев, а только три. Но этого им достаточно.

Если мы не будем слушаться Вилю, то он попросит Капа, чтобы тот *забрал нас к себе навсегда*. И тогда явятся Руки и унесут нас из дому не то на Солнце, не то на Луну..

А чтобы не огорчать «мамочку» (тётю Гиту), а также «тётю Бумочку и Додю» (так Виля называл моих родителей), Кап подложит на наше место других детей, искусственных, которые будут так же, как мы, разговаривать, смеяться и плакать, будут в точности похожи на нас, так что *никто ничего не заметит*.

Но (что для меня было всего страшнее) эти подложные *дети будут сами себя считать настоящими! Они будут думать, что они – это мы! То есть и мы сами не заметим подмены!!!*

Такая перспектива полного растворения моей личности в чужом существе наводила на меня ужас и безысходную тоску. Я был готов самым добросовестным послушанием заслужить благорасположение негодяя кузена. Я трепетал перед ним, боялся больше, чем смерти, и, как теперь понимаю, люто его ненавидел.

В то время я верил ему и его легендам беспредельно, как дикарь верит шаману. Однако Галя и особенно Марлена были старше, и он чувствовал необходимость предъявить им доказательства. За этим у Вили остановки не было.

Мы стоим вечером в родительской спальне (ещё она называлась кабинетом), и Виля говорит, что ему сейчас Кап будет бросать *жереберь* (то есть, очевидно, жребий).

Виля, стоя сзади нас, приказал смотреть на середину комнаты. Вдруг откуда-то сверху брякнулась на пол какая-то металлическая штучка – на вид точь-в-точь пряжка от резинки для чулка. Но это сходство мы почему-то игнорируем, охваченные мистическим трепетом.

– Письмо! – объявляет Виля и вытаскивает из «жереберя» крошечный клочок бумаги. Текста решительно не помню – чи-

тать ещё не умел, но хорошо знаю, что в конце стояла короткая страшная подпись: «КАП». Это означало: «Колдун Александр Петрович»,

Вы улыбаетесь, взрослый, умный, солидный человек: какая чушь! И даже – весёлая чушь!

Но, уверяю вас, мне и теперь не смешно. Поставьте себя на место робкого малыша. Представьте, что вам ежедневно грозит опасность быть подменённым неким роботом, которого все, в том числе и он сам, примут за вас. Может быть, это уже произошло. Вас нет, вы исчезли, испарились, высохли. Вы – уже не вы, а бездушный двойник, подменная кукла. И никто, никто на свете, даже мама и папа, даже Маруся, не знают об этом...

Какая дикая, чудовищная фантазмагория! Удивительно, что родилась она в воображении не Уэллса, не Брэдбери, не братьев Стругацких, а обездоленного соломенным сиротством десятилетнего мальчика⁷.

«Жереберь» не был единственным доказательством бытия Капа. Виля с готовностью демонстрировал нам Руки.

Он велит мне лечь на кровать лицом к стене и смотреть вниз, на пол, в промежуток между стеной и кроватью. При этом оборачиваться запрещено *под страхом смерти*. У меня и сейчас такое чувство, что если бы я обернулся, он и впрямь убил бы меня. По счастью, мне не хватало смелости.

Терпеливо жду. Слышу у себя за спиной Вилину возню и напряжённое сопение. Но вот у самого пола появляются две трехпалые светло-коричневые *Руки*, извивающиеся, как змеи. На коже этих *Рук* – продольные рубчики, как на моих детских чулочках.

Совершенно явственно осознаю, что кузен меня дурачит, что он надел на свои руки чулки, а ненужные ему по легенде два пальца поджал под ладонь, что это *он сам* там возится у меня под кроватью. Но трезвую эту мысль гоню от себя прочь: нет, я

⁷ Уже написав эти слова, я узнал (от моего тогдашнего сотрудника – будущего писателя Юры Милославского, читавшего эти записки), что у какого-то зарубежного фантаста есть рассказ или повесть со сходным сюжетом. Тем больше чести Виле: он избрёл этот «велосипед» вполне самостоятельно!

вижу *Руки*, это слуги Колдуна, они прилетели с Луны и в любой момент могут унести меня навсегда...

Даже сейчас во мне живёт глубоко затаённая мысль – не мысль, а ощущение, – что я всё-таки видел тогда ... *настоящие Руки!*

Слово Вили для меня свято, но вполне угодить моему повелителю невозможно, хоть стараюсь изо всех сил. И вот приходит наказание. Оно ужасно.

В углу нашей детской есть дыра в полу. Может быть, когда настилали пол, оказалась чуть короче одна доска. Нам с Галей давно сказано: «Кто не будет меня слушаться, того поставлю ногой в дырку. Прилетят *Руки* – и заберут».

И вот я в чём-то согрешил, и возмездие неизбежно. Виля тянет меня за руку в роковой угол с дырой. Противлюсь изо всех сил, громко кричу, прошу пощады, кусаюсь, плачу. Но мой палач неумолим. Он тянет меня – и вот мы у этого входа в небытие! ...

Главное – не дать ему втиснуть туда мою ногу! Борюсь с ним – но силы не равны. В последнюю минуту, когда роковой шаг уже сделан, малолетний монстр вдруг прощает меня. Но в мою душу уже закралось ужасное подозрение: а вдруг как раз в этот миг я был подменён?!

Может быть, Виле было мало одного лишь «Александра Петровича», а, возможно, то случилось ещё до «рождества Капа», только он придумал для нас и такое пугало.

В детской сверху отошли обои, и в том месте большой паук соткал паутину. Старшие, за всеми своими партийными страстями, долго этого не замечали, а Виля и паука выдал за колдуна – и, конечно, тоже за своего закадычного приятеля. И нарёк паука пугающим именем – не то «Фабзавуч», не то «Всевобуч»⁸.

Боже, что за фантазия была у этого мальчика! И как же он бывал жесток!

⁸ *Фабзавуч – школа фабрично-заводского ученичества, впоследствии ФЗО; всевобуч – всеобщее военное обучение. Мы, малыши, истинного значения этих сокращений, конечно же, не понимали, зато хорошо ощущали то, чего взрослое ухо уже не слышит: их зловещее звучание.*

В клетку-крысоловку попалась крыса. Он собрал нас, детей, велел смотреть и вот так, при свидетелях, выжег ей то ли горящей спичкой, то ли раскалённой проволокой глаза.

Приказывал мне помогать ему истязать кошку. Я гнал нашу Мурку к нему, он её хватал и вязал узлом, выкручивал, как тряпку. Несчастливая, обезумев от страха и боли, царапалась, жалобно вопя, а когда удавалось вырваться из его рук, лезла под кровать, роняя кал. Теперь у него был повод мстить кошке за то, что она его укусила, да притом и нагадила. Он брал длинную трость с нанесёнными на неё арабскими письменами, привезённую мамой с Кавказа, и этой палкой выгонял бедное животное из его убежища для нового тура истязаний. Снова жалобные кошачьи вопли, у меня сердце разрывается от жалости, но – молчу: боюсь проклятого Капа. Родители кричат из соседней комнаты:

– Виля! Ты что, кошку мучаешь? Перестань сейчас же!

– Нет, тётя Бумочка, это она сама! – врёт Виля. Никто не приходит проверить, но, на наше с Муркой счастье, он уже успел струсить и оставляет её в покое.

Описанная сцена относится уже к более поздним – харьковским временам, но я хочу поскорее от неё отделаться, чтобы покончить с темой Вилиной жестокости, а вместе с тем понимаю, что это мне не удастся: впереди – рассказ о том, как Виля держал меня в узде, когда я перерос своё младенческое легковерие, и он был вынужден пустить в ход другие методы запугивания и подчинения. Вот тогда-то его жестокость и развернулась в полную силу... Впрочем, не будем забегать вперёд – вернёмся в Ленинград 1934 – 1935 годов.

В то время у Вили была любимая игра: тузить что есть силы свою подушку, воображая, что это – враг.

Врагом №1 был Иван Иванович – его недавний отчим. Виля долго и подробно рассказывал, смакуя детали, как он будет с ним расправляться, и принимался ожесточённо месить и мять подушку. Он её расстреливал из пистолета, рубил саблей, резал ножом... Кажется, тут же доставалось и разлучнице – новой жене Ивана Иваныча...

Годом-двумя позже, в Харькове, подушка заменила моему двоюродному брату Михаила Тухачевского. В то время славный

маршал только что был оболган и отдан под суд. Виля лупил и мял этот мешок с пухом и перьями, приговаривая: «Вот тебе, тухлый Тухач!» Кому в тот год больше досталось: грозному полководцу или нашей безответной подушке – мы, видно, никогда не узнаем⁹

Впрочем, подушку хотя бы не продырявили.

Именное оружие

В квартире моей сестры и сейчас стоит в коридоре этажерка – единственная вещь, оставшаяся ещё с ленинградских времён.

В этажерке, внизу, за дверцами, на нижней полке хранился тогда под хлипким – «от честных людей» – мебельным замочком завёрнутый в маслянистую обёрточную бумагу крошечный мамин браунинг.

Странно, для чего подарили его маме, которая, хотя и была когда-то подпольщицей, а потом чекисткой, но так и не сделала за всю гражданскую войну ни единого выстрела, да и вообще не умела стрелять. Но факт остаётся фактом: за какие-то заслуги ей, действительно, был вручён опасный подарок. Разумеется, он лежал без дела, и порой родители забывали вынимать ключик из личинки замка и прятать его от детей.

И вот однажды неумоимо изобретательный Виля, заметив, что ключик торчит в дверце этажерки, позвал нас в «кабинет» – посмотреть на браунинг. Со дна этажерки он извлёк бумажный пакет, но, прежде чем развернуть его, объяснил, что на всякий случай нужно попроситься: пистолет может выстрелить.

Поочерёдно мы все расцеловались (у меня перед глазами – перепуганная Галина мордашка, её значительный вид, круглые глаза), и Виля открыл пакет.

Воронёная сталь тускло блеснула чёрными щёчками, мы потрогали их, потрогали крошечные, тупорылые патрончики,

⁹ *Писано задолго до сенсационных разоблачений времён перестройки*

россыпью лежавшие в отдельной бумажке и похожие на пипки Свифтовых лилипутов, подержали в руках заправленную обойму – после чего смертоносная игрушка была водворена на место.

Какой ужас охватил бы родителей, если бы им стало известно об этой проделке! Но тогда они ничего не узнали. Много лет спустя, в 1954 году, в начале «оттепели», на свидании с отцом в воркутинском Речлаге я рассказал ему этот эпизод – и в ответ неожиданно услышал о печальном финале «личного именного оружия» нашей мамы.

В 1936 году наша семья, взяв браунинг, переехала из Ленинграда в Харьков. Вскоре начались известные события: обмен партдокументов, массовые исключения из партии (пардон: массовые – но в индивидуальном порядке), проработки, аресты, расстрелы. Папу уволили из армии, и своё табельное оружие он, конечно, сдал. Но что делать с маминым – именным? По такому времени нечего было и думать о том, чтобы продлить разрешение на пистолет, да и оно не гарантировало бы от обвинений в терроризме. Оставалось лишь благодарить судьбу за то, что о гремучем подарке никто не помнит и не знает, а уж если бы его нашли при обыске...

Кровь стынет.

Поэтому отец завернул «орудие террора» в тряпочку, положил в карман и, гуляя со мной по городу, выкинул его с моста в одну из тухлых харьковских речушек – вместе с полной обоймой и с пригоршней хорошеньких патрончиков.

Наверное, останки именного оружия лежат и сейчас на дне Лопани в густом вонючем иле.

Что даст эта находка грядущим археологам? Разъяснит ли она потомкам наше тёмное, рачье время?

Ёлка

Лет четырёх я заболел, и ко мне позвали врача. Пришёл однорукий весёлый доктор.

– Где ваша вторая рука? – спросил я, и доктор с готовностью рассказал мне всю правду:

– Мою вторую руку отгрызли сорок собак!¹⁰

Доктор сказал, что у меня грипп. Но вечером пришлось срочно вызывать «частника» – педиатра Валицкого: так мне стало плохо. В ожидании его визита я сам отверг предыдущий диагноз, заявив маме:

– Это не грипп – это какая-то другая *болезня*...

Валицкий приехал, задрал на мне рубашку и, едва глянув, вынес приговор:

– Скарлатина!

В то время это была болезнь не только опасная (нередко от неё умирали – вспомним «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого: «Тоньше паутины/ из-под кожи щёк / тлеет скарлатины/ смертный огонёк»), но и очень продолжительная: если не умер – в больнице пролежишь сорок два дня: даже больше, чем количество собак, отгрызших руку у весёлого доктора.

Меня везли в «карете скорой помощи» по вечернему или ночному Ленинграду. То и дело свет витрин заполнял машину, и тогда мне казалось, что она становится шире. А потом темнота вновь сжимала её.

Утром я проснулся в палате. Изголовьями к стене поперёк длинной комнаты стояли в один ряд койки с детьми – думаю, штук десять – двенадцать.

Одна нахальная крикунья девочка то и дело горланила во всю мочь:

– Ка-а-кать! Пи-и-сать!

Поначалу это шокировало меня, так как я привык к эвфемизмам. Но так же, как она, просились все, и я последовал их примеру.

Вскоре или не вскоре – не знаю (меры времени для меня тогда не существовало) взрослые стали готовить для нас новогодний праздник. В проходе между противоположной стеной и койками поставили ёлку – первую в моей жизни! До середины 30-х годов этот праздник находился как бы под действием

¹⁰ У кого-то из загубленных в те времена ленинградских «детских» поэтов – то ли у Хармса, то ли у Олейникова – повстречалась мне теперь в опубликованных вновь стихах строчка о «сорока собаках»... Доктор был, как видно, начитан...

большевистского моратория. «Как бы», – потому что никто его не запрещал, но и праздновать было не принято: в советской и партийной среде его отождествляли с религиозностью, о ленинских ёлках времён военного коммунизма и Горок в то время никто не вспоминал.. Ёлка прочно сочеталась в сознании с рождеством, сочельником и чем-то полуцерковным, обрядовым.

Но как раз ко времени моей скарлатины мораторий испарился, и вот в нашей палате появилось деревцо – «лесная гостыя», как сказали бы теперь мои собратья-газетчики.

Ёлочных игрушек тогда ещё в магазинах не продавали. Поэтому на ветвях больничные нянечки развешали конфеты и пряники. Детям объявили, что под Новый год гостинцы будут сняты с ёлки и розданы.

И надобно же тому случиться – как раз в канун заветного дня мне родители принесли передачу: не только конфеты и печенье, но даже мандарины. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из ребят в этой больнице получил такой царский подарок.

Взрослые (служители медицины) решили, как видно, восстановить социальную справедливость. Когда гостинцы были срезаны с ёлки, их вручили всем детям... кроме меня. Одна нянька (или врачиха: разницы между ними я в то время не разбирал) так и объяснила:

– Гляди, у тебя сколько всего, а у них нет.

Так я, сын матери, происходившей из нищей рабочей семьи, активно участвовавшей в экспроприации имущества буржуазии в 1917 – 1919 гг., и отца, успешно обосновавшего в вузовском учебнике политэкономии необходимость и моральность такой экспроприации, изведаль на себе всю силу установления социальной справедливости.

Я ревел от обиды и зависти, глядя на детей, жевавших пряники с ёлки. Прежде чем их съесть, дети играли ими, любовались мраморными разводами глазури, хвастали друг перед другом, чей пряник лучше. А уж потом – уплетали.

Я же остался один на один со своими распостылыми мандаринами, и не было утешения моему наигорчайшему горю!

Прошло ещё сколько-то дней, и меня перевели в крохотную палату. Был там ещё один ребёнок, мы болтали, смеялись, кидались подушками... В нашу палату внесли кровать с мла-

денцем, долго над ней колдовали, а утром сказали: «Умер» – и затихшего младенца унесли. Мы продолжали резвиться за решётками своих кроваток как ни в чём не бывало: понятия о смерти ещё не было в наших ребячьих душах...

Уже потом, много позже, узнал: перевели меня в эту палату тяжело больных из-за начавшегося осложнения болезни...

Однажды вечером отворилась дверь палаты, и в ярко освещённом коридоре я увидел маму.

Я заплакал от счастья. Меня вынесли, передали ей на руки – тёплые, полузабытые, родные, мамины.

Больница кончилась.

Среднее ухо

Дома я всех очень удивил своим беспшабашным поведением и оголтелыми криками: «Какать! Писать!»

Понадобилось время, чтобы ввести меня в прежнюю колею и заставить выражаться парламентарно: «По-маленькому! По-большому!».

(Лет через десять мой приятель-одноклассник расскажет мне об одной семье, где ребяташек научили проситься только по-французски: «Пур ле гран» и «Пур ле пти»!)

Мне купили новый горшок, потому что прежний был уже маловат. Горшок был такой новенький, блестящий и симпатичный, что я немедленно нахлобучил его себе на голову. У взрослых почему-то вытянулись лица, а я и теперь не понимаю, чего они ужасались: посудина-то новенькая была, «ненадёванная!»...

Вижу себя сидящим на своём новом зелёном горшке, поставленном на стул посреди комнаты. На пол становится запрещено: у меня воспаление *среднего уха*.

Сижу и размышляю: у человека два уха, и оба – крайние. А где же среднее? Оказывается, внутри – в голове. Болит отчаянно – ночью не сплю, и боль немного успокаивается только от грелки.

Часто приходят врачи с кругленькими дырчатыми зеркальцами над головой, заглядывают мне в ухо при помощи ма-

ленькой воронки, и я слышу страшные слова: «Видно, придётся делать *прокол*».

Однажды вечером явился здоровый мужик с зеркалкой на лбу, в руках – футляр с инструментами. Кроватку мою выдвигают на середину комнаты – под лампу. По обе стороны садятся папа и мама и с напряжёнными, красными от волнения лицами вцепляются в меня, держат за руки, а доктор достаёт из футляра длинную трубочку с иглой на конце.

Взревев от страха, рвусь из цепких родительских объятий, поворачиваюсь то к одному, то к другому, умоляю:

– Ну, папочка! Ну, мамочка!

Доктор подходит к тёмному окну и очень ловко свистит по-милицейски:

– Тр-р-р-р-р-р! Тр-р-р-р-р-р-р!

Успокаиваюсь на минуту, но не из страха перед милицией (у нас в семье детей Советской властью не пугали!), а просто от удивления имитаторским искусством ушника. Но едва он берётся за иглу – опять рвусь и кричу.

В конце концов, они одолели меня. Чувствую в глубине левого уха мгновенную пронзительную боль – и немедленное облегчение, заставившее меня от бурного плача вдруг перейти к счастливому смеху.

Проходит несколько дней. Я выздоравливаю. Ко мне приходит совсем другой врач – женщина, я без малейшего страха извлекаю из её инструментария знакомого вида шприц и глажу его, как сытого удава.

Через 12 лет после той болезни врач медкомиссии военкомата, где наш класс проходил воинскую *притиску*, заглянула в моё левое ухо – и спросила:

– Что , делали прокол?

– Да, в четыре с половиной года, – ответил я.

– Молодец, – сказала врачиха, как будто заслуга принадлежала мне, а не родителям и тому доктору, который умел свистеть, как милиционер...

Вот спасибо этому человеку: благодаря его искусству, я на решающей медкомиссии всё прекрасно услышал, был призван в Советскую Армию и отправился служить на Дальний Восток.

Искусство и литература - 1

Чёрное море, белый пароход...
Сяду – поеду на Дальний Восток!

Так пел я, когда был малышом, и даже не подозревал, до чего точно пророчу себе – если не вид транспорта, то направление и маршрут. В армию нас везли не белыми пароходами, а красными «телятниками» - товарными вагонами. Как по хрестоматии: «40 человек, или 8 лошадей».

Но это будет потом, потом... Сейчас мы – о детстве.

Итак, я пел. Что же ещё я пел тогда?

Как уже было сказано – «По долинам и по взгорьям». «Исполнял» каждое утро, в постели, едва продрав глазёнки, - как теперь Москва на рассвете, в шесть утра, играет Гимн. Советского Союза.

Но однажды проснулся, хотел запеть – и не смог: забыл слова. Это утро слилось у меня в памяти с другим – тем, когда сообщили об убийстве Кирова (а, может, и в самом деле это тогда и случилось). Почему два события так соединились в памяти? Ведь подлинного значения рокового выстрела я тогда, да и много лет спустя, понять не мог. Да его лишь сейчас начинают постигать историки. Включи такую ассоциацию в рассказ или роман – скажут: натянутый символ. Но в памяти моей те два утра (или всё же одно?) прочно связались с детства.

Песню вспомнить пришлось через 20 лет – в армии, где я, благодаря зычному голосу, стал запевалой в строю. И, опять-таки, символ: именно в годы моей службы, на XX съезде партии, была приоткрыта завеса над убийством Кирова. Снова «художественный приём»?.. Но автор его – сама судьба.

А пел я в детстве ещё «Крамбамбули»: венгерскую застольную, что ли, песню, которую слышал от родителей; от них же научился петь французскую «Карманьолу» по-русски: «Антуанетта в тот же час /хотела перевешать нас, / но дело сорвалось у ней / – всё из-за наших пушкарей.// Отпляшем «Карманьолу»/ под гром пальбы! /Отпляшем «Крманьолу» / под пушечный гром!». А ещё – немецкие зонги из репертуара Эрнста Буша: «Друм – линс, цвай-драй!» и «Цузамен» (папа их очень

любил). А ещё – известную русскую нелепицу: «Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота...» (научился, видимо, у няни).

А вот это – от кого?

Чинно алгебру несли
В гробе из журналов.
Тихо плакала вдали
Единица баллов.
Чепуха! Чепуха!
Это просто враки:
Кочергою на печи
Сено косят раки...

Нечто явно гимназическое. По-моему, однако, песенку принесла сестрёнка Марленка из единой политехнической школы. Нравы там царили поистине гимназические, даже бурсацкие. Учительница, рассердившись, командовала маленьким детям: «Встать – сесть! Встать – сесть! Вот отбейте себе жопы...»

А это – несколько детских песенок, усвоенных от мамы – уж не знаю, где она их взяла.

О природе:

Стоит стар человек
в лесу глухом,
И беленький кафтанчик
надет на нём.
Ну кто же это мог бы быть
И в лесу дремучем жить,
Беленький кафта-а-а-анчик носить?

На человечке шапка
красным-красна,
У человечка ножка
одним-одна.
Ну, кто же это мог бы быть... И т. д.

Ёлочно-святочное:

Дилинь-дилинь день – пришёл к нам дядя.
Дилинь-дилинь день – а что принёс?
Дилинь-дилинь день – подарков много
Дилинь дилинь день – в карманах у него...

Опуская «звоночки», привожу дальнейший текст:

Наш дядя – добрый?
Нет, он сердит!
Сердится дядя
На тех, кто там кричит.

Наш мальчик умный:
Он замолчал!
Сердись ты, дядя,
На тех, кто там кричал...

... Вот уйду – и кто расскажет, что же пели дети в тридцатых годах двадцатого столетия?.. Кто это сейчас помнит? А из тех, кто помнит, - кто записал?

Во всех романах, кинофильмах – по одной-две дежурных песенки от каждой поры. Впрочем, может, и не надо – больше? Вот же поставил Рязанов «Бесприданницу» («Жестокий романс»), где Лариса поёт на слова Беллы Ахмадулиной, а Паратов – «Цыганочку» на слова Редьярда Киплинга... А Пушкин, как в иронических стихах Д. Самойлова, в «Мерседесе» развезжал! Что ж, вольному воля, а я всё же расстараясь для историков и этнографов...

Несколько прибауток застряло в голове из тех, которыми в изобилии пересыпала свою сердобскую речь наша Маруся.

Перед чаепитием:

Чаю, чаю – накачаю,
Кофию – нагрохаю!

Во время «купания меня»:

С гуся вода,

А с Фелюшки – вся худоба! –

так приговаривалось при обливании, хотя чем-чем, но худобой я никогда не страдал.

Никакой живописи, рисунков у нас в квартире не было, только висела тонко раскрашенная, сильно увеличенная фотография Марленки в пяти-, шестилетнем возрасте (большие серые глаза, серьёзное лицо, крупные светлые кудряшки), да в «кабинете» - огромный чёрный портрет Сталина, оправленный в широкую, фигурного абриса, песочного цвета, раму из пробкового дерева (нашей маме подарили эту раму на заводе, выпускавшем пробки для бутылок).

Во мне потом долго жила уверенность, что вначале эта рама висела, развёрнутая вверх не коротким, а длинным краем. Но тогда в ней не мог находиться тот портрет – получилось бы, что генсек висит лёжа. Что же было в раме до Сталина?

Этот вопрос я задал папе во время нашего свидания на Воркуте в 1954 году. Оказывается, первоначально – в середине 20-х годов – в раму был вставлен плакат «Коллективный вождь РКП»: фотографии всего руководства ЦК, включая Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева и других, - между ними и Сталина. Но развитие событий привело к смене картинки: родители считали себя убеждёнными сталинцами.

Вместе с тем долго – уже и в Харькове – на письменном столе рядом с пластмассовым чернильным прибором стояла стеклянная пепельница с лошадиной мордой на дне и выпуклой надписью: «Ленинград, фабрика имени Н. И. Бухарина». По-моему, родителям было жаль расстаться с этим именем. Троцкого отец при мне бранил, называл «сволочью» (хотя и отменял его ораторское мастерство), о Бухарине же я никогда плохого слова ни от него, ни от мамы не слышал.

Чернильный прибор (наверное, одно из первых в СССР изделий из пластмассы) имел посредине выпуклое изображение книжки и надпись на ней: «Книгу – в массы!» Вместо карандашниц стояли две гильзы довольно крупного калибра (думаю, 85 мм) от пушечных снарядов: по военной специальности отец был артиллеристом.

На стене над письменным столом висела открытка с известным фотоколлажем (кажется, Моора или Родченко): огромного роста Георгий Димитров, встав со скамьи подсудимых и облокотясь на перила загородки, с презрением смотрит на крошечную фигурку, стоящую перед ним.

Недавно мне встретилась эта фотография в книжке о Лейпцигском процессе над «поджигателями рейхстага». Оказывается, пигмей, подбоченившийся фертом и расставивший толстые, обтянутые крагами ноги, - это свидетель обвинения Герман Геринг. Подпись под картинкой – слова Димитрова, действительно, сказанные им Герингу:

– Вы боитесь моих вопросов, господин министр-президент?

Примерно с четырёх лет я сдружился с книгами. Первой была – «Сказки» К. Чуковского», подаренная самим... нет, не автором, а редактором издания – папиной приятельницей М. М. Гимпелевич.

Много лет я берёг эту книжку с великолепными иллюстрациями и до сих пор её люблю. Чуковский и Ленинград настолько неразрывно соединились в сознании, что ко дню 85-летия писателя я послал ему поздравление не в Москву, не в Переделкино, а – в Ленинградское отделение Союза писателей. Спихватился лишь спустя несколько месяцев.

Но читать я выучился по другой книге. Это было уже после отъезда Вили, которого отправили в семью отца – Сергея Иванова, и отъезда Гали – её забрали подмосковные бабушка и дедушка: потомки крепостных графа Шереметьева из деревни Перепечино, родители Ивана Иваныча.

Отца перевели служить в Харьков – в военно-хозяйственную академию. Этот перевод, как теперь понятно, вписывался в сталинский план разгона верхушки ленинградской парторганизации, особенно стойко сопротивлявшейся диктату Сталина. Воспользовавшись убийством Кирова, Сталин и его сторонники окружили всех, сколько-нибудь «замешанных» в оппозиции, подозрительностью и принялись «раскассировать» их по всей стране. Поставили и перед родителями проблему перевода из Питера: за ними ведь тоже (как и за большинством активистов) числился «грех» участия в оппозиции. Отцу предложили пере-

вестись в какое-либо другое военно-учебное заведение – он выбрал Харьков, потому что там жили его мать и сестра. Приехав туда, стал подыскивать квартиру для обмена. А пока что писал из Харькова письма. В одном из них спрашивал меня: что прислать к моему пятому дню рождения?

Диктую маме ответ:

– Папа, пришли мне хорошую книжку. Толстую. С картинками.

И вот – приходит: не книга, а чудо. Большая, толстая, с рисунками. Это сказки народов Азии, Африки, Австралии, Америки. Название книги – по первой сказке: «Как братец Кролик победил Льва».

Ах, эти братцы Кролики, Львы, братец Лис, сестрица Черепаха и пленительно непостижимая «матушка Мидоус с девочками»! Крупный шрифт, ясный язык, плотная бумага, прочный переплёт – чем не букварь! Почему-то в наши дни мне не встречалось переизданий, а жаль: это книга для поколений.

Несколько сказок начинались так: «*О вэй-вэй-хэмбайо, что значит давным-давно...*» Такой зачин придавал сказке особую прелесть загадочности.

В Ленинграде впервые я смотрел кино. Это были «Кукарача», диснеевские «Три поросёнка» и, по-моему, «Мы из Кронштадта». После конца сеанса, выходя из зала, я всё оглядывался на экран: хотел подкараулить момент, когда из-за него будут выходить артисты: им ведь тоже надо вернуться домой...

Наши ленинградцы: Шлёма, Этя и др.

Иногда папа и мама садились со мной в трамвай, и мы долго ехали по городу: мимо «моря-реки», где у пристаней, причалов и пакгаузов остывали чёрные, дымящиеся пароходы, мимо штабелями сложенных брёвен и досок, часового в шинели и буденовке, по бесчисленным мостам, мосткам и мосточкам – пока, наконец, не выходили на остановке где-то у Нарвских ворот. Войдя во двор огромного дома, долго поднимались по

лестнице на последний этаж. Здесь нас встречали мамина младшая сестра Этя – такая же маленькая, как мама и Гита, с добрым широким лицом, улыбочивая, приветливая, от удовольствия встречи всегда потиравшая руки, и её муж Шлёма, светловолосый, крепко сложенный, с длинным лицом и серыми круглыми глазами, с глуховатым голосом, а также их дочь Зоря – как он, круглоглазая и серьёзная.

Зоря – это аббревиатура. Означает что-то вроде «Знамя Октябрьской революции» Моей двоюродной сестрёнке её имя доставит впредь немало огорчений. В войну мы год будем жить вместе – в северной деревне. Там Зорькой кличут каждую вторую корову. Имя ленинградской девочки местные ребятишки воспримут, примерно, так, как если бы меня звали Полкан. То, что каждую первую корову кличут Манькой, их почему-то не смутит...

Потом, получая паспорт, она попросит, чтобы букву «р» выпустили. Так в Ленинграде станет одной Зоей больше. Но мы с Марленой к этому так и не привыкнем: нам милей её прежнее имя, да ещё и в ласковой семейной редакции: Зорюшка...

В Ленинграде 30-х годов с ними жила и наша с Зорькой общая бабушка Сара – крошечная, белоснежно седая, с детской голубизны глазами и мясистым носом, – хлопотливая и феноменально бестолковая, не умевшая, к тому же, не перевернуть ни единого русского слова.

О бабушке подробный рассказ впереди. (См. очерк «Сурка д'Алмунес» во 2-й части этой книги).

Этя училась на рабфаке, потом (или, наоборот, до того) была работницей на швейной фабрике и стала директором этой фабрики – почти как в кинофильме «Светлый путь» или в более позднем «Москва слезам не верит». Только в этих лентах не показывали пути обратного, а Эте пришлось и его проделать... Но об этом также в своём месте, в своё время.

С мужем Шлёмой Разумбаевым она где-то вместе училась. Он родом из маленького городка Волочиск на Украине. Не знаю, откуда взялась у него такая тюркская фамилия – уж не из тех ли он евреев, что ведут свой род от хазар? Но, скорее всего, эта фамилия – результат чьей-то ослышки. Какой-нибудь

Шлёмин предок представился: «Розенбаум», А болван урядник записал, как понял: «Разумбаев», Позже, в армии я слышал анекдот. Офицер кричит на солдата: «Ах ты разьебай!», а другой солдат, татарин, его поправляет: «Это не он – Разумбай, это я – Разумбай!»

Впрочем, я обязан представить и другую версию фамилии, поведанную мне в письме Шлёмным внуком. Будто сирота Шлёма, юнцом попав в один из красных полков, был там наделён фамилией командира полка – татарина... Вряд ли это так, потому что кто-то из старших в семье – чуть ли не он сам – говорил мне, что люди с этой фамилией были у него на родине...

Шлёма осиротел в пять-семь лет, у него вся семья вымерла. Кто-то научил ребёнка: «Ступай в пекарню: там тепло, и есть дадут». Он пошёл, и хозяин взял его в мальчики, как чеховского Ваньку Жукова. Хозяин был еврей, и Шлёма с той поры немножечко антисемит, хотя и сам еврей. Он считает, что евреи эксплуатируют своих рабочих сильнее, чем прочие. Если так, то хозяин Ваньки, сапожник Аляхин, который «вчера съ выволок» своего малолетнего ученика «за волосья и отчесал шпандырем», за то, что тот заснул нечаянно, укачивая хозяйского младенца, – должно быть, этот хозяин был трижды еврей... (Юдофобия – мерзкое явление, но как-то объяснимое, когда она исходит от других народов. На её фоне особенно терпеть не могу еврейского антисемитизма, проистекающего, конечно, от внушённого со стороны «комплекса вины».)

Приняв участие в гражданской войне, Шлёма (член партии с 1919 года) получил какое-то «партийно-политическое» образование, стал политработником, преподавателем. Но дело это у него не пошло. Он служил в армии, в НКВД, потом был директором школы, руководителем технического обучения рабочих, производственным мастером, а кончил тем, что перевёлся в слесари и, таким образом, вернулся в рабочий класс. В войну был в войсках НКВД на Ленинградском фронте, потом участвовал в выселении чеченцев, карал «бандер»... Словом, если учесть, что в сталинской России полстраны сидело, а другая половина первую охраняла, то

среди нашей родни Шлёма был представителем охраны. В глазах читателя такая аттестация – не лучшая, но было и «смягчающее обстоятельство»: с начальством он хронически не ладил, войну как начал старшим лейтенантом, так и окончил в этом негромком звании. Значит, не выслуживался. Уже хорошо... Но мне доподлинно известно: он раньше других в нашей родне понял, каковы на самом деле хозяева советской державы. Ещё во время коллективизации посмотрелся страшных вещей, а во время войны, на Кавказе и в Западной Украине, впечатлений добавилось, и, случайно уцелев сам в море репрессий (отчасти ведь затронувших и его жену), затаился, оуклился и, насколько мог, отгородился от политики. В 1953-м, тепло приняв меня как дорогого гостя, вместе с тем ни слова не спросил о родителях (а ведь они находились в лагерях как «контрреволюционеры»), и он это знал!). Меня тогда это поразило: он с удовольствием вспоминал, как забирал меня с мамой из роддома (отец почему-то не мог), с теплотой упоминал и о моей маме, и о папе, – но не спросил ни разу, даже наедине: как они? Где они? Только смертельным страхом перед властью и её «органами», которые он знал, как никто из нас, могу объяснить этот психологический феномен.

Последнее довоенное воспоминание о Разумбаевых: в 36-м году они явились к нам с прибавлением – появился на свет Вовка. Этя родила его 21 января – в годовщину смерти Ленина, но Вилен уже в родне был, и мальчика назвали Владимиром: ещё один пример того, что детей моего поколения в нашем семействе нарекали, главным образом, революционными именами.

Положенный на кровать моих родителей, Владимир немедленно обмочил белое покрывало, чем я был чрезвычайно возмущён.

У дяди Шлёмы был крошечный патефон и несколько пластинок. Но я любой музыке предпочитал почему-то «Речь товарища Кирова».

Какое-то время жил в Ленинграде с женой Лялей и дочерью Лидой папин родной брат Абрам. Но, кажется, недолго. Ещё были там же у папы несколько двоюродных братьев

и сестёр по фамилии Вол. Одну из этих сестёр, Дину, студентку института, на время пребывания Гиты в больнице впустили в её комнату на Фонтанке, – выручили как родственницу...

Множество было в Питере у папы и мамы друзей. Самый душевный из них – «Ефимчик». Беру это имя в кавычки, потому что оно и не имя вовсе, а подпольная кличка времён гражданской войны. По-настоящему он Арон Фрайберг. Но все знали и звали его Ефимчиком, и он стал официально Ефимовым-Фрайбергом. Маленький, шепелявенький, бойкий, он был когда-то очень популярен в комсомоле, и его земляк по Екатеринославу (Днепропетровску) Михаил Светлов посвятил ему несколько тёплых строк в своих воспоминаниях, вошедших в двухтомник «Автобиографии советских писателей». Допускаю также, что друг нашей семьи мог быть прообразом эпизодической колоритной фигуры комсомольца Ефимчика в известной пьесе Бориса Горбатова «Юность отцов», которую ставили в 40-е годы чуть ли не все школьные драмкружки (а в кино по ней отснят фильм «Это было в Донбассе»).

У Ефимчика и Шуры Курсаковой было двое детей: Инна – моя ровесница (названная в честь Инессы Арманд) и Марат (в честь «друга народа», французского революционера Жан-Поля Марата).

В Мельничьем Ручье, дачном посёлке, где мы жили летом тридцать пятого года, Ефимчик катал меня на велосипеде, сверзился на ходу в лужу, но меня успел подхватить.

Ефимчика прошу запомнить.

Ещё родители дружили с супругами Поповыми – дочерью Дусей и простецким Петей, который прикуривал от солнца через лупу. Много-много лет спустя я узнал, что Дуся работала личным секретарём у Жданова. С детьми Поповых, Миррой и Нелей, я играл, сидя на медвежьей шкуре у них в доме. Зачем-то мы катали по полу большой плетёный сундук с игрушками... Помню и других маминых и папиных друзей: Мирру Свещинскую, Миркова... За почти пятнадцать лет родители пустили в Ленинграде корни. И вот пришлось навсегда оттуда уехать.

Сперва уехал папа: его перевели из преподавателей Ленинградской военно-политической академии в Харьковскую военно-хозяйственную. К моему пятому Дню рождения он прислал мне замечательную книжку: сказки народов Африки, Северной Америки и, кажется, Австралии. Несколько сказок начинрались одинаково: «О вэй-вэй-хэмбайо, что значит: давным давно...»

Марлену оставили в Этиной семье – доучиваться в третьем классе, а мы с мамой 30 апреля 1936 года сели в поезд и поехали в Харьков.

ДАВНЫМ-ДАВНО...

«О-вэй-вэй=хэмбайо, что значит давным-давно...»¹¹

Давным-давно были у меня родители: маленькая, курногая, темноглазая мама, весёлый, стройный отец, с плеч которого я легко доставал руками до потолка.

Давным-давно их нет на свете. Я не люблю ходить на их могилу. Они живут во мне. Иногда снятся. Мы разговариваем, плачем, смеёмся – как бывало в жизни.

Никакими рассуждениями, наставлениями, постановлениями ни объяснить, ни оправдать то, что с ними сделали. Можно только рассказать.

Но... можно ли?

Если этим запискам когда-нибудь суждено увидеть свет – поймите меня! Любая эпоха – это не только гиганты: Аристотель, Наполеон, Лев Толстой, Лев Ландау. Миллионы безвестных судеб, крошечных жизней, обладатели которых – одни убеждены в своей высокой ценности, другие – в полнейшем ничтожестве, а третьи и вовсе не рассуждают, для чего живут, – все они так или иначе, в действительной или страдательной роли формируют ход событий.

*«Без неприметного следа
мне было б грустно мир оставить...»*

Оно, конечно, так. Но не столько собственный след хочу впечатать в память поколений, сколько приметы времени, в котором мне суждено было жить. Бесконечно жаль, если виденное, слышанное, пережитое ухнет вместе со мной с моста в Лету – и подёрнется зелёной ряской забвения.

А потому – прошу вас: читайте, запоминайте: вот так жили люди XX века в одной, отдельно (Богом или Дьяволом?) взятой, – на муки взятой стране.

*«О-вэй-вэй-хэмбайо», то есть давно-давно...
«Жизнь тому назад!»¹².*

¹¹ См. выше: слова из зачина негритянских сказок.

¹² А. Твардовский, «Стихи последних лет». (Примечание 1971 г.)
Из его недавно опубликованной поэмы «По праву памяти». (Примечание 1988 г.)

Глава 2

Via dolorosa¹³.

1937: тема с вариациями

Феликс Аннович

1 мая 1936 года...

Москва встретила нас оркестром, гремевшим на весь перрон Октябрьского вокзала. Конечно, это было в честь моего приезда в столицу. Я и сам так понял, но вдобавок получил подтверждение от своего дяди – младшего папиного брата. Я знал его ещё по Ленинграду, где он жил раньше. Теперь Абраша стал москвичом. Он приехал на вокзал, чтобы встретить нас и развлечь в течение тех нескольких часов, которые нам предстояло провести в столице до отправления харьковского поезда.

Я чувствовал себя в центре торжества. К тому же, мне подарили красный флажок и гармошку, издававшую пронзительно-праздничные звуки.

Время в Москве мы провели не у Абраши (он жил далеко от вокзалов), а у его и папиной двоюродной сестры Ани *Рахлин*.

¹³ *Via dolorosa* (лат.) – скорбный путь. Так верующие христиане именуют крестный путь Христа на Голгофу.

Старшее поколение нашей семьи почему-то не образовывало от своей фамилии форму женского рода (по-видимому, они ощущали себя всё ещё чужаками, пришельцами на русской почве – так жена «какого-нибудь» Дарвина именовала бы себя в России «госпожой Дарвин»))¹⁴

Тётя Аня Рахлин работала в институте Маркса – Энгельса – Ленина и, между прочим, на актах инвентаризации рукописей классиков марксизма-ленинизма (Сталин тоже выполз тогда в классики) ставила свою подпись. Потом, после долгих лет лагеря и ссылки, после реабилитации, вновь появившись, уже старушкой, в этом институте, она чрезвычайно удивила новых сотрудников: они считали, что А. М. Рахлин – мужчина.

В комнате, где жила тогда Аня Рахлин, мне запомнился только шкаф, наискось (по тогдашней моде) стоявший в углу у окна. Мы играли за шкафом в войну с Аниным сыном и моим ровесником – *Феликсом Рахлиным*.

Троюродный брат был не только моим ровесником, но и двойным тёзкой. Конечно, меня заинтересовало: а не тройным ли? Позже, в Харькове, спросил у родителей:

– А отчество у него какое?

И сразу почувствовал, что застал их врасплох. Они переглянулись, выразительно улыбнулись друг другу, и папа сказал:

– У него нет отчества.

– ???

– У него *матчество*, – пояснил папа, переглянувшись ещё раз с мамой.

– Значит, «Аннович»?

– Выходит, так, – засмеялся папа. – Беги, играй!

Я безоговорочно поверил – и долго потом при случае рассказывал взрослым и детям, что у меня есть троюродный брат, у которого не отчество, а матчество. Не надо осуждать меня за легковерие: оно было основано на том равноправии

¹⁴ Примечание 2003 г.: Догадка косвенно подтверждается тем, что, репатрировавшись в Израиль, мои невестка и внучка – носители нашей фамилии – немедленно утратили женское родовое её окончание. И моя внучка теперь та же «Анна Рахлин», что и моя двоюродная тётя, о которой речь в этой главе.

мамы и папы, которое царило у нас в семье: например, одно время я числился в детском саду по фамилии матери – Феликс Маргулис.

Феликса «Анновича» я с тех пор больше никогда не видал. В войну он жил в Казани у своего дедушки Матвея Рахлина, который, подобно гоголевскому губернатору, «вышивал по тюлю». Мой несчастный тёзка, когда его мать была репрессирована, остался с дедушкой и бабушкой. Для приработка старички держали на дому что-то вроде пансиона. В частности, к ним ходил столоваться студент.

Студент решил, что у евреев обязано быть золото. Сговорил ещё какого-то парня – молодого рабочего. Вдвоём они проникли в квартиру, задушили старика (старухи почему-то не было дома), задушили и мальчика¹⁵ (он ведь мог их опознать), перевернули всё вверх дном, но сокровищ не обнаружили. Одно из двух: или старик, когда его пытали, проявил обычную для евреев сверхскупость и необычную для них сверхстойкость, или (верней всего) золота у них вообще не было, и, стало быть, они не были евреями... Но не могли же грабители уйти, после мокрухи, с пустыми руками. Пришлось унести то, что было: штаны, пиджаки, посуду, искусные вышивки покойного, сделанные крестиком и гладью... Потом угрозыск выследил бандитов, их судили, а «сколько дали» – не знаю, да и какая теперь разница...

В Казани тогда (да и много лет спустя) жил известный там профессор-кардиолог Леопольд Рахлин – сын убитого старика, дядя мальчика и брат Ани, которая томилась то ли в ссылке, то ли в лагере.

¹⁵ *Примечание 2005 года: Год назад в Интернете, поинтересовавшись, что там за мною числится, вдруг обнаружил, что Феликс Рахлин решает какие-то инженерные проблемы и является кандидатом технических наук. Оказалось, что мой двойной тёзка работает в одном из волгоградских вузов. Сочетание не слишком распространённых имени и фамилии заинтересовало меня, и я написал двойному тёзке письмо на Волгу. А он, оказывается, к тому времени уже собрался сюда, в Израиль! В мае 2004-го он с женой приехал к живущим здесь сыну, дочери, внучке – и вскоре мы встретились. Феликс Аронович Рахлин оказался на 10 лет младше. Интеллигентный, приятный человек.*

Недавно (писано в 1970 году) я читал её письмо, адресованное в Харьков – Шуре Сазонову. Она хлопочет в Москве о персональной пенсии, восхищается достижениями социализма в космосе и жалуется на страшную тоску.

...В 1981 году она умерла.

Первомайский флажок я уронил в узкую щель у рамы вагонного окошка. Пробовал вытащить, мне пытались помочь попутчики и проводник – ничего не получилось. Очень мне было жалко, и сейчас жалко вспомнить, да что поделаешь...

А гармошку довёз. И потом, приводя взрослых в неистовство, исторгал из неё два-три пронзительных аккорда, – а больше того ни я, ни гармошка не умели.

Харьковские «Форсайты»

В Харькове по пыльному перрону бежал нам навстречу голенастый тринадцатилетний мальчик – Миля (Михаил) Злотябко, мой двоюродный брат.

Семья его матери Сонечки – старшей сестры нашего отца – жила в Харькове неподалёку от Южного вокзала, на улице Котлова, бывшей Большой Панасовке, в той самой квартире, где с давних пор (примерно с 1909 года) гнездились всё по-форсайтовски многочисленное (но, увы, не столь богатое) семейство Рахлиных – точнее, ветвь моего деда.

Дед Моисей Абрамыч («дедушка Мося») был в Харькове мелким конторским служащим на пивном заводе. Приехал сюда с семьёй из Белгорода, где у бабушки успело родиться множество детей – в том числе и мой отец с сестрой-двойняшкой Тамарой. Дед имел право жительства вне «черты оседлости» евреев, то есть и в Харькове. Эту привилегию выслужил для мужской линии своего потомства мой прадед Абрам ценой двадцатипятилетней – ещё с кантонистов! – службы в армии русского царя.

Почему дед понесло из Белгорода в Харьков – не знаю, но тут он, благодаря своему «праву жительства», имел дополнительный тайный приварок: на его имя была записана лавка или какое-то другое «дело», принадлежащее его дальнему родственнику, свойственнику или знакомому, права на жительство

не имеющему. Служа конторщиком, дед где-то числился купцом и тайно получал за это небольшую, но приятную мзду от истинного владельца.

Всё было настолько шито-крыто, что даже отец мой ничего не знал. С этим связана история, которая произошла в конце двадцатых – начале тридцатых годов, а мне её рассказала Сонечка в пятьдесят первом.

Возвращаясь с курорта в Ленинград, папа остановился в Харькове у родных и здесь от кого-то узнал вдруг «тайну».

Папа пришёл в ужас. Ведь он в партийных и прочих анкетах писал, что его отец – конторский служащий и даже какое-то время (это была чистая правда) служил ночным сторожем. И вот выясняется, что «до 1917 года» его отец официально, по документам, был *к-у-п-ц-о-м!*

Ни жив, ни мёртв, вернулся папа в Ленинград и, уловив минуту, сказал маме дрогнувшим голосом:

– Бумочка, ты только не волнуйся, я должен тебе признаться... рассказать одну неприятную вещь...

Мама обомлела: она вообразила, что папа гульнул на курорте (он нравился женщинам), что он увлёкся, влюбился, разлюбил... и т. д. Узнав, в чём дело, вздохнула с облегчением:

– Придётся заявить, – сказал папа обречённо. – Ведь получается, что я *скрыл от партии своё истинное социальное происхождение!*

С огромным трудом ей удалось его убедить, что, поскольку Моисей Абрамыч был купцом липовым, то, значит, и каяться не в чем.

А покайся он – *вычистили бы* из партии, как пить дать.

Итак, «купец» Рахлин переехал в Харьков. Его жена Евгения Абрамовна («бабушка Женя»), в девичестве Вассерциер, была шляпницей. Вряд ли, впрочем, в замужестве она успевала заниматься ремеслом, потому что нарожала кучу детей. Из них некоторые умерли в раннем возрасте (один – во младенчестве, перевернувши на себя самовар).

Жили не бедно, но скудно. Гимназическое образование сумели дать только старшей дочери – Сонечке (я не случайно называю её всё время уменьшительным именем: так её звали в семье до глубокой старости, так и я её звал). Сонечка потом

окончила медицинские курсы, какие-то очень хорошие, дававшие глубокую подготовку, и стала фельдшерницей высокой квалификации.

Сонечка вышла замуж поздно, хотя была хороша собой. Женихом был приятель её двоюродных братьев из Полтавы – Ёня Злотаюбко (по-польски его фамилия, весьма редкая, – однофамильцев он и сам никогда не встречал – означает буквально «золотое яблоко»). В 1923 году у них родился Миля. Теперь они жили в доме её родителей на пыльной Большой Панасовке, которая, хотя и носит уже давно имя товарища Котлова, всё ещё сохраняет, в основном, свой дореволюционный затрапезный вид.

Сонечка работала, домашнее хозяйство вела бабушка Женя – кроткая, нежная ко внукам, гордая успехами детей – тех, которые остались живы.

До зрелой юности дожили семеро. Двое погибли в годы войны и революции. Фроя (Эфраим – старший из сыновей) с началом германской войны (1914) уехал на позиции и пропал без вести. Явился потом какой-то солдат, утверждал, что они с Фроей – друзья, что тот на его глазах был взят в плен... В доме не знали, куда усадить и чем накормить благого вестника, снабдили подарками, обласкали, проводили с почётом – и... больше не имели от него никаких вестей. Адрес, оставленный гостем, оказался фальшивым. Бабушка потом подозревала, что, может быть, этот проходимец и убил её сына.

Ещё одно горе легло ей на сердце: ранняя смерть Ривочки и её молодого мужа.

Рива была по старшинству второй дочерью и третьим ребёнком после Сони и Фрои. Её мужа звали то ли Ванюшей, то ли Андрюшей – был он украинцем, военным врачом или фельдшером. Ривочка вышла за него замуж по взаимной страстной любви, внеся этим переполох в свою, хотя и не ортодоксальную, но вполне еврейскую семью. Однако вскоре старики примирились с её поступком и полюбили зятя, но он умер – кажется, от тифа или от испанки, а Ривочка безутешно горевала и вскоре тоже скончалась.

Бабушка Женя заказала круглую брошь с фотографией красавицы дочери и всю оставшуюся жизнь носила её на груди, как заколку, у ворота.

Так её потом, в конце сороковых годов, и похоронили с этой брошкой.

Горе – горем, но те дети, которые после вихря войн, эпидемий и революций остались живы, пребывали к началу тридцать шестого года в полном благополучии и своей судьбой вполне соответствовали популярной тогда еврейской песенке: «Налей же рюмку, Роза: я с мороза, ведь за столом сегодня ты да я! Пройди весь мир – не сыщешь, верно, Роза, таких детей, как наши сыновья!» В этой песенке, исполнявшейся Леонидом Утёсовым, перечисляется, кем стали сыновья Розы и её мужа: инженером, лётчиком, врачом и т. д. (что еврейской бедноте до революции и снится не могло).

Жаль, что дедушка Мося умер так рано, а то бабушка могла бы всласть обсудить с ним жизненные успехи детей:

Доденька – полковой комиссар, военный преподаватель в академии, закончил не только «комвуз», но и «Институт Красной Профессуры», подготовил к защите диссертацию по политической экономии, является автором статей и даже главы в учебнике;

Лёвочка – тоже, примерно, в таких чинах и звании;

Абрашенька – военный инженер, закончил академию, а сейчас сам преподаёт в другом военном учебном заведении, в Москве, у него на петличках тоже «шпалы», и он – специалист в совершенно непонятной, но очень важной области: в автоматике и телемеханике;

Тамарочка – преподаватель истории в вузе, Сонечка – прекрасный фельдшер, на хорошем счету, и обе замужем за хорошими людьми: Сонечка – за работающим и домовитым Йонечкой, а Тамарочка – за Шурочкой... Шурочка, *правда*, русский, *но* – очень хороший человек, доцент...

Монечка Факторович, приёмный сынок, – большой начальник в армии, служил в Генеральном штабе, теперь – командир танковой бригады на Холодной Горе, он за отличия в гражданской войне орденоносец. А ведь орден боевого Красного Знамени – большая редкость и огромная честь!

Словом, бабушке моей было чем гордиться, *и всё оставалось у неё ещё впереди!*

Вот в этот-то дом – любвеобильный, лучащийся старомодной сердечностью и пропитанный наследственными семейными сантиментами, – мы и пришли пешком с вокзала.

Войдя в столовую, я был поражён количеством гостей.

-Тысяча народу! – воскликнул я, рокоча только что освоенным «р-р-р-р», и тем привлёк всеобщее внимание, вызвав дружный, весёлый смех взрослых.

Мы явились на одно из тех сборищ, которые были частыми в быту наших харьковских родственников. Моё случайное детское речение надолго сделалось крылатым в семейном кругу.

Добродушные, доброжелательные, словоохотливые, собирались Рахлины, Росманы, Злотоябки то у Сонечки, то у её двоюродной сестры Веры, то ещё у кого-нибудь. Приходили по поводу и без повода – повидаться. Порой «просто так» собиралось до сорока человек.

Пили чай, беседовали. Одной из главных тем было обсуждение житейских дел, семейных успехов и горестей, фамильных добродетелей и недостатков. Считалось, например, что Рахлины, хотя и талантливы и работающи, но – непрактичные идеалисты. Столь же многочисленной, способной и трудовой, но более деловитой, реалистичной, практичной слыла родственная им фамилия Росманов. Сестра моего деда Софья (Шухля) Абрамовна вышла замуж за Данила Росмана, и от этой пары произошло обильное потомство. Как это иногда бывало у евреев, уже в следующем поколении семьи вновь переплелись: одна из дочерей вышла замуж за своего родного, по матери, дядю – Александра Абрамовича Рахлина. Это ещё более запутало и без того сложную родословную паутину наших семейств, вызывало шутки и недоразумения. Сын Веры и Шуры Рахлина – Илья, впоследствии известный в Казани вузовский деятель, подобно Марку Твену, высчитал, что приходится «сам себе дедушкой»...

Пока что, не окунувшись во всю эту родственную канитель, мы уехали в Полтаву, где жил папин брат Лёва, а затем вместе с его семьёй отправились на дачу в Шишаки – большое село на берегу Псла.

Шишаки

Лёва был старше нашего отца на два года – он, как говорится, «ровесник века». Подобно папе, Лёва служил в армии, преподавал в одном из военно-учебных заведений Полтавы политическую экономию.

Я приехал в Полтаву с мамой и бабушкой Женей. Лёвина семья жила в маленьком домике, «погрязшем» в зелени и цветах. По залитому солнцем дворику бегала глазастая и юркая двоюродная моя сестра Стелла, готовясь поливать цветы. Хорошо известную мне по Ленинграду *лейку* она называла неожиданным для меня словом *поливалка*.

В полутёмной комнате Лёвина жена Рая кормила годовалого Эрика – Эрнста, названного так в честь товарища Тельмана – лидера немецких коммунистов.

Тётя Рая – маленькая, хрупкая, подвижная, с живым лицом, всегда считалась в семье умницей и «мужчиной в юбке». Её отец до революции был *настоящим буржуем*: он владел в Донбассе шахтой, магазином и, может быть, чем-то ещё. После экспроприации поступил на службу бухгалтером, а к старости даже заработал маленькую пенсию.

В связи с пенсией Давид Леонтьевич Рутштейн отдавал должное советской власти, но всё-таки её ненавидел, а потому к зятю-коммунисту относился довольно враждебно. Может быть, по этой причине они и жили врозь: старики – в Харькове, а Рая с Лёвой – в Полтаве.

Тётя Рая закончила в Харькове «институт народной освіти», как стали в то время называть Харьковский университет. Чтобы получить доступ к образованию, официально отказалась от отца, ушла из семьи. Отказ был чисто номинальным и состоялся с ведома и даже по настоянию отца. Это был умный, твёрдый, даже несколько чёрствый человек, без излишних сантиментов умевший оценивать события. Он, например, никак не сопротивлялся экспроприации – напротив, по видимости добровольно отдал советской власти свою шахту и магазин – сохранив, я думаю, то, что не входило в понятие недвижимости, но могло обеспечить жизнь и ему, и его детям, а, возможно, и внукам. Далеко смотрел Давид Леонтьевич!

Училась Рая вместе с папиной сестрой Тamarой, а ухаживавший за нею Лёва – слушатель курсов «червонных старшин», – вместе с бывшим донецким шахтёром и слесарем Шурой Сазоновым. Кажется, Лёва и ввёл Шуру в семью Рахлиных. Тот пламенно влюбился в полную, белокурую, очаровательную Тамару – в недавнем прошлом сотрудницу аппарата ЦК украинского комсомола, и вскоре они поженились.

У Тамары с Шурой родилась Ирочка, а у Лёвы и Раи – Стелла, т. е. «звезда».

Тамара и Шура в семье стали своего рода исключением: они давали своим детям довольно традиционные имена, вне революционной тематики и ассоциаций. Следующих после Ирины детей назвали Светланой и Игорем. Ещё у Абраши была Лида, у совершенно беспартийной четы Злотоябко – Михаил (Миля)... зато у всех остальных дети были наречены только по «ревсвятцам»: Эрнст, Стелла, Зоря, Вилен, Владимир... Всё же наших родителей не переплюнул никто: я – «железный» Феликс, а моя сестра – та и вовсе сочетала в себе весь марксизм-ленинизм.

Году в тридцать втором Ирочка в Киеве, где Сазоновы тогда жили, села на перила, чтобы прокатиться вдоль лестницы вниз, но с высоты пятого этажа сорвалась в пролёт и убилась насмерть. С той поры Сазоновы, где бы ни жили, селились только в первом этаже, надеясь уберечься от судьбы. Боже, как она надсмехалась над ними! Но об этом позже, а сейчас продолжу рассказ.

Со Стеллой, которая старше меня всего лишь на год, я играл на полу за кроватью. Игру придумал непристойную – вызванную проснувшимся во мне интересом к различиям в строении тела девочек и мальчиков. Я предлагал Стелле убедиться в этих различиях собственноручно. Стелка, не будь дура, немедленно наябедничала на меня старшим. Подошла бабушка Жёня, стала грозить пальцем, назидательно предостерегая:

– Бо-же со-хра-ни, деточка! Бо-же со-хра-ни!!!

В Шишаках должны были провести лето семья Лёвы, наша семья, Миля Злотоябко и Сазоновы. Выбрано было это село не случайно: там постоянно жила и заведовала местной больницей родственница Ёни Злотоябко – тётя Поля.

На железнодорожной станции поздно ночью нас встречал дядя Лёва с подводами. Одной из них правил он сам.

Я лежал в телеге, смотрел в глубокое звёздное небо и... сочинял музыку. Я от рождения музыкален, но не памятлив, – тем более, что, по обстоятельствам жизни семьи, никогда не учился нотной грамоте. Но придуманные мною в ту ночь две-три музыкальные фразы помню до сих пор. Хотя первая из них буквально совпадает с началом «Юношеского трио» Рахманинова, которое я услышал лишь в сознательном возрасте.

От огромного села Шишаки, которое находится к северо-западу от Полтавы, между Сорочинцами и Диканькой, в самой сердцевине гоголевских мест, в моей памяти остались лишь осколки: хата под очеретом, где жили мы, огород с тропинкой к соседскому добротному дому с верандой, в котором поселилась Лёвина семья, глубокий овраг, по краю которого мы ходили к тётке Тамаре, обсаженная вербами дорога к реке – и сам Псёл, плавно текущий в камышах между пологим «нашим» берегом и крутым противоположным, за которым чернел загадочный тёмный лес.

У реки собирались дачники: тётя Рая с крошечным Эриком, массивный, с круглой бритой головой, Шура Сазонов, умевший как-то удивительно вкусно, с чёткой скандовкой выговаривать слова, его трёхлетняя дочь Света, пятилетний – я, тринадцатилетний Миля, моя мама, принимавшаяся вдруг приседать в воде, хлопая по ней ладонями и громко взвизгивая от удовольствия, и другие взрослые и дети.

На бричке с кучером подъезжала тётя Поля – та, что работала главврачом местной больницы. Был здесь и другой родственник Ёни Злотоябко – его родной брат Боря. Раздевался. Громко крикая, входил в воду, нырял и, отфыркиваясь, плыл к другому берегу. Плавая там под обрывом, кричал, широко раскрывая рот:

– Глу– бо-ко-о-о!!!

«Г» произносил по-южнорусски, горловым придыханием, а на каждом «о» делал упор, как это свойственно украинцам (и украинским евреям).

Миля называл его «дядей Борей Голопупенко». Я считал, что это настоящая Борина фамилия. Она удивительно шла к

нему – толстобрюхому, с существенным пупом в центре круглого живота.

Дядя Шура Сазонов, переплыв речку, долго стоял на том берегу, вызывая у меня зависть и любопытство: мне казалось, что там другая жизнь, всё – другое, необычное. Вернувшись, дядя Шура подтверждал это предположение:

– Я видел там мма-ллень– кких чче-лло-ввечч-кков, они еез-здят в мма-ллень-кких вва-ггон-ччи-кках...

И т. д.

Но как-то мы все пошли в дальнюю прогулку, перешли вброд речку в другом месте, гуляли на «том берегу», однако он оказался почти как «этот» – и никаких «чче-лло-вве-ччков» не встретили. Попались, правда, в лесу какие-то пьяные мужики, но роста вполне обыкновенного. Великий мастер врать был дядя Шура! За это я и любил его всю жизнь.

Мои родители, во всяком случае – папа, бывали в Шишаках наездами, со мной возилась, в основном, бабушка Женя. Лёву тоже помню урывками. В его жизни, в жизни моих родителей начинались как раз тогда страшные дни и годы, но я и не догадывался об этом. У меня тогда в голове жила одна заветная, жгучая мечта.

Хочу лошадь!

Да, я мечтал о собственной лошади. Одна мысль о том, что такое возможно, вызывала ощущение счастья. Как хорошо, что мне ещё не были известны актуальные подробности коллективизации, а именно то, что индивидуальное владение конским тяглом служит основанием для раскулачивания и ссылки. Да к 36-му году, пожалуй, уже и не было на Украине крестьян, единолично владеющих хотя бы захудалой клячей. Всего этого мне знать было не дано по возрасту, а по возрасту мне было – хотеть владеть! Я и сейчас не знаю животного лучше, чище, красивее лошади.

Однажды во время купания взрослых в реке я забрался в стоящую на берегу бричку тёти Поли, устроился на облучке рядом с кучером, а сзади насели другие ребяташки. Тётя Поля

купалась, кучер сидел рядом со мной, я держал в руках вожжи. Вдруг он сказал мне:

– Паняй додому!

Испугавшись такого доверия, я, однако, крикнул, не надеясь на успех:

– Н-н-но-о!

И лошадь пошла! Для городского мальчишка это казалось чудом! Преисполненный гордости, я правил ею, возле Лёвиной дачи сказал «тпру!» – и команда опять сработала! Я был в восторге от лошади, но особенно – от себя самого и пристал к Стелле, чтобы она сказала спасибо. Мне было необходимо признание моего успеха. Но Стелла начисто была лишена чувства благодарности и священного трепета. Я обиделся.

Вот, может, с того момента я и возмечтал о собственной лошади. Должно быть, хозяева узнали об этом. Потому что однажды кто-то из их семьи сказал мне:

– Біжи швидше на вулицю – там тобі Іван коня привів!

Действительно, хозяйский сын Иван возился около подводы. Выскочив во двор, я долго любовался подарком – чудесной смирной лошадкой, но Иван увёл подводу со двора, и я понял, что обманут.

Несколько дней спустя тот же Иван сказал мне:

– Ходім коня купувати!

Опять в моём сердце воскресла надежда. Мы отправились куда-то в другой конец села вместе с бабушкой. Она о чём-то договаривалась с хозяевами, Иван ходил по огромному саду, показывал мне птичек, попавших в сеть: они возились там, даже летали под сеткой, но выбраться не могли.

Опять меня обманули. Лошади не было. Вновь мне было суждено пережить обман и разочарование.

В Шишаках впервые испытал я на себе и бессмысленную людскую злобу, подлую месть. Как-то со Стеллой мы бежали через огород по тропке от них к нам. Стелла показала на кустики какого-то растения и сказала, что там, в земле, лежит картошка. Настоящая. Я не поверил: а чего это она там лежит?

– Она там растёт, – сказала Стелла. – Вот дёрни – и сам увидишь.

– Я легко вывернул кустик – и, в самом деле, среди комьев чёрной земли увидел розовые клубни. Мы оба так испугались, что тут же и удрали, оставив на месте все следы преступления. Дочь хозяйки огорода, злющая 16-летняя девка Одарка, догадалась, чья это работа, хотя мы и не признались. Однажды, когда я спал во дворе на раскладушке, она стянула лежавшие на земле мои сандалии и забросила, Бог знает куда. Один нашли, а другой и до сих пор где-то там...

То, что сделала это Одарка – знаю точно, хотя она и не призналась...

Вскоре в Шишаки привезли Марлену. Сестрёнка прибыла ночью, уснула с дороги, а мы, дети, собрались в хате и ждали, когда она проснётся. Я отвык от неё и теперь долго смотрел на её забытое лицо. В хате, где она спала, стояла пугающая тишина, ставни были полузакрыты. Все в тишине глядели на спящую, как вдруг она стала просыпаться... Личико дрогнуло, веки зашевелились... В полумраке это вышло как-то страшно-вато, и мы со Стеллой дружно заревели: она – от испуга, а я – ещё и оттого, что вдруг узнал и вспомнил сестру.

В детстве я от сильной радости всегда плакал.

Первая ласточка – Лёва

Дядя Лёва мне запомнился по двум эпизодам: как он вёз нас на подводе и как брил тёте Рае подмышки.

Между тем, роль его в семейной одиссее была гораздо существенней: он в ней стал первопроходцем.

После Шишак Лёва вдруг исчез. А тётя Рая со Стеллой и Эриком очутились в Харькове вместе с родителями Раи – Давидом Леонтьевичем и Агафьей Григорьевной. Мы у них часто бывали. Не видя дяди Лёвы, я спросил у своих родителей, где он. Мне ответили:

– На Дальнем Востоке.

В то время Дальний Восток в мальчишечьем воображении был связан со шпионами, самураями, пограничниками. В моей голове возник такой безупречный силлогизм:

*Мой военный дядя Лёва находится на Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке – пограничники.
Следовательно, дядя Лёва – пограничник.*

О том, что он мог оказаться шпионом или самураем, я как-то не подумал...

Но вот однажды я беседовал со Стеллой. Дело было перед самой войной, и, стало быть, мне тогда было около десяти лет, а она – на год старше.

– Ты знаешь, где мой папа? – спросила она таинственным шёпотом.

– Знаю: на Дальнем Востоке!

– А вот и нет: он – на Урале, – с удовольствием поправила меня Стелла. И тут же задала второй вопрос:

– А знаешь, что он там делает?

– Да: он стережёт границу! – твёрдо ответил я.

– А вот и нет! – с ещё большим удовольствием возразила Стелла. – Он там *сидит!*

– На чём сидит? – спросил я растерянно...

«На чём сидит» дядя Лёва, выяснилось довольно быстро, а вот *за что* он сел – остаётся неизвестным и до сих пор. Иные склонны считать, что «за собственную глупость». Другие говорят помягче: за наивность, за пылкость, легковерие... Впрочем, судите сами.

Дядя Лёва как раз был на отдыхе, когда началась кампания 1936 года по обмену партдокументов. Со столбцов всех партийно-советских газет буквально набрасывались на читателя призывы: быть честными и откровенными перед партией, критиковать друг друга и не скрывать собственных колебаний и упущений, если они были.

А у дяди Лёвы были *колебания*. Правда, он о них НИГДЕ, НИКОГДА И НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛ, никак они на его конкретной деятельности не отразились. Но сам-то Лёва знал хорошо: в таком-то году, во время такой-то дискуссии по такому-то вопросу он (*молча!*) сомневался в правильности *генеральной линии*.

И дядя Лёва наедине со своей Партийной Совестью спрашивал: как быть?

– Ты не имеешь права молчать! – сказала ему Партийная Совесть. Лёва прервал свой отпуск и поехал на службу: *признаться*.

– Ага! – сказали дяде Лёве Товарищи по Партии. – Что ж ты до сих пор молчал?!

И дядю Лёвы исключили за ... *неискренность перед партией!*

Через некоторое время пришли другие *товарищи* – из НКВД – и арестовали дядю Лёву.¹⁶ Ему повезло: заря массовых репрессий ещё только-только занималась над страной, и его судила не «тройка», не загадочное «особое совещание», а обыкновенный суд. Даже был такой предмет роскоши, как защитник.

Лёву обвинили в том, что он, читая лекции по политэкономии, не подвергал или недостаточно резко подвергал критике буржуазных экономистов. В качестве вещественных доказательств обвинение предъявило... *конспекты Лёвиных слушателей*. Товарищи бывшие и сегодняшние студенты, к вам обращаюсь я, друзья мои: скажите, как на духу, всегда ли вы подробно записывали за преподавателем его вдохновенные лекции?!

Но мы с вами невзначай стали рассуждать по той же идиотской логике, которой пользовались Лёвины гонители. Давайте, однако, допустим, что мой дядя был не слишком честных правил и что он, действительно, недостаточно критиковал Ада-

¹⁶ *Примечание 1988 г. : Тётя Рая не просто годы, а многие десятилетия хранила молчание по поводу пережитого. И понять её можно: Лёва дал чекистам подписку о неразглашении, да и вообще, «славные органы» научили людей помалкивать... Но теперь, во время «перестройки», опубликовано много свидетельств разгула государственного террора тех лет, и Рая нам рассказала, в частности, такую историю. Немедленно после ареста Лёвы их соседи (возможно, они и были доносчиками) самочинно заняли (нет: захватили!) у семьи арестованного одну из комнат – и заперли её на ключ, так что жене и малолетним детям «врага народа» пришлось не только довольствоваться проживанием в одной комнате, но и пользоваться окном как дверью.*

Примечание 1992 г.: Недавно пришло известие о смерти тёти Раи. Она – последняя из старшего поколения нашей семьи – поколения отцов и матерей наших. Мы – на очереди!

ма Смита или попа Мальтуса – более того, что оказался последователем кого-то из них – или их всех скопом. Так что: его надо за это посадить в кутузку?

Но суд рассуждал так, как ему было велено, – и потому приговорил дядю Лёву к ПЯТИ годам лишения свободы – за *антисоветскую агитацию!*

Однако ведь у него был, как мы помним, защитник, адвокат, участвовавший в прениях сторон... С его помощью Лёва, используя право, предоставленное ему только что принятой Сталинской Конституцией, обратился в какую-то высшую инстанцию (в Верховный Суд, что ли...)

Высшая инстанция решительно встала на защиту Закона. Несправедливый приговор был отменён. «Особое совещание» при наркоме внутренних дел (или – госбезопасности?) заменило несправедливый пятилетний срок на справедливый – ВОСЬМИЛЕТНИЙ.

Эту историю я рассказываю по позднейшим воспоминаниям родственников. Могут быть мелкие неточности. Но главное передано точно. Поручкой тому – полная реабилитация Лёвы в 1956 году, а в 1967-м – награждение его в честь полувека Советской власти орденом Красной Звезды за боевые заслуги в гражданской войне, за многие годы службы в Красной Армии и... за то, что выжил. Мои родители не дожили до этого юбилея – о них и не вспомнили!

Лёва оказался в нашей семье первой птахой, попавшей в сети, которые год 1937-й расставил сотням тысяч, а, может, и миллионам людей.

За Лёвой в свой, так сказать, *via dolorosa* отправились Абраша, Додя, Бума, Илюша Росман, Моня Факторович и многие другие из нашей родни, – всех не упомянуть... Легче составить список тех, кто не сидел.

Это Шура Сазонов, умевший вовремя прервать связь с опальными родственниками, но и вовремя её возобновить, так что и родня не успевала обидеться, и органы уже не трогали. Но, может быть, просто очередь до него не дошла?

Это и Гита, которую спасло сумасшествие: из партии её исключили «механически» – всего лишь за неуплату членских взносов.

Это – ещё несколько человек... Остальных старших членов семьи аквилон незабываемого тридцать седьмого тронул достаточно ощутимо. Даже Боря «Голопупенко» – обыватель, далёкий от всякой политики, – и тот несколько месяцев просидел в тюрьме по политическому обвинению.

Вот ряд историй тех лет.

«Так надо!»

Очень рано исключили из партии Этю – мамину младшую сестру. Она к тому времени была директором фабрики, членом бюро райкома.

Этя была из трёх сестёр Маргулис самая спокойная, уживчивая и добрая. Доброта светилась в её карих глазах. Однажды в Житомире во время погрома петлюровец, заскочивший для грабежа в их бедную комнатёнку, чуть не расстрелял дерзкую Гиту. Этя бросилась ему в ноги и *уговорила* бандита не убивать сестру.

Погромщики не были сентиментальны. Одного из наших житомирских родственников они посадили на кол. Но на этот раз уговоры подействовали – у Эти был удивительный дар убеждения и кроткий, тёплый, лучистый взгляд. Петлюровец матюкнулся, вложил револьвер в кобуру и ушёл

В первые годы революции, ещё девочкой, Этя жила в детдоме, потом работала на фабрике у станка (или у швейной машинки?), училась на рабфаке, в комвузе и со временем стала директором той самой фабрики, на которой начинала свой «Светлый путь»... Впрочем, кажется, я повторяюсь...

В 1928 году, в возрасте, думаю, не более 22-х лет, Этя выступила на собрании против... товарища Сталина! Она сказала, что, по её мнению, товарищ Сталин слишком круто расправляется со своими противниками. Не мешает ему напомнить о «завещании» товарища Ленина...

В 1936 году Этю вызвал секретарь райкома и, пряча глаза, сказал:

– Вот что, Маргулис. Мы тебя знаем, ты – *наш* человек. Но *партии* нужно, чтобы ты была исключена. Прояви сознательность и пойми: *так нужно для партии!*

И – исключили. Этя проявила сознательность¹⁷ и пошла опять к станку. Её муж Шлёма остался в партии. Он в это время служил в НКВД, откуда ему пришлось уйти, но лишь на время...

Абраша и китайский вопрос

Папин брат Абраша – тот, который окончил военно-инженерную академию и жил в Москве – когда-то (в 1928 или 1929 году) выступил на партсобрании во время дискуссии по *китайскому вопросу*. Весьма возможно, что Абраша был даже неправ. А, может быть, и прав на 100 процентов. Было ему тогда лет 20 с небольшим.

Но в 1936 году ему не обменяли партбилет. Ни комсомольское прошлое, ни партийная активность, ни личное обаяние – ничто не помогло. А к тому же, и Лёва, брат его, *сидел*...

Абрашу «вычистили». Не вмешивайся, Абраша, в китайский вопрос!

¹⁷ Интересно, что Этя до конца дней своих считала себя (да и моих родителей) виноватыми перед партией в том, что их и её исключили. Будучи смертельно больна (у неё была опухоль головного мозга и порок сердца), она где-то году в 47-м – 48-м лечилась в Харькове и некоторое время жила у нас. Однажды в задумчивом разговоре не шутя стала внушать мне – подростку:

– Мы своей искренностью и откровенностью сами ввели партию в заблуждение. Зачем надо было признаваться в своих былых колебаниях? Ведь мы их преодолели, ведь мы же знали, что не являемся врагами. Но как могла это знать партия, если мы сами себя «разоблачали»? Зачем мы это делали? Только всё дело запутали!

Это от неё я впервые узнал о том, как Лёва приехал «признаваться».

Бедняжка была права лишь отчасти. Были случаи (и о некоторых рассказано на следующих страницах), когда человека репрессировали при полном отсутствии признаний или какой-либо политической деятельности. (Примечание 1988 г.).

Мамина ошибка

Настал черёд наших родителей карабкаться на партийную голгофу.

Заполняя анкету, мама указала: в 1926-м, что ли, году, во время выступлений «новой оппозиции» Зиновьева, она допустила *колебания* в проведении *генеральной линии*.

Вполне легко мама могла оказаться среди участников оппозиции: ведь она не была умудрена ни годами, ни «всё объяснившим» «Кратким курсом истории ВКП(б)», сочинённым т. Сталиным и К^о десять-двенадцать лет спустя. Но дело обстояло как раз наоборот: она была против оппозиции. По требованию противников Зиновьева собралось партсобрание коммунистического университета им. Зиновьева, где она как раз тогда училась. Но сторонники лидера оппозиции, во главе с ректором комвуза Мининым, объявили собрание неправомочным, так как оно собралось по требованию меньшинства. Они призвали коммунистов уважать Устав и покинуть собрание.

По Уставу они были правы. Мама ушла. Но потом поняла: с врагами надо бороться даже не по Уставу! И тот свой поступок осудила как *колебание*.

После разгрома новой оппозиции на маме осталось *пятно*: зачем ушла с собрания? Вот почему после смерти Кирова, в которой объявили виновными зиновьевцев (а на самом деле, как намекнул Хрущёв на XXII съезде, это убийство было дьявольской мафиозной акцией тогдашнего ГПУ), у неё начались по партийной линии неприятности. Впрочем, так её хорошо и по-хорошему знали в Ленинграде, что там непросто было её из партии исключить. Но тут папу перевели в Харьков. И она уехала вслед за ним – к полному удовольствию мафии, разгонявшей актив ленинградской парторганизации ..

Таким образом, фактически их с папой отъезд был чем-то вроде партийной ссылки. В Харькове мама устроилась на низовую техническую работу на какой-то маленький заводик. И тут, едва начался обмен партдокументов, её исключили: «за принадлежность к новой оппозиции»,

– Но я же к ней не принадлежала...

– Тогда – за сокрытие принадлежности...

– Но я не скрывала – я ведь писала во всех анкетах о своих колебаниях...

– Ну, вот, вы и сами признаёте...

И – баста!

Папина ошибка

Папа тоже имел *колебания*, но, в отличие от Лёвы, во время чисток об этом писал в анкетах.

Собственно говоря, *колебание* было одно-единственное. Исключая эту случайность, папа был непоколебимым большевиком.

В 1923 году во время партийной дискуссии он выступил против товарища Троцкого. Но в одном вопросе – организационном – он поддержал т. Троцкого и тт. Томского и Преображенского. Своё мнение папа изложил открыто на партийном собрании. Ему было тогда *двадцать* лет.

Буквально через два месяца, под влиянием какой-то правильной конференции, папа мнение изменил и с той поры стал громить т. Троцкого по всем вопросам, включая организационный. А т. Сталина по всем вопросам поддерживал и одобрял.

Папа умел предпочесть общественное личному. Вскоре после гражданской войны восемнадцатилетним мальчиком вступил в комсомол. Как раз в это время проходила облава на меньшевиков. Спасаясь от неё, в дом к папиным родителям пришла переночевать их знакомая – большой друг Сонечки и всей семьи, но... член РСДРП(м).

– Извини, Манечка, – сказал папа, волнуясь, – но мой большевистский долг не позволяет мне идти на сделки с совестью. Если ты у нас останешься, я вынужден буду сообщить...

И меньшевичка Манечка пошла искать другое убежище.

Вот и теперь, заполняя анкету, папа, со свойственной ему искренностью, признался в своей былой ошибке. Но кроме этого он, как честный коммунист, написал и о том, что его родные братья, и жена, и её младшая сестра, исключены из партии за *принадлежность к оппозиции*, а старший брат, сверх того, ещё и *репрессирован*.

– Почему же вы раньше не сообщили о принадлежности братьев и жены к оппозиции? – спросили у папы. Вразумительного ответа на этот вопрос он, конечно, дать не мог. Да и кто может дать разумный ответ на дурацкий вопрос?

Папу исключили «за связь с женой и братьями» Обратите внимание: «за связь с женой!» Он восстал против формулировки – её заменили: «за сокрытие своей принадлежности к оппозиции 1923 года» – «Но я же не скрывал – всегда писал об этом своём выступлении, посмотрите анкеты и дела всех чисток. Я их всегда проходил без осложнений, хотя запись о *колебании* была!» – Хорошо: тогда всё объединили и записали, примерно, следующее: «за принадлежность к троцкистской оппозиции 1923 года, за сокрытие принадлежности к оппозиции жены и двух братьев, за связь с врагом народа Ефимовым¹⁸, за неисренность перед партией».

Начались для моих родителей мучительные дни. Мама то и дело ездила в Ленинград. Там хорошо её знающие люди возмущались исключением, писали ходатайства. Маму то восстанавливали, то исключали вновь.

По 1939 год – год XVIII съезда ВКП(б) – родители не прекращали хлопот о своём восстановлении. Но после съезда отец получил открытку с каучуковой росписью Емельяна Ярославского:

«Для Вашего восстановления в партии, – писал еврей Емеля, – оснований нет. Постарайтесь честным трудом заслужить доверие партии вновь»

Позднее в одной из официальных бумаг отец отмечал, что эти слова «воспринял как директиву партии». Печальнее всего, что так оно и было

...

¹⁸ Патин задушевный друг Ефимчик (А. И. Ефимов-Фрайберг) – см. о нём выше – в главке «Наши ленинградцы...») был выслан из Ленинграда в «партийную ссылку», затем арестован и осуждён на 10 лет лагерей и последующую бессрочную ссылку. Подробнее о нём будет ещё рассказано.

Цена жизни

Двоюродный брат отца Илюша Росман был начальником военного артиллерийского училища в Киеве и имел чин, соответствовавший нынешнему полковнику. За плечами у него была гражданская война и подполье – большевистское подполье в период деникинщины. Илюша и его родной брат Володя в составе группы молодёжи готовились взорвать мост (должно быть, через Ворсклу), но попали в лапы деникинской контрразведки. Их приговорили к смертной казни. За молодых подпольщиков вступился знаменитый писатель Владимир Галактионович Короленко – тот самый, кто отстоял от облыжных обвинений в ритуальных убийствах мултанских вотяков и еврея Бейлиса.

Короленко надел фрак и явился к деникинскому командованию. Впрочем, фрак я выдумал, всё же остальное – чистая правда. Командование в изысканных выражениях посоветовало писателю не вмешиваться в политику, если хочет быть цел, и заступничество оставило без внимания.

Эта история описана биографами Короленко, но я излагаю её по семейным преданиям и оттого, возможно, неточен в деталях. Полагаю, что братья Росманы не играли в событиях центральной роли, но родственники, понятно, знали о вмешательстве Короленко только потому, что тут были замешаны их ненаглядные Илюшенька и Володенька...

Что спасло жизнь братьев и кто именно спас – расскажу особо в другое время. А сейчас – об Илюше.

Его избili до полусмерти, так как он не хотел признаться и подписать протокол допроса. Изуродовали лицо, разорвали нижнюю губу. Но произошло это не в 1919 году и не в деникинской контрразведке, а в советском НКВД – в 1937-м...

Илюшу арестовали по обвинению в *военном заговоре*.

Когда он лежал на полу истекая кровью, палачи¹⁹ сказали ему:

¹⁹ Говоря «палачи», я вкладываю здесь в это слово лишь его прямой словарный смысл: «человек, производящий пытки или приводящий в исполнение приговор о смерти или телесном наказании». Никакого эмоционального содержания здесь в виду не имеется: речь идёт лишь о чистой профессии.

– Хочешь жить – подпиши признание. Направим в больницу, поставим на ноги. Не подпишешь –дохнешь.

Илюша подыхать не хотел. Ведь это были не деникинцы, а *свои*, и подобная смерть была бы не только лишена всякого почёта и романтики, но позорна и бессмысленна. Он подписал протокол о *признании* и получил *десять лет лагерей*.

Цена ошибки

Дядя Боря Злоторябко – «Голопупенко», типичный местечковый еврей, далёкий от всякой политики, сел по обвинению в сионизме.

В камере к дяде Боре кинулся с плачем знакомый еврей.

– Простите, простите меня, это я виноват в том, что вы здесь, – говорил он, рыдая. – Меня истязали, и я не мог выдержать...

Накануне своего ареста этот человек встретил дядю Борю – своего случайного знакомого, – на улице. Бедняга вспомнил об этой встрече в тот страшный миг, когда ему, избитому, униженному, перепуганному жестокостью истязателей, кричали: «Кто? Кто? Назови!» Чтобы избавиться от кошмара пытки, но не нанести ущерб своим друзьям и знакомым, он назвал имя первого встречного. Близких предавать, видно, труднее...

Кого же предал дядя Боря? Ему ведь тоже предложили назвать имена сообщников. И, представьте, он назвал, не задумываясь: одного, другого, третьего...

На другой день оказалось, что он сообщил имена всех своих знакомых покойников: и близких, и дальних.

Дядю Борю стали бить. Он изловчился и ударил одного из палачей ногой в пах. Это очень больно и вызывает шок – но, к несчастью, лишь у того, кому нанесён удар. Остальные навалились на Борю и стали ему наносить удары куда придётся, в том числе и по ушам. У него лопнула барабанная перепонка, дядя

Боря потерял слух, но протокола так и не подписал и «сообщников» не выдал.

Через несколько месяцев его освободили²⁰. . .

Цена смерти

Итак, есть предположение: кто имел достаточно мужества, чтобы не подписывать ложных показаний и силой выданных «признаний» – тот выходил на свободу?

Именно эту мысль высказал какой-то *пострадавший* генерал (кажется, Горбатов?) в своих лагерных воспоминаниях, опубликованных в тот короткий период, когда *уже* стало можно (и когда *ещё* было можно) в СССР публиковать такие мемуары.

Вместо излишних разговоров – вот вам ещё одна история. В семье родителей моего отца воспитывался Моря (Эммануил Абрамович, он же Михаил Сергеевич) Факторович²¹. Бабушка Женя взяла его как приёмного сына в свой дом, когда умерла Моряна мать – её подруга. А покойный Морянин отец был близким другом нашего деда. . .

Моря дружил с Фроей, старшим из сыновей семьи Рахлин, и в 1915 году одновременно с ним ушёл вольноопределяющимся на фронт. За подвиги в гражданской войне он был награждён орденом Красного Знамени. Это был ладный, мужественно сложенный человек, «рубака», кавалерист, перучившийся потом на танкиста. Именно о таких писал Бабель:

²⁰ Возможно, освобождение Бори Злотоябко объяснялось тем, что он подпал под «малый реабилитанс», как в шутку – по аналогии с Ренессансом – в «послекультовые» времена стали называть прошедшее в 1938 году, после расстрела Ежова и воцарения в НКГБ Берии, освобождение большой группы репрессированных. «Большим Реабилитансом» назвали период хрущёвской «оттепели».

²¹ Это имя Моря официально изменил, назвав себя «Михаилом Сергеевичем», – кажется, в честь друга, погибшего во время гражданской войны.

«С него и ещё с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизан». Отец считал его родным братом. Бабушку Женю Моня называл мамой.

Моня тоже был в большом чине – к 1937 году дослужился до полковника. В 60-е годы после встречи читателей с Ильёй Дубинским – автором книг о Виталии Примакове и «червонном казачестве», – я спросил у Ильи Владимировича, знал ли он Факторовича, – и получил утвердительный ответ: «Как же, как же, это тот Факторович, который служил в Генеральном штабе, а потом командовал здесь, в Харькове, на Холодной Горе, танковой бригадой?»

Да, это был тот Факторович! Его хорошо знали Якир, Тухачевский, Ворошилов и другие советские военные деятели.

Вот этого-то Факторовича в 1937 году арестовали, конфисковали значительную часть его имущества, семью *уплотнили*, выселив в одну комнату той же квартиры, а про самого Моню с той поры ни слуху, ни духу многие годы не было.

Прошло много лет, и в конце 50-х – начале 60-х годов Мониная дочь Светлана решила подать просьбу о его реабилитации. В ответ пришло извещение: он уже несколько лет как реабилитирован посмертно. Это произошло *механически*, то есть просто в порядке проводимой кампании по пересмотру дел. (Что за чудная страна: кампании по репрессиям, кампании по реабилитациям...). Свете прислали бумаги, необходимые для получения *компенсации*. В одной из них – Постановлении о реабилитации – была указана дата приговора: *десять лет без права переписки* (кто-то назвал эту формулу «псевдонимом расстрела»). Другая бумажка называлась «Свидетельство о смерти». И вот при сличении дат получается, что Моня сначала умер, а уже потом был осуждён к «расстрелу без права переписки»!

О том, как погиб Моня, можно было бы лишь гадать, если бы Лёва во время своих тюремных скитаний не подслушал невзначай рассказ о том, как убивали Факторовича. Какой-то заключенный на нижних нарах рассказывал соседу, что Моня не хотел на допросах ни в чём сознаться, кричал: «Гады! Фашисты!» и был расстрелян в упор при допросе.

О подробностях Лёва не расспрашивал: после того как заменили 5 на 8, боялся новой добавки. Он лишь лежал на нарах – и слушал...²²

«Смейся, паяц!»

Но, как писал Гоголь, – «зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство?» Хватит печальных историй. Не пора ли отдохнуть на каком-либо жизнерадостном примере, анекдотическом происшествии, – скажем, на любовном приключении современного ловеласа?

Как писал Булгаков – «за мной, читатель, и я покажу тебе такую любовь!». Это будет забавно, весело и поучительно.

Двоюродный брат моей матери Нёма (Вениамин) Кипнис был студентом, в политику не встревал, а был занят учёбой и любовью.

²² *Примечание 1993 г. Во время «перестройки» в Харькове, войдя в руководство местного антисталинистского общества «Мемориал», я через сопредседателя харьковского совета этой организации выхлопотал для Светы Факторович разрешение ознакомиться в управлении КГБ с «делом» её отца. Для этого она приехала из Донецка. Света вошла в «серое здание» на ул. Дзержинского, 2, а я остался ждать её неподалёку в скверике Победы, на скамеечке. Она вышла из КГБ вся растрёпанная и в слезах... Пересказала мне содержание бумаг. Среди обвинений фигурировали и такие мелкие, как «связь» с «врагом народа» Фельдманом» (это был начальник тыла Красной Армии, они, действительно, дружили домами, их дачи были рядом), с «троцкистами – братьями Рахлиными», но и более существенные вещи: будто Моня вынашивал план наехать танком на мавзолей (!) и раздавить там на трибуне т. Сталина... На следствии (следователь Берман) Моня в этом сознался, а вот на заседании военного трибунала всё отрицал. Но, несмотря на это, был приговорён к расстрелу. По версии, подслушанной Лёвой, Моню убили до суда. Где правда? Должно быть, её мы уже не узнаем.*

Маленький, крепенький, белозубый, Нёма был хорош собою, и женщины его обожали.

Однажды он решил избавиться от надоевшей бабёнки. Шёл 1937 год, и вокруг то и дело слышались разговоры о шпионах, вредителях и террористах. Нёма решил, что выход найден. Он сказал своей девице:

– Дорогая, я тебя люблю и потому хочу предупредить: мы больше не должны встречаться..

– Почему? – спросила дорогая.

– Потому, – прошептал Нёма, – что я связан с подпольной организацией. Мы готовим покушение на товарища Сталина.

Нёма сильно рассчитывал, что она испугается и отстанет. На худой конец, он был готов к её самоотверженному поступку: «Что бы ни случилось – я твоя навеки!» Такая беззаветная любовь льстит мужскому самолюбию.

Но случилось третье, – чему мы с вами, с высоты нашей исторической вышки, не удивимся, но что для неопытного и аполитичного Нёмы было полнейшей неожиданностью: подруга любила Нёму – но ещё больше она любила товарища Сталина. Нёму забрали в НКГБ, выбили все зубы²³ и отправили на Колыму, где он пробыл... *восемнадцать лет!*

Смейтесь, паяцы всего мира, над разбитой Нёминой любовью, его выбитыми зубами и цельной железной челюстью!

Смейтесь – и плачьте!²⁴

²³ Этот факт (насчёт зубов), известный мне со слов моей мамы, категорически отрицает тётя Гита. По её словам, зубов у него не стало после перенесённой на Севере цинги. Ну, что ж, хрен редьки не слаще. Впрочем, желающие могли бы обратиться за разъяснениями к родному племяннику Нёмы – популярному политическому телебозревателю Валентину Сергеевичу Зорину – моему, стало быть, троюродному братцу. Да и сам Нёма ещё жив. Мне лично он рассказывал, как на Севере на его глазах лагерные начальники обливали людей на трескучем морозе водой – «как Карбышева!», радуясь меткости сравнения, воскликнул рассказчик. (Примечание 1972 года).

²⁴ Примечание 2003 г. Несколько дней назад неожиданно я наткнулся на документальное подтверждение этой истории. В израиль-

ском русскоязычном дайджесте российской прессы была перепечатка статьи научного сотрудника архива ФСБ «Бомба для товарища Сталина». В ней фактически изложен тот же сюжет. Фамилии действующих лиц, как указывает автор, изменены, но ряд данных сходится с анкетой нашего Нёмы. Например, герой также только что окончил институт, работает мастером на заводе. Но есть и уточнения: он ездил к любовнице на станцию Баковка и рассказами о подготовке покушения на Сталина пытался оправдать перед женой свои отлучки. И не она донесла на него, а какой-то её родственник, с которым она поделилась своими тревогами. Но всё остальное – сходится. В том числе и 18 лет на Севере... Так что ни смех, ни плач паяцев всего мира не отменяются.

Intermezzo -2

ПРЕСТУПНАЯ ПРАВДА

Я пишу эти записки тайком, перепечатаваю в двух экземплярах, почти никому не даю читать, храню в столе под замком.

Между тем, в них правдиво изложена моя жизнь и жизнь близких мне людей.

Если эти бумаги «кое-куда» попадут, мне всерьёз не поздоровится.

Значит, есть такое в самой моей жизни и в жизнях близких, что делает этот рассказ неприемлемым для широкой или даже узкой гласности? По-видимому, не задалась моя жизнь, не соответствует великой идее? Или, может быть, сама она (то есть жизнь моя, а не, сохрани господь, не великая идея коммунизма) преступна? Например, посадили вас – значит вы преступник. Оклеветали – тоже преступник.

Но если я в жизни своей не совершал никакого преступления, и первое – вот этот рассказ, а рассказываю я правду, то, следовательно, преступна сама правда?!

Вот от чего можно сойти с ума.

Глава 3

До войны

Изгнание из рая

– Не плачь, Бумочка, слезами горю не поможешь, – печально говорил папа. Но мама, лёжа на диване, продолжала тихо и безутешно рыдать. Рядом примостился я, а Марлеши дома не было: с утра ушла гулять и до сих пор не возвратилась, а уже четыре часа дня. Не догадываясь об истинной причине маминых слёз, я и считал, что она беспокоится о Марленке...

А перемены в семье произошли разительные – только ребёнок мог их не заметить, но я ведь и был ребёнком.

Впрочем, «не замечал» – это не совсем точно сказано. Просто не давал никакого толкования этим переменам, не задумывался над причинами.

Ещё партийные папины дела не были решены, а уж его уволили из армии в запас с какой-то скверной формулировкой.

Наш багаж, отправленный из Ленинграда малой скоростью, не успел ещё прибыть, и в квартире стояла казённая мебель из папиной военно-хозяйственной академии (тогда-то я услышал впервые слово «казённая»).

Едва отца уволили, явились грузчики и принялись выносить мебель. Они быстро опустошили квартиру, оставив лишь то, что было приобретено отцом в Харькове: «докторскую» клеёнчатую кушетку да единственный стул.

Мы сидели с папой вдвоём на кушетке и ели завтрак, сервированный на стуле. При этом папа пророчески приговаривал:

– Привыкай, сынок, к любой обстановке: в жизни ещё и не так доведётся...

Поглощать яичницу, сидя на кушетке, было не столь уж плохо... В жизни мне потом приходилось и похуже...

Вскоре мебель прибыла (приехал и диван, на котором мама потом будет оплакивать утраченную партийность), и квартира приняла привычный, почти ленинградский вид.

Тогда, в 1937-м, материальной нужды я почти не почувствовал. Но из позднейших рассказов старших знаю, что родителям пришлось туго. Накоплений – никаких: собирать на чёрный день было не в их характере. Финансовые трудности обнаружились немедленно.

Отец лишился работы по специальности. В самом деле, нельзя же было доверять преподавание политэкономии *троцкисту!*

Послать его в какое-нибудь учреждение или на предприятие, где могли бы пригодиться его познания в области экономики, тоже поначалу казалось невыносимым: а вдруг *навредит?*

Оставить в армии и дать полк, батальон, роту, взвод, чтобы использовать его военный опыт? Отец как человек основательный за 13 лет службы сумел его приобрести – вернувшись с действительной службы, я смог оценить диапазон его сведений в военном деле, хотя, конечно, к 50-м годам они устарели. Но в 1937-м были вполне актуальны. Однако – нет: о том, чтобы найти ему чисто военное применение, тоже не могло быть разговора: жупел вредительства, клеймо троцкизма делали невозможной даже мысль о чём-нибудь подобном.

Но достойное дело нашлось. Выпускник Института Красной Профессуры, недавний преподаватель двух академий, член авторской бригады, создавшей двухтомный учебник по политической экономии (отцу принадлежала в нём глава о *прибавочной стоимости*), тонкий знаток Риккардо, Сисмонди и Адама Смита, человек, знавший чуть не наизусть «Капитал» Маркса, вычерчивавший на досуге родословное древо Ругон-Маккаров, писавший стихи; автор только что оконченной кандидатской

диссертации о теоретических ошибках Розы Люксембург; красный командир высокого ранга – полковой комиссар (французские дипломаты в вагоне международного класса называли его «colonel» – полковник), – этот стройный, гордый и – за последние годы – избалованный жизнью человек пошёл в какой-то «торг»: *грузить бутылки...*

Но мне должно быть стыдно: а «фартовый парень Оська Мандельштам» на дальневосточной пересылке? а будущий академик Лихачёв – на Соловках? а Смеляков, Заболоцкий, Бабель, Боря Чичибабин, наконец? С пилюю и топором – или с обушком во глубине сибирских руд? На этом фоне моему папе с его бутылками просто повезло!

Ещё он работал на фабрике музыкальных инструментов – тоже что-то грузил: «рояли», сказал бы я, если б не боялся быть неточным даже в пустяках.

Прошло некоторое время. Партия, правительство и лично товарищ Сталин решили проявить заботу о таких, как наш папа, – то есть почему-то не посаженных, не расстрелянных, а «только» ошельмованных. Военкоматам был дан приказ: трудоустроить изгнанных из армии.

Так в нашу жизнь вошло звонкое, как бы гранёное, слово Гипросталь. Это существующий и поныне Государственный институт по проектированию металлургических заводов Юга.

По направлению военкомата здесь папу приняли на должность инженера-экономиста. Вдоволь нагрузившись бутылок и роялей, папа решил не вредить и работать честно...

Он спорол петлички с воротника и стал ходить на работу в командирском виде, в сапогах, начищенных суконкой, в гимнастёрке, перепоясанной широким, фигурно простроченным ремнём со звездой на пряжке. Вокруг шеи на полмиллиметра над верхом отложного воротника – белая полоска ровно подшитого полотна. Выправка бравая, строевая. И в очередях женщины всегда говорили о нём: «Я – за военным *лично*».

Мама окончила бухгалтерские курсы и стала начислять зарплату на электротехническом заводе – ХЭЛЗе. Кроме того, поступила заочно в пединститут – успела перед войной сдать несколько экзаменов за первый курс филологического факультета.

Деньгами им помогли родственники. Одному своему двоюродному брату – Фрое Волу – отец так и остался должен 1000 рублей (довоенными).

Зарабатывали родители не много, но, несмотря на скудный наш достаток, у нас опять жил Виля (отца его, Сергея, посадили и расстреляли), а потом приехала к нам и Вилина мать – Гита, которой после выписки из психиатрической больницы некуда было податься.

Итак, в самые трудные годы семья увеличилась на два человека. Но более того: с 38-го по самый 41-й, включая начальные месяцы войны, нас обслуживала домработница: сперва Поля из-под Полтавы, потом – Нюня из-под Белгорода (правда, Гита уехала в 39-м году, а за нею и Виля).

Домашняя прислуга в то время не обходилась так дорого и не была такой редкостью, как сейчас. И всё же держать её было накладно. Откуда же у родителей нашлись деньги? Не из Гитиной же инвалидной пенсии?

Опять-таки помогла Советская власть. Я упоминал, что в Ленинграде у нас была кооперативная квартира. В Харькове мы её поменяли на кооперативную же. А вскоре такое жильё было принято в государственный жилищный фонд, и владельцам возвращался пай. Родители в самый критический момент получили назад свои деньги. Это было спасением.

Надо ещё учесть и крайнюю скромность нашего быта. У отца не было иного костюма, кроме полученной ещё в армии военной формы, которую он носил чрезвычайно аккуратно, благодаря чему доносил до... 1946 года, что называется, не снимая! (И опять спасибо советскому государству: могло бы забрать галифе, как ту казённую мебель, но ...оставило доносить до первых дыр...). Мама вообще никогда не знала – и знать не хотела, что значит «хорошо одеваться». Повсюду ходила в одном и том же платье, годами носила документы и носовой платок в одном и том же «ридикюле», как называли этот предмет дамы помоднее, но мама именовала «сумкой» и на ходу держала его под мышкой. Курила она дешёвые папиросы «Чайка».

В театр родители (по крайней мере, в Харькове) никогда не ходили, очень редко заглядывали и в кино.

На нашем столе не припомню бутылки вина, пределом роскоши был магазинный торт. Ко дням рождения – моему или Марленкиному – наша мама, по бедности своей родной семье не овладевшая в детстве и юности кулинарным мастерством, пекла очень простой пирог «штрудель» – повидло в тесте. Перед самой войной выучилась печь очень вкусное печенье «минутки» – комочки восхитительной сдобы, таявшие во рту. Но оно было очень дорогим, и мама успела его сделать всего раза два-три. Потом всю войну мы с сестрой вожделенно мечтали об этих «минутках» счастья.

У меня всегда было всего две-три рубашонки, пара-другая штанов. Скромно, – пожалуй, даже бедно – одевали сестру, хотя она уже почти заневестилась: в начале войны ей исполнилось 16 лет.

Однажды, когда она училась в шестом или седьмом классе, у девочек завелась мода: сосать на уроках фаянсовые ложечки для горчицы. Марлешка пристала к родителям, чтобы дали денег на такую ложечку, стоившую, кажется, рубля три, но ей долго не давали: не могли выкроить! Как-то сестра потеряла трёшку, это ей стоило слёз, потому что мама ругала – и не от скудости, конечно, а от нужды и досады.

Года за два до войны родители взяли на постой квартирантку, отдав ей одну из трёх наших комнат. Это очень нас стеснило, но... надо было жить.

Тема «нет денег» с той поры и вошла в мою жизнь и, верно, теперь не отстанет до конца.

Однажды отец позвонил из дому тёте Рае и попросил займы *десятку* (если не ошибаюсь, кило хлеба стоило 90 копеек). За этим червонцем мы отправились *пешком*, потому что мелочи на троллейбус не было. Стояло лето, мне захотелось пить, но отец попросил меня потерпеть – напьемся на обратном пути. стакан чистенькой газировки стоил *пятак*, но у нас и пятака не было. На обратном пути папа разменял десятку, чтобы напоить меня *с сиропом*.

Всё это я принимал, не задумываясь – видно, успел позабыть, что бывает иначе.

Но как-то в детском саду или в школе меня спросили при каком-то «анкетном» опросе для заполнения учётной формы,

являются ли мои родители коммунистами, членами партии. Дома я озадачил этим вопросом отца, он переглянулся с мамой (как в случае с «матчеством»). Потом улыбнулся тонкой своей улыбкой и отчеканил:

– *Бес-пар-тийный боль-ше-вик!*

Сказал он это, издеваясь над обстоятельствами, но уж никак не над большевиками. Почему-то я запомнил и этот иронический тон, и эти слова. Смутно почувствовал что-то неладное, это ощущение засело во мне до поры, чтобы потом, соединившись с другими, слиться в общую картину, которую я составил сам, без помощи старших, проявив даже *большую* проницательность, чем в разгадке вечного вопроса всех детей: откуда берутся дети.

Сестра на пять с половиной лет старше меня, и для неё эта картина сложилась ещё тогда, в 37-м. 12-летняя девочка (кажется, по идее тёти Гиты, которая всё ещё была не в себе) написала товарищу Сталину. Она послала ему открытку, почтовую карточку, в которой сообщала, что папа и мама – хорошие, что они – честные большевики, и что исключили их – неправильно.

Родителям она, конечно, ничего не рассказала – может быть, рассчитывала устроить им через товарища Сталина приятный сюрприз.

И в самом деле, вскоре пришло приглашение из обкома партии – адресат был обозначен как «Рахлин М.Д.» Инициалы папы были – Д. М., он решил, что просто по ошибке переставлены буквы, и явился по вызову. Его встретил *партследователь парткомиссии* – и с ходу принялся сердито отчитывать:

– Что за штуки вы себе позволяете? Зачем к своим делам о партийности подключили ребёнка?

– Какого ребёнка? – изумился отец.

– Не притворяйтесь! – прикрикнул партследователь и вытащил из ящика стола Марленину открытку. Представляю себе вид этого обращения к Вождю... Сестрёнка обладала редким талантом мазать, над её каракулями вечно смеялись, а папа когда-то сочинил на неё такую эпиграмму:

*Я – мазила-размазила,
Я пролила все чернила,
Написала – вот дела! –
Будто курочка прошла...*

Хорошо понимаю чувство, которое испытал отец при виде всех этих беспомощных каракулей своего ребёнка – единственного в мире человека, который осмелился за него заступиться.

Еврей Иванов

Виля жил в Воронеже – в семье своего отца, совершенно чужой и ненужный всем, кто там был. Сергея Иванова, бывшего видного комсомольского деятеля, читавшего к тому времени диалектический и исторический материализм в каком-то областном вузе, арестовали и убили, а, может, он и «сам умер» – судьба его осталась не выясненной²⁵. Не знаю, в связи ли с арестом Сергея или ещё раньше, но наши решили забрать Вилю – он просил об этом, писал душераздирающие письма. За Вилей поехала папина сестра Сонечка Злotoябко (ещё одна яркая деталь, иллюстрирующая теплоту отношений в семье. Виля был племянник маме, а не папе – и уж никак не Сонечке. Казалось бы, что ей Гекуба? А вот поди ж ты...)

И опять он в нашем доме. Опять надо мною воцарился деспот, о жестокости которого взрослые даже не подозревали.

Поначалу возобновился «Кап», демонстрация «Рук» и другие подобные номера. Но оба мы стали старше, легенда постепенно теряла свои гипнотические качества и сошла на нет, а её место заступило прямое, расчётливое тиранство.

Очевидно, во мне Виля нашёл мягкий, податливый материал. Мальчик он был, конечно же, не вполне нормальный. Может быть, сыграло роль потрясение, вызванное семейным конфликтом между родителями, болезнь матери, а, может и какое-то

²⁵ *Примечание 2003 года: С развитием «перестройки» власти стали давать правдивые ответы на запросы родственников об их близких, пропавших в сталинской мясорубке. По просьбе Гиты я отправил запрос о Сергее Александровиче Иванове в прокуратуру Воронежской области – и получил официальный ответ: он был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, расстрелян по приговору, а в середине 50-х – реабилитирован.*

органическое или генетическое предрасположение, в этом подростковом сочеталось сразу несколько патологических «-измов».

Видно, мои родители были слишком заняты и убиты своими делами и потому не замечали, как я трепетал перед ним. Но как же мне было не бояться? Он был старше меня на семь лет: в 1937-м ему было 13, мне – шесть...

Свою власть надо мною, добытую ещё в Ленинграде оружием «религии», он без труда восстановил в Харькове при помощи грубой силы. Он мне сказал, что если я признаюсь родителям, наябедничаю на него, он меня убьёт.

И я струсил. Родители, погружённые в свои партийные и житейские невзгоды, не пришли ко мне на помощь. Марлена была ещё глупа и, видно, ни о чём не догадывалась, да и вообще не больно имела меня в виду.

И я остался один на один с этим безжалостным мальчиком. Сказать, что он вил из меня верёвки, будет слишком мягко и слабо.

До его приезда я любил гулять во дворе. Но Виля гулять не любил. И меня отучил.

Теперь меня невозможно было выгнать на улицу одного. Я утверждал, что без Вили – не хочу. На самом деле это он не хотел оставаться без меня. Если мы и шли гулять, то непременно вдвоём. Он уводил меня со двора в городской парк (мы жили напротив). Для меня эта прогулка оборачивалась сущей пыткой. Виля взял привычку держать ладонь у меня сзади на шее. Шея ныла, болела, начинала болеть и спина. Но когда я пытался освободиться, он ещё теснее сжимал мою шею своими неумолимыми пальцами.

Скоро я отвык от двора, отдалился от детворы и даже стал её побаиваться. Теперь мне и в самом деле больше нравилось сидеть дома. Потом меня частично спас детский сад, куда я уходил на целый день. Но вечера и выходные дни оставались в распоряжении брата, и он брал реванш за упущенное.

Моё положение осложнялось ещё и тем, что по его требованию я должен был разыгрывать перед взрослыми преданность ему, немое обожание. Только Бог, в которого я не верил, мог бы знать мои истинные чувства ненависти и страха. Но Бог в те баснословные года тоже дрожал от страха быть изгнанным

из коммунистической партии и водворённым в исправительно-трудовой лагерь или, чего доброго, поставленным к расстрельной стенке.

Сидим за столом, за обедом, едим борщ. Я наелся, оставил полтарелки: больше не лезет.

– Фелинька, ты почему не ешь? – беспокоится мама. Виля выразительно смотрит на меня. А под столом в это время предельно ударяет меня носком ботинка по косточке ноги. Креплюсь изо всех сил, однако *не плачу!* (Это шестилетний-то ребёнок!) Но теперь принимаюсь есть через силу, а мама удивляется: вот какое влияние имеет на меня Виля: только взглянул – и уговорил!

...Эх мама, мама, партийная моя, прости, покойница, мой упрёк: куда же ты смотрела? Почему не заглядывала под стол даже в собственном доме, я уже не говорю – под стол своего великого государства...

Меня и тогда изумляло искреннее её удивление: как велико влияние на меня старшего брата! Как я его слушаюсь! Как *люблю!*

А я тогда, в детстве, читая воспоминания сестры Ильича о том, что маленький Володя всегда на любой вопрос, будет ли он что-то делать или не будет, отвечал: «Как Саша», – я и тогда в тайне души подозревал, что Саша... поколачивал Володю.

Какое, с моей стороны, кощунство! Конечно, в дружной семье Ульяновых так быть не могло (ведь Володиных и Сашиных родителей не исключали из партии...), но эти недостойные подозрения объяснимы моим несчастным детским опытом.

У детей часто спрашивают: «Кем ты хочешь стать?» Виля навязал мне ответ: на этот вопрос – под угрозой побоев – я должен был говорить: «Хочу быть военным инженером». И я так и отвечал, хотя никакого реального содержания этой профессии я не видел и не понимал. На самом деле до приезда Вили я мечтал стать дворником, и мне даже успели купить маленькую, но настоящую метлу, однако с его прибытием мне пришлось круто переменить свою профориентацию...

И опять скажу: до сих пор не могу понять, как мои родители, такие ласковые, заботливые, чадолюбивые (а со мной, младшеньким, – в особенности), – как это они ни о чём не

догадывались? Да ведь у меня всё тело было в синяках от Вилиных колотушек, тычков и щипков (а щипаться он особенно любил – и делал это преобильно!) Мама не раз спрашивала меня, откуда эти кровоподтёки. И даже, кажется, высказывала верные предположения. Я каждый раз что-то врал, и она успокаивалась...

Этот частный, внутрисемейный феномен кажется мне миниатюрным подобием другого – общесоюзного: ведь как раз в это время полтора-два миллиона (и даже больше) не хотели замечать трагедии своих братьев и сестёр, отцов и матерей, не допускали и мысли о страданиях людей в застенках Ягоды, Ежова, Берии...

Да и вообще мои отношения с Вилей кажутся мне построенными самой жизнью по законам параллельной интриги. Он сам был моим маленьким собственным 37-м годом. Более того: подозреваю, что именно середина тридцатых годов и, шире, сама современность сформировали этого мелкомасштабного садиста и диктатора. Недаром же истязаемую подушку он именновал Тухачевским. Да и во мне, может быть, видел игрушечного врага народа.

Впрочем, любимая Вилина игра ещё в Ленинграде была – «в Чапаева». Чапаем был, конечно, он сам. Марлене, за неимением более подходящего исполнителя, разрешалось быть Фурмановым, я был ординарцем Петьюхой, маленькая Галя – Анкой-пулемётчицей. Эти игры и мне нравились, пока у Вили не проявлялся бред властителя.

Однажды он за какую-то провинность ударил меня черенком перочинного ножа по голове – и разбил мне лоб. Потекла кровь. Вилия страшно перепугался, побледнел (он всегда бледнел от волнения, стеснения или страха – тогда у него начинала мелко-мелко дёргаться голова, как-то снизу вверх, задираясь всё выше и выше). Тут же он заставил меня под угрозой новых побоев дать слово, что скажу родителям, будто ударился о железную ручку двери – она была как раз на уровне моего разбитого лба.

Так я и объяснил. И мне поверили.

Не нужно думать, однако, что я был с ним всё время несчастен. Он делал меня соучастником своих забав и про-

делок, иногда казавшихся мне довольно комичными и увлекательными.

Был у него и ещё один наперсник и – даже страшно вымолвить – *единственный* товарищ: одноклассник Толя Лобас. Других знакомых мальчишек, которые приходили бы к нему домой, играли с ним, или к которым он бы сам заходил, *не было совсем*. Звонила иногда девочка Тала, в которую Виля, как он сам говорил, был *влюблён*. Они узнавали друг у друга, что задано на дом. Вот и все взаимоотношения с одноклассниками, которых он был старше на целых два года: не помню точно, почему, но он пропустил два года учёбы. Кажется, дело было в том, что Виля болел туберкулёзом. Правда, ко времени его появления у нас в Харькове процесс у него закрылся, никаких мер предосторожности или разговоров об опасности контакта с ним – не было.

Итак, ни друзей, ни товарищей... Зато Толя Лобас заменял всех. Это был забитый, чахлый, бледненький мальчуган, сын уборщицы. Виля ходил в 62-ю школу, которая тогда помещалась на Сумской напротив сада им. Шевченко – там, где сейчас Инженерно-строительный институт. Здание расположено, как в старину говорили, «покоем», то есть буквой П, и вот у правого нижнего края этого П, с его внутренней стороны, в каморке над подъездом – маленькой каморке с оконцем, похожим на дольку апельсина, и жил Толя Лобас со своей мамой. На Вилю он буквально молился, тот всецело подчинил его своему влиянию, и в какой-то мере это облегчало мне жизнь, потому что часть Вилиного деспотизма теперь переключалась на Толю Лобаса.

Вот троём мы и проделывали под Вилиным верховенством всякие хулиганские штуки.

Например, ходили в парк за каштанами, набивали этими плодами полные карманы, приносили домой и складывали на балкон. Накопив достаточно боеприпасов, пускали их в ход. Балкон имел тогда сплошной цементированный барьер с узкой щелью внизу для стока воды. Любимым Вилиным занятием было – кидать каштаны в прохожих, а затем прятаться за барьером и наблюдать в щель, как человек, ушибленный каштаном или просто потревоженный им, беспомощно и возмущённо озирается по сторонам, задирает голову и смотрит вверх, тщетно

стараясь обнаружить «огневую точку противника» Почему-то замечали нас очень редко.

Правда, один раз Виля бросил каштан в парней, висевших на трамвайной «колбасе» (так назывался буфер, в те времена имевший такую конструкцию, что ездить на нём было легко). Парни нас заметили и, вернувшись от трамвайного кольца к нашему дому, разбили нам камнем стекло. Я внутренне торжествовал, потому что Виля испугался, а я его ненавидел и радовался его страху.

До войны в Харькове во время ливней собирали дождевую воду для стирки и для мытья головы. Местная вода – чрезвычайно жёсткая, то есть содержит много известковых примесей. Сейчас жупел радиоактивности отпугнул харьковчан от дождевой водички, да и прежней необходимости в ней нет, потому что появились всякие моющие средства: шампуни, пасты да порошки. А в то время, лишь только дождь, так хозяйки, мальчишки и домработницы бегут сломя голову вниз с ведрами и выварками (так назывались большие баки для вываривания белья в процессе стирки) – подставлять их под водосточные трубы. Важно было захватить местечко, возникали очереди.

Виля же для удобства (чтоб не бегать вниз) прорезал отверстие в водосточной трубе, проходившей как раз в углу нашего балкона. Когда надо было – вставлял в это отверстие металлический жёлоб – и получал воду «вне очереди».

Однажды в ясный день под балконом гуляли малыши с нянями. Двух-трёхлетний ребёнок подошёл к жерлу водосточной трубы и стал в неё заглядывать. Виля немедленно схватил пригоршню песка, приготовленного для нашей кошки, и сыпанул в отверстие... Малышу запорошило глаза, раздался рёв, няньки переполошились, столпились вокруг ребёнка, но им и в голову не пришло заподозрить тут чей-то злой умысел, а Виля – ликовал...

Вот ещё одна его балконная забава. Были до войны такие конфеты – «Ирис» в коробках. (Помните, у Барто: «А он говорит – «Иди сюда,/ я тебе ирису дам!»)/– гениальная рифма...). В коробке каждая «ириска» была в обёртке. Эти «фантики» от съеденных конфет Виля тщательно собирал, набивал хлебным мякишем, а потом укладывал в ту же коробку – и выбрасывал её с балкона, сам же оставался у щели: ждать, что будет.

Надо признать, что люди, первыми увидавшие на тротуаре красиво упакованную коробку, вели себя, чаще всего, подленько: воровато оглянувшись, прятали находку в кошёлку и быстро устремлялись вперёд. Нам приходилось довольствоваться фантазией: как поведёт себя «счастливец» и что скажет, развернув первую «конфету».

Но бывало, от нетерпения прохожий раскрывал коробку сразу. Виля, стоя раком на полу балкона и припав к щели, ликовал беспредельно.

Потом ему и этого показалось мало. Он стал привязывать коробку белой ниткой к ленточке («конфеты» он непременно снабжал ленточкой – как из магазина), а кончик ниточки держал в руке.

Человек подходил, озирался по сторонам, наклонялся к находке – и в этот момент она медленно начинала ползти в сторону или взмывала вверх. Смешнее всего, что некоторые принимались её ловить и даже подпрыгивали. Тут уж мы не боялись громко смеяться, так как попавший в столь дурацкое положение человек не чувствует в себе решимости возмущаться и негодовать, – напротив, спешит покинуть место происшествия.

Гуляя с Вилей вдвоём по парку, мы ни с кем не общались, но много наблюдали. Шли в детский городок, где летом занимались различные кружки Дворца пионеров: частично – в большом деревянном павильоне на одной из дальних аллей, частично – под открытым небом. Переходя от одной группы ребят к другой, на почтительном расстоянии следили за их работой. Так, не однажды стояли мы возле кружка рукоделия, где, сидя на траве, безрукая девочка в синем халатике искусно вышивала ногами. Когда ей надо было отдохнуть и оглядеть работу, поднимала ногу чуть не до носа и вкалывала иголку в отворот халатика, затем обеими ступнями, как ладонями, аккуратно расправляла вышивку.

Некоторые наши прогулки по парку включали в себя общение с местной фауной. Например, как-то раз Виля поймал за хвост ящерицу, она отбросила хвостик и ускользнула, а остаток хвоста ещё извивался некоторое время отдельно от своей хозяйки. Рассчитывая повторить опыт, кузен стал рыть землю на склоне одного из оврагов там же в парке и в самом деле откопал торчащую из

земли маленькую лапку. Он велел мне дёрнуть за эту лапку, и в моей руке оказалась ... препротивная жаба! Естествоиспытательские (и, вместе с тем, садистские) наклонности Вили обнаружались и в таких экспериментах: найдя зелёную гусеницу пожирнее, он клал её в муравейник и не давал ей уползти от немедленно атаковавших её муравьёв. Дождавшись, когда бедняга, парализованная многочисленными укусами, переставала шевелиться, Вили оставлял её муравьям, а на другой день мы специально подходили взглянуть: что получилось. Обнаруживали оставшийся от бедняги ажурный скелетик! Отвлекаясь от психологической и даже, может быть, психопатологической подоплёки такого «опыта», рискую предположить, что никто не нашёл бы лучшего способа получить столь чистый скелет беспозвоночного животного!

Там же, найдя свободную «лодку» – качалку, забирались в неё и раскачивались. Однажды подошёл мальчишка примерно Вилиного роста и возраста, но вида самого «хулиганского», и стал нас выгонять из лодки. Он был один, но вёл себя до того нахально, что Вилиа струсил. «Хулиган» стал переворачивать лодку, мы выскочили, и он подошёл к Виле. Начался традиционный обмен любезностями, как у Шуры Балаганова с Паниковским: «А ты кто такой?». Наконец, пацан толкнул Вилю, послав его при этом весьма далеко. Брат поспешно ретировался, подёргивая головой всё выше и выше, а лицом становясь всё белей и белей, так что веснушки все проявились, словно табак на снегу. Когда же мы отошли, он быстро успокоился и, к моему изумлению, сказал хвастливым тоном:

– Ты видел, как Я ЕГО толкнул?

Боясь подзатыльника, я подтвердил, что, мол, да, видел, но в тот день мой деспот много потерял в моих глазах.

Как видно, становясь взрослее, я всё более избавлялся от его тиранства, да и возможности у него сузились: я ходил в детский сад, потом – в школу...

И всё-таки влияние на меня он сохранял до самого своего отъезда.

В свои тринадцать – четырнадцать лет это был мальчик уже с признаками телесного возмужания. Очень следил за своей внешностью, наглаживал брюки до деревянности, надраивал ботинки до полной зеркальности.

Страшно любил шик. Нашёл где-то железку, тупую и толстенную, но формой напоминавшую ножик, отшлифовал её напильником и наждачной бумагой до серебристого блеска – и носил на брючном ремешке как «кинжал» или же «кортик».

Собственное имя Вилен его не вполне устраивало, и он называл себя «Вильям (с ударением на «я») или «Вильгельм».

Книги читал мало, но зато *собирал* их, коллекционировал. У него в столовой под крышкой обеденного стола хранились на подкладной полке любимые книги: «Дерсу Узала» Арсеньева, Майн-Рид, «Рассказы о пограничниках» – притом, книги были без единого пятнышка или царапинки.

Своеобразно сложились его отношения с Марленой. Он над нею всячески подтрунивал, дразнил её, но вместе с тем и побаивался.

Дразнил он её за тяжёлую походку, от которой, как он утверждал, в квартире тряслась мебель и дрожала посуда. Марленка обижалась, они «ссорились», то есть объявляли, что «не разговаривают» друг с другом. Всё же обоим выдержать взаимный бойкот было не просто. Тогда они брали меня в посредники. Выглядело это так:

– Феля, скажи Марлене, что, когда она делала сегодня зарядку, в буфете звенели стаканы.

Хотя Марлена прекрасно слышала эту фразу, она притворялась, будто это не про неё. Я добросовестно исполнял Вилину просьбу:

– Марлена, Виля говорит, что в буфете звенели стаканы от твоей гимнастики.

Выслушав, Марлена отвечала:

– Феля, скажи Виле, чтобы он садился за уроки, а то опять получит «пос»²⁶ по арифметике.

²⁶ «Пос» – «посредственно»: довоенная школьная отметка, соответствующая нынешней оценке «три». Знания оценивались, как и сейчас, по пятибалльной системе, только не цифрами, а словами: «5» – «отлично», «4» – «хорошо», «2» – «плохо», «1» – «очень плохо». Ещё раньше были «уды» и «неуды», т.е. «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», но этого я в школе уже не застал.

Такие беседы продолжались подолгу. Для сокращения и упрощения стороны переходили к «прямым связям», впрочем, сохраняя прежнюю форму разговора:

– Феля, скажи Виле...

– Феля, скажи Марлене...

Моё имя служило теперь лишь символом, и мне оставалось только вертеть головой: разговор шёл уже без посредника.

Но вот я куда-нибудь выходил из комнаты, а возвратившись, заставал их за мирной беседой, только теперь мою роль посредника успешно выполняла стенка:

– Стенка, скажи Марлене...

– Стенка, скажи Виле...

Наконец, и это надоедало. Ссора заканчивалась.

Сестра с некоторых пор почувствовала себя совершенно независимой от Вили. Только недавно я узнал от неё, как она избавилась от его зловещего влияния. Он заполучил над нею власть, шантажируя её тем, что грозился разоблачить перед родителями её участие в какой-то детской проделке. Но однажды случайно она увидела, как он занимается «детским грехом». И в ответ на его очередную угрозу «всё рассказать» она ему ответила: «А я тоже про тебя всё расскажу...» Этого было достаточно, чтобы навсегда освободиться от «рабства».

Подростка, конечно, начинал мучить секс. Мы с ним спали в одной комнате, и по вечерам он вслух рассказывал невероятные порнографические истории про себя и каких-то розовых красавиц. Я только то и понимал, что эти монологи непристойны, но, в силу своего малого возраста, ничего в них не разумел и потому не запомнил. Мне кажется, Вили тогда и сам ещё не вполне представлял содержание половых отношений, иначе уж он бы меня «посвятил»... Мне эти вещи начали открываться лет с десяти, когда его у нас уже не было. Но он очень интересовался этой сферой и вовлекал меня в орбиту своего интереса.

Меня лет до шести женщины брали с собой в баню. Думаю, напрасно они это делали, но в городских условиях горячее мытьё представляло собой тогда трудную задачу: газ был проведён у нас в доме только перед самой войной, и хотя ванну установили ещё строители, но нагреть для неё достаточно воды

было нелегко. Пока я казался маме маленьким, она меня брала в баню с собой или посылала с домработницей.

По возвращении я должен был давать Виле подробный отчёт. Особенно его интересовала домработница Поля, о которой он выспрашивал у меня самые интимные частности.

Однажды, когда никого, кроме нас с ним двоих, дома не было, он разделся догола, взобрался на подоконник и стал трясти своими уже вполне мужскими «доспехами», выкрикивая на всю улицу:

– Смотрите на меня! Смотрите на меня!

Как и почему из этого не вышло скандала – ума не приложу. Точно помню, что прохожие на улице были и что они на него поглядывали.

Не пойму и того, что помешало ему развращать меня более рьяно. Как видно, из всего букета сексуальных «-измов» как раз гомосексуальность была ему чужда – видимо, это меня и спасло.

Виля прекрасно рисовал. Он стал посещать студию то ли Дворца пионеров, то ли школы имени кажется, Грекова, бегал в парк – «на этюды», писал их акварелью, иногда и маслом – и очень здорово.

Однажды, когда я лежал больной в постели, он сказал, что все великие художники рисовали голых, а посему мне надлежит откинуть одеяло и снять рубашку. Повернувшись лицом к стене, я долго светил ему голой попкой, пока мы оба не устали.

Примерно в конце 1937-го – начале 38-го года приехала к нам его мама – тётя Гита. Она была ещё больна – у неё часто болела голова, а однажды она при мне бросилась на колени перед Марленой и, протягивая ей округлый на конце столовый ножик, стала упрашивать: «Марленочка, милая, зарежь меня...»

Виля мать свою очень любил, но вместе с тем изводил различными проделками, доводил до нервных вспышек. Однако ненормальность Гиты сказывалась всё меньше и реже. Её лечили гипнозом, ещё чем-то, и, наконец, харьковская знаменитая врачиха дала мудрый совет: уехать в другой город, где про Гитино сумасшествие никто ничего не знал, и возобновить самостоятельную жизнь, поступив на работу по специальности. «Если ей удастся сейчас выйти из депрессии, она проживёт

долгую жизнь, и, притом, на таком заряде сил и энергии, которого ей хватит на много лет до глубокой старости», – сказала профессор. По её словам, работа теперь была для Гиты главным лекарством, которое поможет навсегда избавиться от остатков маниакальной депрессии. Важно лишь, чтобы эта работа была в городе, где не знают Гитиной предыстории.

Таким городом мог быть Ленинград, где у Гиты была комната, полученная в обмен на московскую. Гита приехала, явилась в комнату и заявила на неё свои права.

Между тем, во время её болезни родители поселили в комнате папину двоюродную сестру Дину Вол, – студентку, приехавшую из Обояни для учёбы в институте.

В Ленинграде жило уже несколько Волгов. Дина устроилась на временное жильё по их протекции. Предполагалось (по крайней мере, нашими родителями), что это даже уберёжет комнату для Гиты. Но Волы рассудили иначе. Когда Гита не умерла, а «наоборот», – они стали с нею судиться. Произошёл семейный скандал.

Суд безоговорочно взял сторону Гиты. Судья сильно пристыдил Дину. Мне кажется, такое его поведение вполне соответствует абстрактной человеческой справедливости, которой, как известно, не существует на свете...²⁷

Гите всё это стоило нервов. Но она была уже на предсказанном харьковской «психиатриссой» взлёте душевных сил, характерном после депрессии. Возвращение к работе в полной мере вернуло ей рассудок и силы для дальнейшей жизненной борьбы и предстоявших душевных испытаний, об ужасе которых никому не дано было тогда догадываться.

Временное помешательство, при всех известных его неудобствах, оказало Гите большую услугу, дав ей возможность, подобно тому, как это сделал бухгалтер Берлага из «Золотого телёнка», отсидеться в сумасшедшем доме от неприятностей социального свойства. Правда, Берлага пошёл на это сознательно, а Гите помогла случайность. Это было счастливое безумие!

²⁷ *Примечание 2005 года: Выпад против известного большевистского тезиса об относительности морали, классовом её характере.*

Только благодаря ему она не попала в проскрипции 1936 – 37 годов, так как механически выбыла из партии за неуплату членских взносов, а взносы не платила по столь уважительной причине, как психическое заболевание!

Возвратившийся рассудок уберёт Гиту от бесперспективных в те времена попыток восстановиться в партии. Было большой удачей то, что про неё, по всей видимости, забыли. В конце войны Гита приехала в Москву и даже сумела поступить на военный завод. Здесь она изобрела прогрессивный способ предотвращения коррозии деталей военных самолётов и чуть-чуть не получила за это Сталинскую премию. Помешала история с моими родителями: их арест в 1950 году, после которого её «сократили», уволили с завода и обрекли на прозябание в какой-то артели.

Когда после XX съезда КПСС всех наших реабилитировали и восстановили в партии, в Гите заговорила старая комсомолка. Она подала просьбу о восстановлении в КПСС – и получила отказ. Мотивировка:

– Вы много лет пробыли вне партии и всё это время не делали попыток вернуться туда, что же теперь-то надумали?

Бесполезно было объяснять, что, имея в анкете репрессированного (расстрелянного!) первого мужа, изгнанных из партии сестёр, одну из которых посадили, и ещё кучу «порочащих связей», она не могла и не должна была решиться напомнить о себе: это было бы почти равносильно самоубийству.

А что же Виля? Он пожил у нас ещё – до того момента, как Гита отсудила свою комнату на Фонтанке, после чего был отправлен в Ленинград.

Вскоре родители по какому-то поводу пристали ко мне с расспросами, не бил ли он меня (значит, всё-таки подозревали), и тут я признался, что – да, бил. Они были поражены. Написали Гите. Виля ей наплёл что-то – ему ведь было выгодно солгать, вот он и сказал, что его самого «бил Додя».

В этой лжи была, однако, крошечная доля правды: отец, действительно, один раз на моих глазах вкатил ему оплеуху, когда тот назвал его «дураком». Я этот случай отлично помню.

Папа никогда не бил детей – ни своих, ни, ТЕМ БОЛЕЕ, чужих. Чадолюбие было одной из черт его натуры. Бывало, совсем незнакомые дети сбегались к нему со всех концов двора

– поговорить, посмеяться, послушать его шутки. Меня он лишь раз за всю жизнь *шлёпнул* по мягкому месту – и за дело: уж слишком я развинченно себя повёл. Так вышло и с Вилей. Отца всегда возмущала грубость со стороны детей. Например, он всерьёз обиделся на Марлену, когда она сказала ему добродушно в ответ на его подтрунивание над ней:

– Фу, папка, ну какой же ты глупый...

Мы усваивали с детства, что выносить такие оценки по адресу родителей нам строжайше запрещено. А Виля...

В тот раз папа пытался заставить его погулять на улице. Для Вилиных слабых лёгких, уже однажды атакованных туберкулёзом, это было очень полезно. Но Виля гулять ужасно не любил, боялся неожиданных и неприятных встреч с мальчишками и потому домоседничал... Каждый раз было мукой заставить его выйти на чистый воздух. Если ещё со мною вместе – он соглашался. Но в тот день я болел. А день, как нарочно, выдался золотой – солнечный, с лёгким морозцем, со свежим снежком.

Виля упорствовал, отец в прихожей нахлобучил на него шапку.

Виля задёргал головой (выше-выше, бледней-бледней) и выпалил:

– Дурак!

Отец, потеряв терпение, отвесил ему плюху. Виля обиделся, но гулять пошёл – и вернулся лишь через несколько часов, страшно довольный прогулкой: ему удалось полюбоваться на какую-то кавалерийскую часть, прогарцевавшую по городу.

Несколько лет назад Гита, предавшись воспоминаниям, высказала мне горькую обиду на моих покойных родителей, заявив, что «Додя бил Вилю». Это утверждение ужасно несправедливое. Но я не стал спорить: пришлось бы рассказывать о покойном её сыне такие подробности, которые огорчили бы её гораздо больше, чем мнимая «Додина несправедливость».

Но, говоря начистоту, должен признать, что папа Вилю недолюбливал и ни в малой степени не заменил ему отца, если не считать чисто материальных затрат.

Впрочем, Виля его уважал, называл «Додей» и обращался на «ты», в то время как маме – своей кровной родной тётке – говорил «вы» и «тётя Бумочка». Почему так – не знаю.

К Виле мне подробно уже не нужно будет обращаться в дальнейшем рассказе – больше я его в жизни никогда не видел. Объясню лишь напоследок, отчего этой главке дано такое название: «Еврей Иванов».

Лермонтовский Печорин знал Иванова немца. Вилен Иванов числился евреем.

Вскоре после его рождения была Всесоюзная перепись. К Гите явились счётчики. Стали заполнять переписные листы и, когда очередь дошла до графы «национальность», с откровенным интересом уставились на неё: смешанные русско-еврейские браки были уже не внове, но их плоды в виде девочек и мальчиков ещё только появлялись на свет – в гражданскую войну было не до того... Счётчиков интересовало, кем назовёт эта еврейка своего сына. Гита, в пику им, сказала: еврей. С той поры при всех вопросах и учётах так его и записывала. Он уже и сам привык. До войны этому вопросу не придавалось так много значения, как сейчас, но всё же нужно было часто на него отвечать: в школе, в библиотеке и т. д. Виля всегда называл себя евреем, и это, при его – из русских русской! – фамилии, неизменно вызывало изумление окружающих. Болезненно застенчивый мальчик страшно стеснялся, но твёрдо стоял на своём:

– Фамилия?

– Иванов.

– Год рождения?

– Двадцать четвёртый.

– Национальность?

– *Ев-рей!!!*

(Подбородок в мелкой дрожи всё выше-выше-выше, лицо в крупных конопушках всё бледней-бледней... Так он смущался).

Первый звонок

Как легко догадаться, мемуарист под этим заголовком намерен рассказать о начале своих школьных лет.

Сказать по правде, старик Державин нас не заметил и не благословил. Однако письменное биографическое свидетель-

ство о моём первом школьном дне – сохранилось. Да что там письменное... – печатное! Без лишних слов отсылаю читателя к харьковской областной газете «Красное знамя» за 1939 год, где в номере от второго сентября, наряду с сообщениями о начале второй мировой войны (впрочем, мир в тот момент не понял ещё, что она началась), была помещена такая корреспонденция:

«Первый звонок»

Всё было приготовлено с вечера в новом портфеле – букварь, тетрадь и огромное румяное яблоко. Утром Ирочке Поляковой расчесали светло-русые пушистые волосы. У пояса легли два банта, вплетённые в тугие косы. Ирочка первый раз в своей жизни направилась в школу.

Сентябрьское солнце едва золотит верхушки деревьев. Совсем немного осталось до первого звонка, и его-то с нетерпением ожидают сотни учащихся.

Когда до начала занятий остаётся пять минут, учительница Мария Петровна ставит малышей своего первого класса «Б» по парам.

Широко раскрываются двери школы № 89.

– Первоклассникам дорогу! – говорит учительница. Дети идут через украшенный цветами вестибюль, мимо голубых колонн, едва успевая разглядеть портреты и скульптуры.

На первом этаже, неподалёку от выхода, расположен первый класс «Б». В открытую дверь класса пара за парой входят дети.

Мария Петровна указывает парты. Доносится трель звонка. Занятия начались...

Урок принял форму интересной беседы. Мария Петровна, научив детей говорить по очереди, задаёт вопросы: кто кем хочет быть после окончания школы. Детвора, не стесняясь, отвечает:

– Хочу быть военным инженером.

– Лётчиком.

– Врачом.

– Машинистом.

-Пограничником.

Мария Петровна довольна.

Умело, интересно ведёт урок Мария Петровна Курдюмова. Она рассказывает, в каких условиях приходилось ей учиться.

– ...Школа была неудобная, маленькая. В двух комнатках стояли неудобные скамьи... –

Потом, обращая внимание на просторный, сверкающий чистотой, уютный класс, Мария Петровна спрашивает:

– Дети, кто же заботится о нас?

*И малыши радостно называют любимое имя – **Сталин**.*

– Может быть, когда научимся, напишем ему письмо?

– Конечно, напишем.

– Что же мы будем писать?..

Девочки и мальчики встают со своих мест, предлагают текст письма. Все внимательно слушают Феликса Рахлина. Мальчик с чувством говорит:

– Дорогой Сталин! Спасибо Вам за то, что у нас такое счастливое детство, что Вы дали нам такую красивую школу. Мы будем отлично учиться.

– Теперь остановка за малышом, – шутит Мария Петровна, – надо научиться писать.

Во второй половине урока Мария Петровна окончательно покорила ребят. Она говорила о том, как надо беречь книги, и под общий хохот нарисовала на доске чучело, которое... не следует рисовать в учебниках.

Декламировали стихи. Детвора знает произведения современных поэтов, знает Пушкина.

Прозвучал звонок.

На втором уроке Мария Петровна будет учить детей считать, на третьем – покажет буквы.

Ребята решили скорее научиться писать. Ведь им предстоит послать письмо своему отцу дорогому Сталину. Надо описать много замечательного, чудесного.

Галина Гольц»

А теперь, как водится в мемуарах, прокомментируем документ эпохи. Надо сказать, Галина Гольц в своём репортаже кинематографически точно воспроизвела не только факты, но и атмосферу того дня.

Может быть, не каждому понятно, однако я сейчас докажу, что фигура мемуариста – центральная в этой публикации (наряду со Сталиным!). Именно вокруг нас двоих закручен весь сюжет – «письмо нашему дорогому отцу». И хотя моё имя названо лишь один раз, фактически я присутствую и в других эпизодах. Легко, например, догадаться, что это я «хотел» быть «военным инженером» – вы помните, что такое «желание» мне внушил колотушками Виля. Стихи декламировал тоже, в основном, я. И «Пушкина знал» тоже я – читал перед классом «Делибаш»:

«Мчатся, шиблись в общем крике.

Посмотрите, каковы:

Делибаш уже на пике.

А казак – без головы»...

И вообще – ужасно активничал и мелькал, в результате чего сидевшая на задней парте Галина Гольц после первого урока подозвала меня и записала имя и фамилию.

Прекрасно помню, как импровизировал я текст письма «дорогому отцу». Стоя за партией и ощущая напряжённое внимание детей и учительницы, я испытал чувство некоторой натаянутости, вызванное непривычным для меня обращением к вождю на «Вы». В душе я всегда был с ним запросто на «ты», как подсказывала вся культовая литература и псевдонародная поэзия. Но теперь стилистическая интуиция заставила меня отступить от такого панибратства: в устах ребёнка «ты» звучало бы грубо и неестественно, а обращения типа «дедушка Сталин» или, тем паче, «дядя», претили моему вкусу.

Ира Полякова, которой дали яблоко, – это дочь известного харьковского генетика – профессора Ильи Михайловича Полякова. После войны он был секретарём партбюро Харьковского госуниверситета и как один из здешних «вейсманистов-морганистов-менделистов» подвергся оглушительному разному на знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, перед созывом которой Трофим Лысенко получил лично от отца народов «карт-бланш» на разгром научной генетики – «продажной девки империализма».

По свидетельству академика Дубинина, да и других участников сессии, Поляков сначала занял там довольно решитель-

ную антилысенковскую позицию. Но затем в нём возобладал «комплекс Галилея» (как у знаменитого Иосифа Рапопорта – «комплекс Джордано Бруно»), и Поляков стал каяться. Всё же это ему не вполне помогло, и со своих харьковских высоких должностей он загремел. На какое-то время уехал, кажется, в Одессу. Но в новые времена стал директором Харьковского НИИ растениеводства, селекции и генетики.

Мама Иры была одной из главных родительских активисток в нашей школе. Она не работала ни в учреждении, ни на производстве и могла много времени тратить на придумывание всяческих затей для своей Иры и всего нашего класса.

На беду моей матери, я любил «выступать», и у меня это неплохо получалось.

Мама Иры организовывала целые спектакли, в которых Ира и я играли не последние роли.

Однажды (это было перед началом войны) мы выступали в инсценировке басен Крылова на сцене нынешнего Дворца студентов – в общежитии «Гигант». Ирина мама где-то достала или сама сделала для дочери роскошный костюм Петуха – с разноцветным хвостом, с масляной головушкой и шёлковой бородушкой. А моей маме дала задание: изготовить мне костюм Волка.

Моя мама дважды в месяц «штурмовала» начисление зарплаты и сидела вечерами допоздна то на работе, то на дому. Заведенная бухгалтерской текучкой, она не могла, а обременённая былой партийностью и начальным образованием в еврейской профессиональной школе для бедных (где передовые учителя учили девочек всему на свете, даже дарвинизму, но только не какой-либо реальной профессии), – просто не умела шить. Но, ради меня, надо ведь было как-то тянуться за профессоршей... Результатом маминых ночных бдений явился серый тюремный комбинезон, по которому редко-редко были нашиты кусочки кошачьего меха от какого-то завалившегося в шкафу воротника. Сзади болталась ляжка, призванная изображать хвост.

Когда ведущий сказал, что «около тех мест голодный рыскал волк», я, выполняя замысел режиссёра – Ириной мамы, с воём промчался по сцене, вызвав своим нарядом дикий взрыв хохота всего зала. Во время моего диалога с Ягнёнком зал про-

должал умирать от смеха. Впрочем, потом, переодевшись, я взял реванш искусным чтением стихотворения «Быть толстым – не просто!», подобранного специально для меня руководителем студии художественного слова Харьковского Дворца пионеров Александрой Ивановной Михальской. Поскольку я был толстяком, стихи эти, написанные автором со странной фамилией Ай от первого лица, воспринимались аудиторией как моя автобиография. Меня наградили бешеными аплодисментами. Петух Ирина в своём великолепном костюме сгорала от зависти...

Теперь о Марье Петровне. Это была маленькая, худенькая, очень некрасивая женщина с лицом морщинистым, как весенняя дряблая картофелина. Она жила в маленькой комнатке вместе с сестрой, очень на неё похожей. Я бывал у них иногда в доме и даже, пожалуй, любил свою первую учительницу – до одного памятного случая.

У нас в классе был мальчик – Алик Дубко, сын главного инженера Гипростали. С Аликом я немного дружил и даже ходил к нему в гости домой, где у него были младший брат Коля, сестра Лена, молчаливый, с «гитлеровскими» усиками бабочкой, папа и похожая на наседку мама, говорившие (вся семья до одного!) с акцентом на «О» и вместо «точно так же» – «так *а*мо».

С Аликом и его младшими братом и сестрой мы очень славно играли. Однажды построили из стульев прекрасный пароход и уплыли на нём в дальние страны... Словом, я у них в доме был своим человеком.

И вот как-то раз на перемене я подошёл к Алику и от избытка дружеских чувств, умилившись его симпатичной физиономией (а был он чрезвычайно мордастенький), стиснул эту самую мордашку в ладони, пробормотав что-то вроде:

– У-ти-такой!..

Но Алик неожиданно разгневался, оттолкнул меня и так обиделся, что даже слёзы брызнули у него из глаз. Я был озадачен, но быстро забыл этот маленький эпизод.

Утром в школьной раздевалке его мама, которая, как обычно, привела сына в школу, вдруг напустилась на меня:

– Ты зачем вчера ударил Алика?

– Я? Ударил??? – моему удивлению не было границ.

– Ну, да! Он тебя не трогал, а ты подошёл и ударил по лицу. Раздавил ему флюс. Он всю ночь не мог уснуть.

Я почувствовал жгучую жалость к Алику и хотел тут же оправдаться, объяснить, что я – не нарочно, что я не бил, что просто хотел потрепать по щекам – дружески, из симпатии... Но они (папа «так *само*» был тут) и слушать меня не стали. Пошли и наябедничали Марье Петровне. Заступиться за меня было некому: меня в школу не водили. А когда я потом рассказал обо всём дома, родители то ли не придали значения инциденту, то ли сочли за благо не связываться с главным инженером учреждения, в котором лишь недавно после всех передрыг стал работать отец...

Между тем как раз был пятый день шестидневки²⁸, и Марья Петровна, выдавая дневники, зачеркнула мне приготовленное «отлично» по поведению, а вместо него написала: «Очень плохо». Более того, вызвала к доске, поставила лицом к классу и заявила:

– Ребята, Феликс побил Алика Дубко и за это получил по поведению «очень плохо»!

Пытаюсь опровергнуть клевету, но меня не хотят слушать! Марья Петровна вызывает Алика, тот встаёт и подтверждает:

– Да, я стоял, никого не трогал, а он подошёл и ударил...

Моя вина «доказана», я уничтожен, плачу от горькой обиды и несправедливости, Марья Петровна с напряжённым лицом продолжает раздавать дневники, а Додик Баршай, худощавый, смуглый и большеглазый, говорит:

– Не плачь, Феля, – он ябеда-доносчик-курица-извозчик!

Так в нашем мальчишеском кругу клеймят ябедников. Но меня это не успокаивает: как же я принесу домой этот опоганенный дневник, где в графе «Замечания классного руководителя» чётким учительским почерком, ярко-красными чернилами написано броско и убедительно (синтаксис оригинала сохраняю):

«Побил мальчика по лицу, который его совершенно не трогал».

²⁸ В то время рабочая неделя была шестидневной, и выходные дни бывали 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го числа каждого месяца.

Конечно, я знал, что дома поверят мне и ругать не станут. Но всё равно плакал, потому что это была первая пережитая мною клевета.

Много лет спустя мне, уже взрослому, мама рассказала, что некоторые родители (может быть, и родители Алика?) одаривали Марью Петровну личными подношениями. Если так, то понятно, почему она поверила им, даже не попытавшись разобраться.

У меня сейчас нет претензий к Алику, ни – «так само»! – к его родителям, ни к убогой Марье Петровне. Я просто рассказываю правду. Скорее всего, мальчику и в самом деле показалось, что я его ударил: бедняге было больно. История, в конечном счёте, пошла мне на пользу: никогда после (исключая редкие случаи драки) я не лез руками к лицу других людей. Марии Петровне же, которая, по песне, «юность наша вечная, простая и сердечная», я даже благодарен: всё-таки, ведь это она научила меня писать.

Благодаря этому, я отправил-таки письмо т. Сталину, как только окончил школу. Я описал там «много замечательного, чудесного». И к адресату обращался на «Вы», и писал это «Вы» с большой буквы, как было предусмотрено за 10 лет до этого. Но содержание письма получилось совсем иным. Оно, видимо, больше напоминало по своему смыслу открытку, посланную когда-то ему же двенадцатилетней Марленой. Я объяснил товарищу Сталину, что мои родители арестованы по ошибке. В самом деле, разве могли совершить антисоветские деяния люди, которые дочь называли именами сразу и Маркса, и Ленина, а сына – именем железного рыцаря революции?!

Неотразимая аргументация! Но моего дорогого отца товарища Сталина она не убедила. Я получил из его канцелярии первый из тех казённых, словно не людьми писанных ответов, какие мне предстояло теперь получать в течение долгих лет...

Помню своё жестокое разочарование. Помню те солнечные, ясные, ужасные дни.

...Был сентябрь 1950-го. Я шёл с двумя пустыми кошелёчками от внутренней тюрьмы Харьковского управления МГБ (ул. Чернышевская, 23а) и очень радовался тому, что, наконец, через месяц после ареста родителей, у меня впервые приняли продуктовую передачу. Эту радость не мог омрачить даже казённый слог ответа из канцелярии Вождя.

Впрочем, я ещё не связывал наши беды с его именем. У меня в кармане лежала только что вышедшая в свет брошюра т. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которую я как студент первого курса филфака добросовестно изучал. Я спешил домой, чтобы засесть за брошюру.

Сентябрьское солнце золотило верхушки деревьев. Моему дорогому отцу, любимому Сталину, оставалось два с половиной года до последнего звонка.

Искусство и литература-2. Про шпионов

Когда я стал учиться в школе, одна девочка из нашего первого класса – Вита Диннерштейн – заболела дифтерией.

По этому случаю у всего класса взяли проверочные «мазки» из горла. «Палочки» обнаружили у меня одного. Я оказался *бациллоносителем*: сам не заболел (в силу врождённого иммунитета), но других заразить мог. Поэтому меня отправили домой и велели в школу не ходить, пока анализы не покажут отсутствие «палочки».

Ликуя, прибежал я из школы. Но был охлаждён пристрастным допросом, который мне учинил Виля.

– Откуда у тебя бациллы? – пристал он. Я не знал, откуда, и потому молчал.

– Ты что: с этой Витой целовался? – расспрашивал Виля.
– Ну, отвечай: целовался? Да?

Я твёрдо противостоял нажиму, не стал себя оговаривать, и брат отступил: «клубнички» не получилось.

Может, если б он меня побил, я бы и взял грех на душу. Но опыт следователей 1937 года был ему неизвестен. Дело давнее, и теперь бы я мог сознаться, однако вот беда: не в чем! Я и в самом деле к Вите не вожделел, зато несколько позже, во втором классе, у нас появилась хорошенькая Оля Бертолло – и я пропал! Впрочем, это была уже моя пятая любовь...

Пока что надо было лечиться. Меня направили в клинику уха, горла и носа на улицу Юмовскую, ныне – Гуданова, где надлежало медленно убивать мои палочки вдыханием хлорированного воздуха – кажется, минут по 50 ежедневно.

Делалось это в хлорной камере, коллективно сразу для группы больных. Но когда меня привели первый раз, то оказалось, что сеанс только что окончен, а новых компаньонов нет. Нас стали отсылать домой, мама ужасно огорчилась, и дяденька в халате – видимо, техник – её пожалел.

– Ну, ладно, заходи, – сказал он мне, состроив недовольную мину. Явно ему нужно было куда-то спешить, а мы помещали. С той же гримасой недовольства он распахнул тяжёлую, обитую железом дверь, какие бывают в газобезопасных и ещё, может быть, в тюрьмах, и весьма бесцеремонно втолкнул меня в полутёмное помещение.

Над круглым столом вполне накала горела где-то высоко под потолком тусклая электролампочка. Окон не было, только в стене, ближе к полу, виднелась круглая отдушина работающего вентилятора. Комната была наполнена гулом мотора. Пахло, как в уборной, где только что разбросали хлорную известь.

Техник подошёл к распределительному щитку, резким движением замкнул рубильник и стремглав выскочил из камеры, с шумом захлопнув дверь, – так быстро, что я не успел ничего спросить.

На столе были разложены газеты, журналы, но читать их в этой полутьме было невозможно. Я сел за стол и стал думать.

... Почему дядя такой сердитый? Почему он меня втолкнул? Почему ничего не сказал и выскочил из камеры?

Догадка осенила меня почти немедленно: он так себя повёл потому, что это – *шпион!*

О шпионах я знал всё. Им было посвящено стихотворение Сергея Михалкова:

*В глухую ночь, в крошечный мрак,
Посланцем белых банд.
Переходил границу враг –
Шпион и диверсант.*

*Он полз ужом на животе.
Он раздвигал кусты,
Он... (что-то там такое делал, а что –
не помню)... в темноте-
И миновал посты.*

Потом, втёршись в доверие к беспечным советским людям, враг принял вид обыкновенного гражданина, даже симпатичного. А тайно – шпионил и вредил.

Такой же мерзавец был заглавным героем небольшой, но захватывающей книжки «Дядя Коля-мухолов». Безобидный и тоже симпатичный с виду²⁹ дядя Коля, ловивший сачком насекомых, оказался тайным агентом белогвардейцев и фашистов и совершил нечто ужасное – или хотел совершить...

Запомнилось: в одном кинофильме (кажется, «Комсомольск») внутренний враг, раздвигая пшеницу (не раздвигать хоть что-нибудь они не могли!), идёт «что-то делать» – какую-то шкodu, конечно... Больше из фильма не помню буквально ни одного кадра!

Вражескими разведчиками густо населены произведения лучшего советского писателя для детей – Гайдара. Маленького Альку из «Военной тайны», вы помните, убивает брат кулака. Когда дети спросили, зачем такой печальный конец, писатель ответил: чтобы юные читатели знали правду о том, какой быва-

²⁹ Это была явная тенденция: делать «врагов» симпатичными. Даже сам Сталин в каком-то своём мудром высказывании об обострении классовой борьбы высказал мысль (гениальную!), что для маскировки классовый враг, принимая облик порядочного советского гражданина, должен время от времени делать что-нибудь полезное советской власти. Симпатичным был кулацкий сын – вредитель на шахте, герой снятого перед войной кинофильма «Большая жизнь» (1-я серия) – о нём даже говорили в том же фильме после разоблачения: «А песни какие пел...» («вредителю» нарочно, «для симпатии», вручили гармонь и заставили его петь «симпатичную» же песенку «Снят курганы тёмные...» – её распевала потом вся страна, что было, в общем-то, не вполне логично: подхватить песню «вредителя»?! Пусть даже и весьма советскую по содержанию...).

Но, мне кажется, во всём тут был продуманный расчёт: ведь преследования, в огромной массе случаев, были направлены против действительно симпатичных, открытых, исполненных высокой духовности людей. Вот и создавался в литературе, искусстве, а через них и в сознании массы, некий злобный стереотип: «Ага, ты симпатичный? А вот мы тебе не поверим!» Или даже так: «Человек приятный, обаятельный? Значит, гад!» (Примечание 1988 года).

ет борьба. Но любопытно: знал ли сам Гайдар в период тридцатых годов хоть один такой случай, – из жизни, конечно, а не из произведений другого писателя с богатым воображением – А. Я. Вышинского.³⁰

Всё это говорится лишь к тому, чтобы показать, насколько предвоенная детская литература была насыщена шпионами. При этом даже такой правдолюбец, как Гайдар, вынужден был умалчивать о правде истинной, а не выдуманной и дозволенной: о том, сколь опасна и, действительно, пагубна для сотен тысяч советских детей преступная деятельность авантюристов, упрятавших за решётку и пустивших в распыл массу безвинных людей.

В «Судьбе барабанщика» Гайдар первоначально намеревался показать коммуниста, пострадавшего от поклёпа или судебной ошибки. Вот таких примеров была, действительно, бездна. Но потом он сделал его преступником, оступившимся, правда, не на политической, а на уголовно-бытовой почве.

Первый вариант было бы невозможно опубликовать. Но сделать героем книги мальчика, отец которого – полити-

³⁰ Андрей Януарьевич Вышинский пришёл в ВКП(б) из меньшевиков. Занимал весьма высокие посты – в частности, генерального прокурора СССР, министра иностранных дел, советского представителя в ООН... В 30-е годы был государственным обвинителем на целом ряде фальсифицированных процессов. Автор «новейших» концепций, объявивших презумпцию невиновности «категорией буржуазного права», разрешающих применение «особых методов», т. е. пыток, к «врагам народа» и считающих признание подсудимого в преступлении «царицей доказательств». (Примечание начала 70-х гг.)

Предыдущий комментарий был написан, когда ещё не были обнародованы данные о том, что меньшевик Вышинский в 1917 г. отдал приказ об аресте Ленина... Это обстоятельство, известное, должно быть, Сталину, могло быть использовано для мощного шантажа, который и заставил Вышинского для собственного спасения стать тем, кем он стал: ревностным юридическим прислужником бесчеловечного режима. Недавно, посетив могилы у Кремля, я содрогнулся от возмущения, увидев вмурованную в Кремлёвскую стену плиту с надписью: «А. Я. Вышинский». Наш несчастный советский народ читит и своих палачей! (Примечание 1988 г.)

ческий враг, было бы ещё менее возможно... Вот и родилась тень, – не персонаж, а именно тень человека, нетвёрдого волей и духом, однако, в общем-то, хорошего. Таков отец «Бабанщика».

Но в одной или даже во многих книгах был идеализирован мальчик, отец которого именно и есть политический враг. Мальчик же идеализирован – и даже канонизирован, т.е. возведён в святые, именно за то, что донёс на своего отца. Этот мальчик – Павлик Морозов. Волнующей повестью о нём я зачитывался ещё в детском саду...

Итак, я был под огромным влиянием книг *про шпионов*. Одна из них так и называлась: «Шпион». Написал её друг Гайдара – Рувим Фраерман, писатель отличный, автор тончайшей и лиричнейшей «Дикой Собаки Динго, или Повести о первой любви». В «Шпионе» действовал странный корейский мальчик, будто бы прокажённый. На поверку выяснилось, что это вовсе не мальчик, а переодетый и загримированный матёрый японский самурай. Дело происходит в Приморье (где через десяток с лишним лет мне предстояло служить в армии!), там до войны было много корейцев (но я застал только следы их векового пребывания: купы насаженных ими тополей, глубокие оросительные каналы... Традиционное корейское огородничество было здесь совершенно разорено, только и шла слава о длинных огурцах и богатых урожаях, которые здесь снимали когда-то. Сами корейцы ещё до войны были отсюда выселены в Среднюю Азию за ... массовый шпионаж! Лишь недавно они были реабилитированы и стали опять (но уже их дети и внуки) огородничать, да ещё и по всей стране: мы теперь покупаем выращенные ими арбузы. Корейцы – пионеры арендного подряда, они его начали практиковать задолго до перестройки и Горбачева!)

Но вернёмся к «нашим» шпионам. Мудрено ли, что, будучи впервые лишён свободы (хотя бы и на 50 минут) и впервые оказавшись в камере (хотя бы и хлорной!), я немедленно создал в своём воспалённом мозгу образ некоего злого гения, которому поручено губить советских первоклассников.

Время тянулось невыносимо. Часов в камере не было. Мне показалось, что прошла вечность.

Тогда я стал стучать в кованую дверь. Через минуту-другую в «глазок» заглянул глазок. Техник вопросительно уставился на меня: в чём дело?

Я стал усердно жестикулировать, он подставил под «глазок» (точнее, это было крошечное окошко) свои часы, постучал пальцем по циферблату: мол, рано ещё! И отошёл. На мой повторный стук не отозвался.

Тогда я стал обдумывать план побега. Бежать, конечно, надо через вентиляционное окошко. Отломать от стула ножку, выломать вентилятор. А затем уж как-нибудь спуститься с третьего этажа по гладкой, отвесной стене...

Хорошо, что натура у меня скорее созерцательная, чем действенная. Пока я размышлял о подробностях и выбирал стул, время процедуры истекло, и «шпион» отпустил меня к маме. Во все последующие дни меня приводили вовремя, и я принимал процедуры в составе большой и весёлой компании бациллоносителей и прочих больных. Самым весёлым был «дядя Андрюша», который вскоре умер от рака горла.

Уже к концу моего лечения стала ходить и Вита Диннерштейн: здесь она долечивалась. Мы и на сей раз не целовались.

О «шпионе» я забыл. Но действие «шпионской» темы на мою душу продолжалось в течение десятилетий. Со жгучим стыдом вспоминаю случаи позднейшего времени.

В девятом классе, 16-летним парнем, я часто прогуливал школьные уроки. Учебные часы проводил в кино. Однажды весной сидел в сквере на Театральной площади, дожидаясь начала первого сеанса. Ко мне подсел молоденький лейтенант.

– Я из Германии, – словоохотливо сообщил он. – В отпуск приехал. Сейчас еду к брату. Сам-то родом из Марганца – из-под Никополя, слышал? В Харькове проездом. Ну, как у вас тут насчёт продуктов?

Не помню, что я промямлил ему в ответ. Сама собой всплыла в сознании схема: молодой иностранный разведчик, прошедший за рубежом специальный курс, выучил названия городов и теперь втирается в доверие, чтобы...

Через несколько минут я, внутренне охнув, уже точно определил: диагональ-хаки его новенькой формы – «не нашего» производства.

А парень между тем продолжал расспрашивать: он впервые в Харькове, хотел бы поглядеть на знаменитый ХТЗ – как туда проехать?

Тут уж доказательства налицо – надо звать милиционера. Но я никак не решаюсь – мешает всё та же созерцательность, да ещё боязнь попасть в смешное положение. А вдруг этот симпатичный паренёк – вовсе не шпион (хотя и симпатичный!)

Подошло время мне идти в зрительный зал, и он с большим сожалением расстался со мною. А я всё рефлексировал: надо было его хватать за полу или не надо.

Но это было всё-таки в отрочестве, а вот случай почти что сегодняшней.

Где-то в середине шестидесятых, работая на крупном оборонном заводе, ехал как-то утром в трамвае на службу, как вдруг какой-то иностранец – по виду индеец – стал меня расспрашивать, как доехать до этого завода. Я указал остановку, на которой и сам выходил, довёл до бюро пропусков – и немедленно позвонил из своего кабинета начальнику особого – «первого» – отдела (у нас повсюду спецотделы – «первые», то есть главные. И даже на несекретных предприятиях «первым» считается не производственный отдел, не плановый, не финансовый, а непременно тот – особый, где всё засекречивают. Тоже своего рода «шпионская литература»). Словом, я позвонил к этому самому начальнику:

– Николай Петрович, только что в бюро пропусков вошёл иностранец!

При этом – честное благородное слово, дорогие читатели: за всю жизнь, кроме вот этого конкретного случая, ни на кого не настучал. Возможно, здесь сработало желание продемонстрировать на всякий случай свою лояльность... Ведь кто-то мог же видеть, что я показываю дорогу иностранцу!

Психоз? Мания? А мы и есть сумасшедшие...

Николай Петрович сказал «Спасибо!», и я был доволен. О небо!

Но если уж каяться, то до дна.

Когда арестовали моих родителей, я знал, конечно, что они ни в чём не виноваты. Взаимное доверие, не нарочито,

а естественно культивированное в семье, одолело державную шпиономанию. Но она не так-то легко выпускает из рук свои жертвы. Были всё-таки моменты, когда я наедине с собой, словно в какой-то сумасшедшей игре, делал допущение: а вдруг всё-таки...

Это бушевали во мне доблестный Павлик Морозов, вся «шпионская» детлитература.

* * *

...Однако я должен дорассказать о поцелуях. Будучи уже взрослым парнем, я опять встретил Виту Диннерштейн. Она стала студенткой-медичкой. Явившись проведать сестру, родившую первенца (то было в середине ноября 1952 года), я неожиданно увидел Виту в вестибюле роддома. Поразительно, что мы с нею немедленно узнали друг друга, хотя расстались детьми.

Вита разговаривала со мною кокетливо, а я вёл себя на удивление самоуверенно, потому что у меня на голове впервые была шляпа. До этого, хотя мне уже исполнился двадцать один год, я шляпы никогда не носил и теперь ощущал её на голове как символ взрослости и уверенности в себе. Впрочем, шляпа была не моя, а моего друга, жившего у меня на квартире, – одессита Фимы Бейдера. Эту шляпу мы с Фимой носили посменно: утром – он, вечером – я. Но в связи с рождением моего племянника Жени мне шляпа была выдана на полный день – в качестве премии. Хотя она и придавала мне уверенности, но только в помещении, а на улице, наоборот, причиняла неудобства: она была мне мала (как, впрочем, и Фиме), и на ветру приходилось придерживать её рукой, чтобы не улетела. Но в роддоме ветра не было.

Казалось бы, столько поводов: новорождённый племянник, шляпа, встреча... Но мне опять не пришло в голову поцеловать Виту Диннерштейн. Что делать: на каждом шагу мне судилось упускать возможности...

Вот шляпа!

«Область государственных интересов Германии»

Наконец, последовал пакт с фашистами о ненападении. Фотоулыбки Молотова и Гитлера на запечатлевшем их встречу снимке, который поместила «Правда», вызвали особенно много недоуменных разговоров. Даже не столько разговоров (они в те годы были опасны), сколько выразительной мимики и недомолвок. Надо понять, что в советских газетах – скорее всего, из экономии – вообще мало публиковалось фотографий, в том числе и о встречах советских лидеров с зарубежными, а тут ещё не кто-нибудь, а сам Гитлер, внешность которого мы знали до тех пор только по карикатурам...

Отец нарисовал карту Европы.

Он начал её вычерчивать от нечего делать, когда сидел без работы.

Размечать государственные границы и раскрашивать страны акварелью пришлось уже после начала второй мировой войны. Поэтому Польшу отец даже не выделил в отдельную страну, закрасив половину – красным, а другую – коричневым.

Вскоре появились карты, изданные типографским способом. На них раздел Польши был обозначен не столь решительно. Восточная половина бывшей «Речи Посполитой» (Западная Украина и Западная Белоруссия) была, правда, тоже залита красной краской, но западная – покрыта мелкой коричневой сеточкой и снабжена надписью: *«Область государственных интересов Германии»*.

Видимо, такая формулировка диктовалась соображениями высокой дипломатии. Но мне, ребёнку (вспомним андерсеновского «Голого короля»), – мне она казалась циничной. Ведь (думалось мне) этак можно захватить любую страну и оправдать это «государственным интересом» захватчика.

Не примите такое рассуждение за случай ложной памяти, обусловленной позднейшими влияниями. Нет, я передаю ощущения десятилетнего ребёнка, как их действительно помню, и сам удивляюсь столь ранней своей проницательности.

Вообще, многое меня поражало. Например, ещё вчера слово Гитлер было синонимом всяческого злодейства. Мальчишек, которых незадачливые родители нарекли в конце двадцатых – начале тридцатых годов «красивым иностранным именем» Адольф, бывало, задразнивали до слёз. А теперь вдруг печать стала именовать его уважительно: «государственный канцлер Германии Адольф Гитлер, выступая вчера в рейхстаге, подверг критике агрессивную политику англо-американского империализма...». Сообщения о победах германского оружия подавались в сочувственном тоне.

Изумляло откровенное злорадство, которое слышалось в часто повторяемой фразе: «Панская Польша перестала существовать как самостоятельное государство». Конечно, с одной стороны, понятно было, что радостное ударение делается на слове «панская», но ведь разрушила-то её *фашистская* Германия! Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии воспринималось как радостное событие, но беспокойство вызывала мысль: а вот столкнутся друг с другом встречные войска – что тогда? Между тем, сколько помнится, инцидентов не возникало...

Труднее всего это всё постичь было нам, детишкам. Слово фашист в детских садиках было самым сильным ругательством, придумывалось и повторялось множество всяких дразнилок и считалок, где фашистская Германия всячески высмеивалась. Например, стихотворение «Быть толстым – не просто», которое я читал со сцены под благосклонные аплодисменты любой аудитории, заключало в себе такой пассаж: герой – мальчик-толстячок, от имени которого написан стишок, мечтает: сяду в самолёт, поднимусь под облака, выпрыгну оттуда с парашютом – и своим собственным весом –

Всех фашистов раздавлю!

Как же теперь надо было относиться к фашистской Германии?!

Однажды маленький Игорёк Сазонов – мой трёхлетний двоюродный брат – стал скандировать перехваченный где-то стишок (существовавший ещё со времён первой мировой войны, но слово «немец» в последние годы позднее заменили на «Гитлер»):

*Внимание! Внимание!
На нас идёт Германия!
А Гитлер – ни при чём:
Торгует кирпичом.*

– Замолчи, Игорь, – прикрикнула на несмышлёныша его старшая сестра – шестилетняя Светка. – У нас теперь с немцами дружба!!!

Как раз в то время я читал отличные, вкусные детские книжки «Карл Бруннер» и «Генрих продолжает борьбу». Это были книги немецкого политического эмигранта-коммуниста о фашистской Германии. Дома у нас хранилась замечательно изданная книга «Губерт в стране чудес» – о том, как немецкий мальчик из гитлеровской Германии приехал в СССР. В ней сохранилась уничтожающая характеристика гитлеровцев. Начитавшись этой литературы, очень сложно было взять в толк: как же можно *дружить* с такими разбойниками?!³¹

Финская война принесла с собой очереди, нехватки, дороговизну. Видно, туго пришлось родителям нашим, не сходились концы с концами, и они решили взять квартирантку. Пришлось нашей семье потесниться и жить в двух комнатах – третью же заняла Роза Мироновна Шехтер – феноменально тучная старуха.

У жены моего дяди Лёвы был брат, Роза Мироновна была матерью его первой жены³². Квартирантка явилась смотреть комнату – мы с Вилей (он ещё жил у нас) явились смотреть квартирантку. Залезли под письменный стол и тряслись там от смеха: так поразили нас её габариты.

Она и в самом деле была невероятно толста. Заполняла собою всё огромное барское кресло, которое привезла среди

³¹ *Откуда было мне знать, что немецкий пионер Губерт, чей портрет был так искусно намечен точками с натуры на одной из книжных вкладок знаменитым художником Борисом Ефимовым (соединив пронумерованные точки линией – на бумаге возникнет улыбчивая мальчишечья физиономия), – что этот Губерт, взхлёб расхваливавший в книге «страну чудес» – СССР, – эмигрировав туда из нацистской Германии, попадёт ... в сталинский концлагерь. (Примечание 1988 г.)*

³² *И родной бабушкой известной журналистки Ирины Бабич, ныне живущей в Израиле. (Примечание 1993 г.)*

прочей мебели. В трамвае брала себе два билета, с тех пор как одна кондукторша раскричалась на неё за то, что, занимая два места, она уплатила только за одно. Не стыдясь меня, расхаживала по квартире в панталонах и лифе. И я размышлял: будут ли её две ноги, взятые вместе, соответствовать толщине одной ноги слона?

Мама говорила, что Роза Мироновна – бывшая буржуйка, *настоящая*, и это укрепило мой интерес к ней: буржуев я в стране уже не застал...

Бывало, Роза Мироновна заходила к нам поговорить по телефону. У нас в комнате, напротив письменного стола, где стоял телефонный аппарат, висел на стене огромный, в широкой раме из пробкового дерева, портрет Сталина. Вождь, фотографируясь, смотрел прямо в объектив, поэтому, куда бы вы ни сели, хитрые и умные глаза генсека были устремлены прямо на вас. Роза Мироновна любила поговорить с отцом народов – и ничуть с ним не церемонилась.

– Сталин-шмалин, – дразнила она его, – смотришь на меня, бандит... Чего ты смотришь? Расстрелять хочешь? Ну-ну, попробуй...

Я немел от такой дерзости, но, придя в себя, вступал в спор: Сталин – вождь советского народа, он принёс нам счастливую жизнь. Но Роза Мироновна не уступала:

– Кто её знает, счастливую жизнь? Ты её знаешь? Ты её видишь? Вот я – ДА знаю! Вот я – ДА видела! Ах-ах-ах, вэй из мир!³³ Как жили! Как жили!

И, опять воззрившись на лик кремлёвского властелина, задушевно спрашивала его:

– Ну, скажи: сколько ты людей пострелял, газлн³⁴? У, бесстыжие твои глаза!

Иногда к ней приходила с ночёвкой внучка – дочь её дочери Веры и профессора «Бобы» Бабича (недавно я видел его портрет в галерее выдающихся основателей клиники ортопедичес-

³³ *Вэй из мир (идиш)* – непереводимое еврейское восклицание, примерно означающее «Увы мне!»

³⁴ *Газлн (идиш)* – от «газлан» (ивр.): *грабитель*. (*Примечание 1993 года*)

кого института на Пушкинской, угол Юмовской). Через стенку нам было слышно, как Ира (ей было лет 11 – 12) восклицает форсированным театральным голосом:

– Ах, бабушка! Как я рада! Что, наконец! Лягу! На твою! Высокую! Постель!

(Ирина Бабич стала довольно известной журналисткой, не раз печатала очерки и статьи в «Известиях» на «моральные» темы. Потом, году в 79-м, задумала уехать с семьёй за рубеж, а тут как раз перестали *выпускать*, и она очутилась в отказе.³⁵

Как-то вечером мы отправились к Сонечке Злotoябко на семейное торжество: дяди Ёнина тётя Поля запоздало выходила замуж. На этой нешумной свадьбе должен был состояться «семейный совет» по поводу Мили Злotoябко: куда ему поступать учиться после школы? Он только что окончил десятилетку и где-то гулял с товарищами, поздно вечером возвратился домой. Шли какие-то разговоры, споры: идти ли ему в военное училище или рядовым – на срочную службу... Произносились тосты, звучал смех...

Домой мы вернулись в два часа ночи. Впервые я лёг спать в такое недетское время и был очень горд этим.

Ночь плыла за окном, вся в сполохах дальних зарниц – тёплая-тёплая... Самая короткая ночь столетия:

было 22 июня 1941 года.

³⁵ *Недавно она уехала со всей семьёй, включая престарелую маму – Веру Эммануиловну, которую, говорят, к поезду несли на носилках. (Примечание 1988 года). В Израиле мы с Ириной Бабич встретились и возобновили знакомство: через... целую жизнь! (Примечание 2003 года).*

Intermezzo-3

КАВУНЫ

*До войны, в далёком малолетстве,
Слаще мне казались кавуны:
Оттого ль, что было это в детстве,
Или оттого, что – до войны...*

*Нынче ем арбуз без интереса,
Говорю угрюмо: «Как трава...»
А сынишка – уплетает с треском:
По уши увязла голова.*

*Отчего же так он непосредствен?
Отчего с таким восторгом ест он
Эти травяные кавуны?*

*Оттого ль, что ест их в сладком детстве?
Оттого ль, что ест их... д о в о й н ы?*

Глава 4

«Необыкновенное лето»

22 июня 1941 года

Вернувшись со свадьбы поздно ночью, мы на следующее утро вставать не спешили: воскресенье!

Счастливое позднее пробуждение... Наша детская, выходящая окном на восток, залита утренним светом. Сестра уже не спит и, насупившись, читает в постели Достоевского – книгу под странным для меня названием «Идиот». Видно, невесёлые там вещи описаны, потому что лицо у неё слишком серьёзное, огорчённое, а я – весел, беспечен и очень горд тем, что впервые в жизни лёг спать далеко за полночь.

Но – чу! – в чёрной тарелке звучит голос московского диктора: «В 12 часов выступит по радио народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов... Работают все радиостанции Советского Союза!»

Вот интересно! Такого тоже ещё никогда не бывало! С нетерпением жду. Но тут раздаётся звонок телефона: это – моя ровесница Эльза, дочь папиной сотрудницы Розы Борисовны. Большеглазая, ласковая, привязчивая девочка – наши семьи дружат, и мы, когда родители берут меня с собою к ним в гости, всегда находим с нею общий язык. Её мама, Роза Борисовна,

работает в Гипростали заведующей техническим архивом, а папа, Иосиф Айнгорн, – на каком-то заводе. Роза – коммунистка и даже, кажется, секретарь парторганизации Гипростали, но я, конечно, этим ещё не интересуюсь и не знаю, что в жизни родителей эта женщина сыграла (и ещё сыграет) заметную и благородную роль: в самом начале новой папиной службы пресекла чьи-то попытки выразить недоверие к нему как к «бывшему троцкисту», не побоялась завязать (и позже не побоится поддерживать) личные дружеские отношения с нашей семьёй... Но об этом я узнаю много лет спустя. А сейчас...

– Эльза? Ты, наверное, хочешь сообщить о выступлении Молотова? Что? Вы ещё не знаете?! Включите скорее радио: сейчас Молотов будет выступать! Работают все радиостанции Советского Союза!

Да, они ещё ничего не знали... Да ведь и мы – тоже. Не знали о том, что сейчас должен прозвучать смертный приговор 20-и миллионам советских людей, а среди них и Эльзиному папе: в 42-м Иосиф Айнгорн попадёт в немецкий «котёл» во время неудачной для Красной Армии Изюм-Барвенковской операции и там пропадёт без вести...» Коммунистен, политкомиссарен унд юден – выйти из строя!» Пиф-паф – и готово: уж какая там «весть», и так всё ясно! И останется наша ласковая Эльза без любимого папы...

*Как мудро, что люди не знают заранее
Того, что стоит неуклонно пред ними!*

(Маргарита Алигер)

Через пять минут Молотов сказал то, что он сказал, и я пришёл в полный восторг: наконец-то – война!

Безмозглый мальчишеский энтузиазм... В крайнем возбуждении бегу поделиться радостью с Розой Мироновной – нашей квартиранткой. Вбегаю в её комнату, в мир выпестованных её руками салфеточек, накидочек да искусных вышивок – и останавливаюсь, поражённый: и «бывшая буржуйка», и деревенская девочка – её прислуга, – обе плачут навзрыд!

Ох, уж эти взрослые... Понять меня может только мой *старый* (ещё времён детсада) друг Вова Скороходов. Благо, живёт в соседнем доме. Вот уж с кем я отвёл душу! Мы с ним уже давно обсудили весь ход будущей войны. Не думаю, что-

бы наши планы и ожидания сильно расходились с планами и ожиданиями тогдашнего генштаба Красной Армии. Нам в этом помогли советские песни той поры: «Эх, бей, винтовка, метко-ловко, без пощады, по врагу! Я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу»; «Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим!»; «Полетит самолёт, застрочит пулемёт... и помчатся лихие тачанки»; «Гремя огнём, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведёт». Победа выглядела в песнях и кино как весьма простое и легко достижимое дело.

Вместе с Вовой Скороходовым мы стояли на улице у его подъезда и слушали, что рассказывает группе домработниц и домохозяйек какой-то словоохотливый милиционер:

– Сейчас, – важно говорил он, – к нам в «район» (то есть, в райотдел милиции) пришло донесение: наши войска продвинулись вглубь Германии на три километра» (он сделал ударение на «о»).

– !!!

Я побежал домой – поделиться радостной вестью.

Во второй половине дня мы с папой ходили к тётке Вере Росман на Гоголевскую. У них – у единственных из всей родни – был радиоприёмник: вытянутый вверх ящичек с крошечным окошечком на передней панели, по которому движением колёсика перемещалась катушка шкалы. Рассчитывали услышать хоть какие-то новости, но приёмник изрыгал лишь бравурные марши.

Возвращаясь домой, попали под дождь. Спрятались под козырёк аптеки, вместе с гурьбой других людей. Папа каламбурил: «Подождём под дождём – и пойдём под дождём!» Гремела гроза, небо раскалывалось в свете молний, ливень наклонными струями хлестал по лицу... Какая-то женщина удовлетворённо сказала: «Такой дождь – к счастью!»

Первый день войны был ещё для нас днём мира.

Как наш папа участвовал в Великой Отечественной войне

23 июня на рассвете папе принесли повестку о мобилизации. Радость его была безгранична: призывают – значит доверяют! Сама жизнь давала ему в руки шанс доказать преданность партии, правительству и лично товарищу Сталину.

Родителям было ясно: чтобы использовать этот шанс, надо поступиться личным счастьем, интересами своей семьи и тем относительным покоем, который только-только налажился. Никаких слёз, вздохов, опасений, сожалений! В доме царила обстановка спокойная, торжественная и даже праздничная.

– Сынок, я иду на войну! – не без грустинки, но и с гордостью объявил мне отец, когда я по давнему обыкновению вошёл утром в родительскую спальню. Для меня это было радостное сообщение!

Мама уехала на работу, и папу к троллейбусу провожали мы с Вовой Скороходовым. По дороге и на остановке папа сказал мне всё, что в таких случаях говорят отцы мальчикам, то есть, что теперь в доме я – единственный мужчина и должен...

Троллейбус умчал папу на войну, а мы с Вовой пошагали по Сумской к центру и так увлеклись обсуждением блестящих перспектив Красной Армии в начавшейся войне, что, сами того не заметив, дошли до Дворца пионеров на площади Тевелева. До сих пор мне на такие расстояния ходить пешком без взрослых не полагалось.

Я уже начал чувствовать себя мужчиной, как вдруг вечером папа позвонил по телефону: он никуда не уехал, находится пока на сборном пункте недалеко от Южного вокзала, отлучиться нельзя, а вот мы к нему можем приехать.

Наутро вдвоём с мамой отправились в 13-ю школу на ул. Карла Маркса, где помещался сборный пункт. Сотни мужчин с котомками и чемоданчиками ожидали там решения своей судьбы. Поминутно формировались и отправлялись команды. На улице из чёрного рупора с квадратным раструбом раздавался голос, читавший речь Черчилля, выдержанную в дружественных к Советскому Союзу тонах. Премьер Великобритании го-

ворил об общности целей в борьбе с нацизмом, о том, что его страна поможет Советской России.

Я вышел из здания школы погулять. Напротив находилась тюрьма. Внизу за зарешеченным окном в пустом помещении я увидел мужчину, сидящего на стуле. «*Сидит!*» – подумал я и вспомнил о дяде Лёве...

Три дня подбирали папе назначение – и всё никак не могли найти подходящее. Наконец, назначили день отправки, и мы пошли его проводить к обыкновенному пассажирскому поезду Крымского направления. Меня это разочаровало: фронт был совсем в другой стороне!

Вскоре папа позвонил из Керчи и стал оттуда с нами разговаривать по телефону регулярно, что создавало иллюзию мирной жизни. Через некоторое время прислал фотокарточку, на которой выглядел совсем непривычно из-за того, что одет был в военно-морскую форму. Со снимка глядел на нас молодой, подтянутый моряк в капитанской фуражке с «крабом», в командирском кителе, но... без единого знака различия. Это может показаться мелочью, но за ней скрывалась суть дела.

Папа был в 1936 году уволен из армии в звании полкового комиссара. Оно соответствовало полковничьему, но относилось к политсоставу. Однако, будучи исключён из партии, он не имел никакого шанса получить назначение на политработу в войсках и, следовательно, на возвращение прежнего или присвоение любого другого звания в этой области. А быть аттестованным на полковника мешал недостаточный для этого звания уровень чисто военной подготовки. Она была на порядок ниже и соответствовала, примерно, уровню командира батареи или дивизиона.

Но к тому, чтобы понизить в звании, формальных оснований не было. Как видно, призвали его сгоряча, в суматохе первого дня всеобщей мобилизации, а потом растерялись: куда же его, собственно, девать?

Нужды нет, что сокрушительные удары захватчиков в первые же дни войны лишили нашу армию многих опытных командиров; что у таких, как отец, был определённый опыт манёвров и стрельб (а у некоторых – и боевой опыт участия в военных действиях времён гражданской войны, пограничных конфликтов и

столкновений); что уж, во всяком случае, у них была за плечами командная практика, теоретические знания, тактическая и техническая подготовка; что они хотели, а точнее сказать – жаждали доказать свою преданность Родине и рвались в бой...

Всё это так, но... как бы чего не вышло! Вдруг «троцкист» сдаст полк или батарею врагу?

Вот почему и было решено направить «троцкиста» в тыловое училище на административную службу. Не утвердив ни в каком определённом звании, обозначив в документах лишь должность, его направили в Керченское военно-артиллерийское училище береговой обороны – заместителем командира по учебной части.

А теперь подумайте: «троцкист» на посту заместителя начальника училища – разве это не цедура? Могло ли такое исполниться?

Вот почему скоро обнаружилось, что в училище уже есть один замнач по учебной части. Или – что таковой там вообще не нужен. «Так что вас, товарищ Рахлин, прислали ошибочно. Поезжайте в округ – в Симферополь: пусть там разберутся».

Но в штабе Крымского военного округа «разбираться» не захотели. Там рассудили просто: пусть кашу расхлёбывают те, кто её заварил – работники Харьковского облвоенкомата, это они прислали к нам такого странного человека: сухопутного – во флот, беспартийного – на командно-педагогическую должность, комиссара – без партбилета, артиллериста – без строевого звания...

Однажды в конце июля или в августе, когда я был один дома, зазвонил телефон. Обычными, редкими, отнюдь не пронзительно-сплошными «междугородными» сигналами. В трубке я неожиданно услышал голос отца.

– Папа! – задохнулся я от радости и неожиданности, – ты звонишь по прямому проводу? – (Я знал о существовании такого вида связи).

– Нет, сынок, – ответил папа, – я в Харькове, на Южном вокзале. Звоню с автомата. Сейчас приеду домой.

Так закончилось «участие» нашего папы в Отечественной войне. Да, это была Великая война. Но недаром сказано: от великого до смешного... И – до грустного тоже!

Однако папу в те дни ещё не демобилизовали. Он всё-таки надеялся на боевое назначение, и никто его в этой надежде не разуверял. Каждый день, как на службу, отправлялся «бывший троцкист» в военкомат. Он числился там «за кадром» и всё ждал, ждал. Просил отправить его, наконец, на передовую... Но каждый день ни с чем возвращался домой.

А немцы, тем временем, заняли добрую часть Украины, всю Белоруссию, всю Прибалтику и с каждым днём захватывали всё новые и новые города.

А между тем, в именных списках Красной армии «бывший троцкист» числился по разряду старшего командного состава, получал довольствие всех видов и имел право предоставить своей семье денежный аттестат.

Государственная глупость, государственная перестраховка пересилили государственную необходимость и здравый смысл.

Спору нет, для нашей семьи, для жизни нашего папы, а, возможно, и для моей собственной, такая глупость социалистического государства оказалась спасительной. Из призванных в первые дни войны «немногие вернулись с поля». Отчего же во мне живёт какая-то оскомина, чувство обиды за отца, за Родину, имевшую в то время столь недалёких, плоско мысливших вождей?!

А папа всё ходил и ходил в этот свой военкомат – отмечаться... Наконец, выпросил себе временное поручение: какое-то воинское училище передислоцировалось в Махачкалу, необходим был начальник эшелона.

Утром 5 сентября (я так чётко помню эту дату потому, что накануне вечером была первая бомбёжка Харькова) мы провожали его. Эшелон стоял на товарной станции. Отец, сменивший флотские китель и клёши на своё излюбленное армейское хаки, перетянутый португеей, с кобурой на боку у пояса, из которой выглядывала рукоятка пистолета, очень нравился мне. Он энергично ходил вдоль эшелона, отдавая какие-то распоряжения, потом надолго исчез, а вернувшись, наскоро расцеловал меня, Марлену и маму и велел идти домой. Мы ушли, не дождавшись отправления состава.

Дней через десять папа вернулся – усталый, худой, изнурённый. Привёз с Кавказа два огромных арбуза, ящик виног-

рада и несколько коробок шпрот. Арбузы и виноград мы съели, а шпроты мама спрятала «на чёрный день», о чём после всю жизнь жалела, а почему – скоро узнаете.

Папина командировка оказалась не из лёгких: один из черновых, мелких эпизодов войскового быта – без героизма, без грозных опасностей, но и без единой спокойной минуты. Ругня с железнодорожными властями, добывание продуктов для личного состава, организация питания, помывки... Кто-то напился, кто-то кого-то подрезал, надо разоружать, сажать на гауптвахту... Но не этим был недоволен «бывший троцкист», а единственно тем, что командировка закончилась, и вновь начались хождения в военкомат – и опять всё без толку: на фронт упорно не пускали.

Более того, пошли слухи, что всех «бывших» вместе с семьями будут выселять из Харькова «на периферию» – например, в Купянск (название запомнилось потому, что об этом городе в 125 километрах к востоку от Харькова вообще шло много разговоров: там немцы сильно бомбили эшелоны с беженцами).

Слухи о выселении мама обсуждала с тётей Раей, обе были удручены. Присутствуя при их разговоре, я, как сейчас говорят, «притворился шлангом» – на самом-то деле мне кое-что уже было известно: я догадывался, «на чём сидит» дядя Лёва. Однако я воображал, что предполагаемое выселение касается только его семьи – о том, что и наша тоже на подозрении, мне пока известно не было.

Но вот мама, забыв о моём присутствии, повысила голос и с сердцем, со слезой в голосе воскликнула:

– Если б я не была исключена из партии!..

«Ага!» Ещё не осмыслив подслушанную невзначай новость, я её намотал на несуществующий ус.

Вошь и жид

Итак, война ускорила моё осознание мира. Можно было бы привести целый список ценнейших сведений, которые дополнили мой интеллектуальный багаж за одно только «необыкновенное лето» сорок первого года. Взрослым было не до нас, и

мы, предоставленные себе, сверстникам и старшим детям, интенсивно взрослели.

Шестиклассник Эма Мацкевич, сын маминой сотрудницы, раскрыл мне тайну зачатия детей.

– Эма! Так это правда? А я думал – *пацанская болтовня!* – Я был потрясён. Эма посмотрел на меня свысока и снисходительно, и этот взгляд меня доконал: мне стало ясно, что способ, который мне казался наименее солидным для столь ответственного дела, на самом деле и вправду применяется, да ещё и как единственный и незаменимый!³⁶

Ещё одним «приобретением» была матерщина. Как-то раньше я не обращал на неё внимания, да и слышал редко. А тут вдруг в Лесопарке, в пионерском лагере дневного типа, куда в августе устроили меня родители, услышал заклинания старшеклассника, рубившего ветки только что поваленного дерева:

– (Хлоп!) мать! (Хлоп) мать! – остервенело приговаривал он в такт ударам топора. Местоимение он опускал, так что непонятно было, о чьей матери идёт речь. Но содержание действия, заключённое в охальном словечке, мне уже было знакомо по «пацанским» рассказам, и конкретное значение повторяемой брани внесло некое смятение в мою душу.

И ещё одно открытие изумило меня. Как раз тогда я прочёл «Ташкент – город хлебный» Александра Неверова. Герой этой повести Мишка, деревенский мальчик, из своей русской деревни времён разрухи начала двадцатых годов отправился на заработки в Среднюю Азию. По дороге в поезде, в товарном вагоне, он пьёт кипяток без сахара. «Как можно? Ведь это несладко!» – подумалось мне. В магазинах ещё не переводились все продукты, но уже начались разговоры, что может разразиться голод, и я решил устроить репетицию: набив сдобной булкой рот, стал тянуть через неё несладкий чай и пришёл к выводу, что – ничего, вполне приемлемо. Если, конечно, булочка – сладкая...

Из остальных открытий подробнее остановлюсь на двух.

Хотя у нас жила уже квартирантка со своей домработницей, чуть ли не на второй день войны явился тихий молодой че-

³⁶ В то время о клонировании ещё не писали в популярных изданиях. – *Примечание 2001 г.*

ловец и предъявил ордер на *уплотнение*. Ему поставили койку в одной из комнат. Но на этом уплотнение не кончилось – лишь перешло в стадию *самоуплотнения*.

В Харькове стали прибывать беженцы, Явились и какие-то папины дальние родственники Ида и Гриша – жена и муж. Остановились у нас. Гриша читал мне вслух Беранже. Перевод с французского звучал в его исполнении с основательным еврейским акцентом – вместо «пришёл к королю» у него получалось «...ик королю». Ида была рыжая. Больше ничего о них не помню. Оба к тому времени уже хорошо хлебнули из чаши беженского быта.

И вот...*грешу на Гришу* (а также *иду на Иду*, хотя, как писал лермонтовский герой, «дурной каламбур – слабое утешение для русского человека»): у меня вскоре стала чесаться голова. Однажды вычесал ногтем из своих волос крошечное насекомое. Стал его рассматривать: светленькое, с тёмным пятнышком на спине, оно торопилось уползти. Вспомнив Неверова и его Мишку, я заподозрил, что это – вошь. А раз так, то давить её надо ногтем, как описано в «Ташкенте...»

Но сноровки у меня не было, я её еле задушил – и положил на зеркальце, оставив отражаться там всеми лапками до прихода мамы.

Мама, едва глянув, послала меня в парикмахерскую – остричься наголо, «под нуль»: шестиногая скотинка ей была хорошо известна ещё со времён военного коммунизма.

Пока меня стригли, я чуть не сгорел от стыда: по простынке, которой накрыл меня мастер, из моих остриженных волос распозались в разные стороны крупные вши...

Вскоре мне пришлось пережить ещё более сильное впечатление.

Я уже упомянул, что в августе почти целый месяц ездил в дневной пионерский лагерь. То был один из последних островков мирной жизни в разбушевавшемся море войны. В Харькове было, собственно, два таких островка: в Парке (возле которого мы жили) и в Лесопарке (туда надо было ехать трамваем ещё несколько остановок). По одному из основных трамвайных маршрутов пускали специальные поезда – только для детей. Отличительным знаком «паркового» лагеря был прямоуголь-

ный флажок, «лесопаркового» – треугольный (иногда даже просто сложенный вдвое пионерский галстук). Детская чья-нибудь рука выставляла флажок из трамвайного окошка, и дети, ожидавшие на остановках, различали, чей трамвай, и садились только в свой. Так бывало каждый год, но этим летом всё воспринималось иначе: трамвай словно увозил нас из войны – из обстановки, наполненной охами, вздохами, а в конце августа – уже и воздушными тревогами.

Я был определён в лагерь «лесопарковый» и каждое утро уезжал туда на спецтрамвае. В пионерлагере всё было, как в мирное время, а кормили даже лучше, чем до войны, – возможно, старались не оставить продукты немцам. Впрочем, о том, что наш город будет оккупирован, никто пока не говорил. Харьков ещё не бомбили, только иногда объявляли «тревоги», но к ним все привыкли и спокойно смотрели на висевший высоко в небе немецкий разведывательный самолёт. Иногда его пытались достать зенитки, раздавались хлопки выстрелов и разрывов. Но самолёт продолжал спокойно кружить над городом на недосягаемой высоте.

Детям в лагере жилось мирно и весело. И мне – в том числе. Лишь один, но очень памятный случай нарушил для меня спокойное очарование этого месяца.

Среди мальчиков нашего отряда был мордатенький, курносый Миша. Как-то в игре мы с ним поссорились, и он вдруг выпалил мне в лицо:

– *Жид!!!*

Я опешил. Значение этого слова было мне известно из книг и – немного – из рассказов мамы о погромах. Незадолго перед тем прочёл превосходную книжку «Марийкино детство», где затронута эта тема, подёрнутая для меня исторической, дореволюционной тинной. Ни с еврейством, ни с антиеврейством я за свои 10 лет практически не встречался. Знал, что мы – евреи, слышал из уст мамы идиш, еврейские песенки, но никаких эмоций на сей счёт, ни положительных, ни отрицательных, пока не испытывал.. И вот вдруг в наше, советское, время, наш, социалистический, ребёнок, юный пионер, ленинец, говорит мне решительно и вызывающе:

– *Жид!!!*

Я знал, что делать. Если бы он обругал меня как угодно иначе (хотя бы и слышанным мною накануне *матом*), мне бы и в голову не пришло так смертельно обидеться. Но тут речь шла о *политическом* проступке, и это мне было хорошо понятно. Вот почему я немедленно рассказал о случившемся отрядной воспитательнице, а она – старшему пионервожатому и начальнику лагеря.

Начальника лагеря звали Адель Наумовна, а старшего вожатого – Ной Маркович. Вдвоём они быстро убедили несознательного Мишу в том, что евреи – такие же люди, как и он сам, и что нельзя их называть «жидами». Проникшись этой идеей, Миша просил прощения и сказал, что *больше не будет*.

Об этом инциденте я рассказал и своим родителям. Боже, как они расстроились!

– Разве могло нам прийти в голову, что такое будут слышать и наши дети?! – говорила мать отцу со слезами на глазах.

Вскоре, примерно в сентябре, немецкий самолёт разбросал листовки. Я не решался их подбирать (меня останавливало чувство сознательности, политической дисциплины, да и по радио раздавались призывы к населению «не верить лживой вражеской пропаганде»), но Эмка Мацкевич всё-таки поднял с земли одну из бумажек. И вот перед нами настоящая фашистская листовка³⁷. Какая черносотенная сволочь писала этот донельзя примитивный, корявый текст?! На лицевой стороне в виде «шапки» красовался лозунг:

*Бей жида политрука –
Просит морда кирпичка!*

Под этим двустушием, скреплённым столь «богатой» рифмой, – серия рисунков, последовательно изображающих предполагаемое пробуждение антисемитского сознания советского бойца.

Вот «жид политрук» с характерным еврейским носом, притаившись за углом, направил пистолет на русского Ивана и гонит его в бой.

³⁷ Довольно подробное описание этой листовки дал в своём документальном романе «Бабий Яр» Анатолий Кузнецов. Но мне запомнились и такие подробности, о которых он, кажется, не упомянул.

А вот Иван повернул винтовку против жида, и перепуганный жид выронил пистолет. На следующем рисунке Иван бьёт политрука по его поганой еврейской роже кирпичом, которого эта рожа давно просит. Кажется, Иван там ещё и втыкает штык своей винтовки прямо в жидовское сердце политрука. И вот, наконец, Иван предъявляет пропуск – ту же листовку – чистенькому, приветливо улыбающемуся немецкому солдатику.

На обороте – обращённые к советским солдатам разъяснения: германская армия пришла-де их освободить от жидо-большевиков, и каждому, кто добровольно сдастся в плен, немедленно будут выданы надел земли, корова и, кажется, лошадь. Нужно только предъявить напечатанный ниже пропуск любому немецкому солдату и сказать ему в качестве пароля всё ту же замечательную поэтическую фразу:

*Бей жида политрука –
Просит морда кирпича!*

Предполагалось, по-видимому, что этот стишок понимают и помнят все солдаты вермахта...

* * *

От вшей мы избавились лишь после войны, да и то не сразу, а лишь когда окончился голод. Сытого человека они выплёвывают...

Есть слух, что сейчас некоторые тёмные люди, помешанные на псевдонародной медицине, подолгу ищут, где бы достать хоть одно такое насекомое: чтобы вылечиться, например, от инфекционной желтухи, надо, якобы, съесть (!) вошку! И – едят... А достают – у церковных нищих, покупая (цена 1972 года) по 15 рублей за штуку.³⁸

Что же касается титула «жид», то это у нас всегда бесплатно.

³⁸ *Через 10 лет цены возросли вдвое. Сколько же будет стоить лечебная вошь через 1000 лет? – Примечание 1980 г.*

Тревоги

Сначала был приказ о затемнении. Соблюдать его требовалось безоговорочно и буквально.

Харьков расположен от границы довольно далеко, он находился пока что вне пределов досягаемости для немецких бомбардировщиков. Но строгости были введены сразу же, буквально на второй день войны, и за их соблюдением особенно рьяно следили домашние хозяйки и дети. Бывало, стоит кому-то неплотно зашторить окно, как толпа баб и ребятишек поднимает во дворе страшный гвалт. Кто-нибудь бежал стучать кулаком в дверь нарушителя, и шум угасал лишь тогда, когда перепуганные хозяева либо устраняли дефект затемнения, либо гасили свет. В погружённом во мрак городе любая щёлочка света, действительно, издали бросалась в глаза. Однажды кто-то из нашей семьи по ошибке включил свет в одной из комнат днём, а потом мы все ушли. Какой хай поднялся во дворе с наступлением темноты: не щёлочка, а целое окно ярко светилось в первозданной темноте. Когда мы вернулись, нас чуть не растерзали.

Но такая рьяная бдительность, по-моему, не слишком помешала немцам, когда они начали бомбить город. Слабо помогли и полоски бумаги, крест-накрест, как в нынешнем «спортолото», перечеркнутые стёкла окон. От взрывов и от взрывной волны стёкла лопались и разлетались на кусочки.

Чуть ли не в первый день начали рыть «щели» – крытые окопы с накатом из брёвен и земли, оборудованные на случай бомбёжки. По квартирам прошла соседка, составляя список желающих принять участие в рытье таких щелей, я записался, пошёл на задний двор, где начали эту работу, впервые в жизни взял в руки лопату. Исполненный самого романтического воодушевления, попробовал копнуть, и... ничего у меня не вышло: лопата не хотела входить в плотно убитую, утопанную землю, ни силёнок, ни сноровки у меня не было.

Довольно долго «щели» и убежища пустовали: в них не было нужды. Но вот начались «тревоги».

В августе и даже в самых первых числах сентября они в большинстве случаев были ложными, учебными или же «про-

филактическими» (объявлялись на случай: «а вдруг долетят?»). Чаще всего это бывало днём. Иногда начиналась интенсивная зенитная стрельба, порой раздавались лишь отдельные выстрелы. Всех предупредили: осколки зенитных снарядов смертельно опасны. Мальчишки после такой тревоги лазали по дворам, по крышам в поисках осколков. Я жестоко завидовал тем, у кого их было много, пока сам не набрал две-три пригоршни железяк различной величины, которые хранил в пустой отцовской кобуре. Её я потом вместе с осколками увёз с собой в эвакуацию, где железки потерялись, а кобура пошла на подмётки.

Однажды мы с отцом, выскочив из троллейбуса, попали под настоящий осколочный дождь, пустились бежать, как бегут укрыться от надвинувшегося ливня, куски металла шлёпались где-то рядом, но нас не задели.

Настало 4 сентября. Мама, уложив меня спать, готовила папу в дорогу – сопровождать эшелон в Махачкалу. Его самого дома не было. Я уснул. Вдруг за окном раздался страшный удар грома. Я проснулся, но решил, что это гроза, и тут же опять провалился в сон. Мама расталкивала меня, кричала:

– Одевайся! Скорее в убежище! Бомбят!

Между тем по радио мирно звучал какой-то концерт. Я стал спорить:

– Мама, это гром...

– Одевайся – не рассуждай!

– А почему по радио не объявляют?

– Ой, маменю³⁹. Да что это за ребёнок такой! Подымайся, тебе говорят!

На улице раздавалось бабаханье зениток, треск пулемётных очередей. Уже я был совсем одет, когда послышался запоздалый голос диктора: «Граждане! Воздушная тревога!» Во дворе взвыла сирена.

Марленка, вернувшаяся к тому времени из Золочевского района, куда вместе с другими учениками класса ездила в совхоз на сельскохозяйственные работы, сидела в этот час на скамеечке возле соседнего дома вместе с жившей там подружкой. Взрывной волной их швырнуло на тротуар.

³⁹ *Маменю (идиши) – мамочка.*

Мы с мамой вышли во двор. Бомбёжка была в разгаре. Хлопали разрывы зенитных снарядов, по небу бродили многочисленные прожекторные лучи.

Пришли в убежище. Слабо освещённый подвал, затхлый воздух, запах сырости, гнили, железных труб и окутавшей их пеньки. Запах крысиного логова. Десятки людей молча сидели на лавках вдоль стен, лишь изредка переговаривались.

Разговоры вполголоса. Детский плач. Тяжкие вздохи женщин. Бравые шутки бодрящихся мужчин. Кто никогда не прятался в бомбоубежище, право, ничего не потерял: скука, мерзость...

Чуть позже, втянувшись в тревожный быт бомбёжек, мы отдали предпочтение «щели». В ней, по крайней мере, воздух был посвежей. Я выскакивал наружу, стоял рядом с какими-то людьми, любовался картиной воздушного нападения и противовоздушной обороны. Да, любовался: если отвлечься от опасности, которую таила в себе эта картина, то, надо признать, она выглядела едва ли не празднично – не хуже, чем фейерверк. Всё небо в пучках прожекторных щупов, в разноцветье ракет, в алых пунктирах пулевых трасс, а где-то на востоке, у Тракторного завода, – розовое зарево пожара...

Первую бомбу, упавшую в нашем районе, – видно, очень мощную – метнули (или, как выражались домашние хозяйки, «спустили») почему-то на кладбище, – от неё-то и был тот грохот взрыва. Потом шли разговоры, что-де там, в кладбищенской церкви, – склад боеприпасов, а немцы о том доведались. Была и более достоверная версия: бомба попала на кладбище в результате промаха – недалеко, в нескольких километрах, авиазавод...

Кладбище (ныне Молодёжный парк, примыкающий к общежитиям студенческого городка «Гигант») было от нас близко.

Однажды утром я бегал поглазеть на огромную воронку от бомбы, попавшей как раз на середину Бассейной возле Картинной галереи (сейчас это улица Петровского, а в здании том – электротехникум). Бомба угодила прямо в центр мостовой и разворотила трамвайные пути, пробив огромную яму. Её быстро засыпали, и опять засновали по рельсам бодрые довоенные вагончики: на тогдашнем жаргоне харьковских пацанов – «рёмбули»).

Трамваи тоже были теперь отмечены войной. Во-первых, все окна покрасили густой синей краской: для светомаскировки. Во-вторых, чтобы затруднить гитлеровским шпионам и диверсантам ориентировку в городе, затушевали краской таблички со словесной расшифровкой маршрутов (например, «11. Горпарк – Южный вокзал»), оставив не закрашенными одни только номера. Мыслилось, что вражеский агент, не зная, как проехать, вынужден будет расспрашивать у жителей, и вот тут-то...

И в самом деле, любопытствующих задерживали. Но они неизменно оказывались «командировочными» из других городов или беженцами, громко доказывали свою непринадлежность к ведомствам Гимmlера и Канариса, причём на почве негодования оглушительно ругались, – особенно военные.

Небывалый приступ шпиономании начался с первых дней войны. Почему-то считалось, что вражеский лазутчик непременно должен что-то записывать. Это бы ещё полбеды, но возникла обратная посылка: кто что-либо записывает, тот непременно шпион. Из-за этого предрассудка или, говоря языком социологии, «динамического стереотипа», страдал наш дядя Ёня Злотоаябко. Снабженец-хозяйственник, он постоянно что-то прикидывал и подсчитывал, а результат заносил в книжечку, с которой то и дело сверялся. Бывало, едет в трамвае – и пишет. Ждёт на остановке – и пишет. Несколько раз его по этой причине водили в милицию. Вели в сопровождении целой толпы мальчишек, крепко держа за руки, чтобы не сбежал.

Дядя Ёня был на вид типичный еврей-коммивояжёр, всегда озабоченный, чем-то вроде бы напуганный – словом, как говорят на Украине, *заклопотанный*. Принять такого за шпиона рейха можно было только в обстановке повальной шизофренической шпиономании.

Однако её харьковский вариант – ещё довольно безобидный. Ленинградцы рассказывали, что у них в те дни сложился такой динамический стереотип: «Все шпионы – толстые, «следовательно», все толстяки – шпионы». (Это было в самые первые дни войны, задолго до блокады, и к ней такой предрассудок никакого отношения не имеет, если только не предположить в нём коллективного мистического предчувствия).

В положении дяди Ёни оказались все пузанчики Северной Пальмиры: их то и дело проверяли, а случалось, и награждали тумачами.

Поверьте, я не анекдоты рассказываю. Наверное, специалисты по социальной психологии могли бы подтвердить и объяснить эти курьёзы.

* * *

Здесь самое место вспомнить одну историю. К воздушным тревогам она отношения не имеет, но к социальной психологии – самое прямое.

Перед войной вдруг пополз по Харькову слух: из зоопарка сбежал *змея*, пробрался на окраину города – в Лесопарк, прихватив с собой по дороге десятилетнюю девочку, и вот теперь держит её возле себя – обвил своим змеиным телом – и не отпускает ни на шаг.

В Лесопарк устремился народ – смотреть. Ездил и наша домработница Нюня. Над нею все подтрунивали, но она утврждала, что – видела, да, видела!

«Очевидцы» рассказывали «подробности»: будто *Змея* ни за что не подпускает к девочке мать, а вот к отцу относится благосклонно и даже позволяет её покормить. Однако забрать домой всё-таки не разрешает.

Прошло некоторое время – и в одной из центральных газет – чуть ли не в «Правде» или «Известиях» – напечатан был фельетон, в основе которого тот же сюжет. Только события происходили не в Харькове, а, кажется, в одном из маленьких городков Северного Кавказа. Фельетонист рассказывал, что среди бела дня городские власти прервали служебные занятия, замкнули свои кабинеты на ключ, снарядили автобусы и отправились глазеть на «чудо».

Похоже было на то, что вздорный слух облетел всю страну. Немного позже, в первом пункте нашей беженской одиссеи (то было глухое украинское село на окраине Сталинградской области), я стал пересказывать хозяйке (её звали «титка Олена») историю со *Змеем*, – вот, мол, какие смешные небылицы плелись у нас в Харькове...

– Це не так було! – категорично прервала меня «титка Олэна». – И нэ у вас це було, а на Кубани!

Олэна перед войной жила в одной из кубанских станиц. С некоторыми вариациями она пересказала мне всё ту же историю. Примечательно, что в ней тоже фигурировала не змея, а – *Змей*. Воскресший Горыныч русской древности!

* * *

Количество ночных «тревог» быстро возросло, к середине сентября каждую ночь приходилось подниматься с постели по два-три раза, а для сна бомбоубежище не было приспособлено. Взрослые жалели детей и старались облегчить им жизнь. Чтобы не спускаться по несколько раз в ночь с четвёртого этажа в подвал, мама договорилась со своей сотрудницей, и мы ходили к ней ночевать в первый этаж соседнего многоквартирного дома. Там казалось не так страшно, и мы иной раз даже в бомбёжку не шли в подвал. Так было, пока папа не вернулся из Махачкалы. Для него места у сотрудницы не было, да и первый этаж всё-таки нельзя было считать вполне безопасным. Мы перешли жить к Сазоновым, рядом с которыми было большое убежище с ночлегом для стариков и детей. Туда нас и снаряжали с вечера: меня с Марленой (мы спали вдвоём «валетом» на восьми составленных стульях) и сазоновских детей: Светочку с Игорьком, которых сопровождала похожая на Бабу-Ягу домработница Груня.

Дома, на Дзержинской, мы теперь почти не бывали – жили у Сазоновых, с которыми читатель отчасти уже знаком по этой книге записок (главка «Шишаки» и другие), но самое время о них теперь рассказать чуть поподробнее: это семья, с которой связано многое в моей жизни, – да, собственно, вся жизнь.

У Сазоновых

Тётя Тамара была моему отцу не просто сестра, – они двойняшки, то есть родились в один день. При всём том и внешне, и натурами своими друг с другом они были, мало сказать, несхожи, но во многом как бы противоположны:

отец – смуглый, черноволосый, Тамара – чистая блондинка; он – кареглазый, она – голубоглазая; он – худощавый и стройный, она – к сорока-пятидесяти годам – одна из самых тучных дам Харькова.

Отец обладал феноменальной выдержкой, – только Вилия вывел его однажды из терпения, и лишь раз в жизни он дал мне шлепка. Никогда не повышал голоса, не пускал искры из глаз, – словом, был образцом самообладания.

Тамара же, напротив, была неимоверно вспыльчива, могла по любому поводу поднять крик, но, как это часто бывает у большинства вспыльчивых («людей, которых не сужу, затем, что к ним принадлежу»), отличалась быстрой отходчивостью.

В один из дней, когда мы жили у них, родители послали меня попросить у неё грелку. Тамара в коридоре коммунальной квартиры, где они жили, разговаривала с соседями, мне никак не удавалось привлечь её внимание. Я ходил около и канючил:

– Ну тё-о-отя Тамара! Ну тё-о-отя Тамара же!..

– Отойди от меня!!! – вдруг рявкнула Тамара. Но тут же спохватилась и совершенно другим – умильным и ласковым – голосом добавила: – Зо-лот-ко!..

Я вернулся в комнату ни с чем.

– Ну, где же грелка? – спросила мама.

– Тётя Тамара не отвечает, – сказал я с досадой, – она кричит: «Уходи, золотко!»

Родители расхохотались: в этой фразе была вся Тамара – добрая и взбалмошная.

Насколько отец был аккуратен и подтянут во всём: в бумагах своих, в одежде, в поведении, – настолько сестра его «славилась» разбросанностью, растрёпанностью. В доме царил кавардак. Тамара была просто неспособна вести хозяйство иначе. А ведь из всей семьи, из многочисленных братьев и сестёр ни один не грешил хоть чем-то подобным, их мать – бабушка Женя – была образцовой хозяйкой. Так что недостатки Тамары проистекали никак не из воспитания, а из каких-то внутренних особенностей её индивидуальности. В семье у неё не было какого-то особого положения. И, однако, Тамара обладала задатками настоящей барыни – кстати, с детства носила семейную кличку «Барыня».

И вот – надо же! – так сложилась её жизнь, что сами обстоятельства способствовали закреплению этой её особенности. Муж её, Шура (Александр Васильевич Сазонов), вышел в большие начальники – где-то с 1938 года стал ректором Харьковского государственного университета, был им вплоть до первого дня немецкой оккупации, а потом – проректором объединённого Киевско-Харьковского университета в казахстанском городе Кзыл-Орда, сразу по освобождении Харькова направлен во «вторую столицу Украины» как директор инженерно-экономического института. Вскоре, однако, с ним произошёл несчастный случай, после которого он долго болел и по выздоровлении уже к административной работе не вернулся. Однако стал заведовать кафедрой и вплоть до выхода на пенсию состоял на профессорской должности, хотя и оставался лишь доцентом. Так что и жена его считалась «профессоршей». Сама она как раз очутилась на инвалидности, и вечно вокруг неё отирались какие-то приживалки, временами семью обслуживали сразу две домработницы: одна – постоянная, другая – проходящая. Так было, например, в начале 50-х годов, когда я около года жил у Сазоновых в доме: сперва наша довоенная Нюня (после неё Маруся, потом – Оля) ходит на рынок, готовит обед, Дуня или Галя (имён точно не помню, может быть, и Даша) время от времени приходят делать генеральную уборку, а в это же самое время за швейной машинкой сидит бывшая смольненская институтка – скрипучая Ольга Фёдоровна и месяцами что-то строчит, перекраивает, перешивает, не особенно торопясь (да и зачем торопиться, когда тебя три раза в день кормят), и при этом всей семье буквально не в чем ходить!

Вопреки всем педагогическим прописям, дети у Тамары и Шуры росли замечательные: спокойные, дружелюбные, прекрасно учились, ничуть не гнушались любым трудом...

Согласно семейному преданию, дед нашёл когда-то «научное» объяснение несходству своих двойняшек:

– В материнской утробе Доденька с Тamarочкой подрались, – говаривал он, – и братец у сестрицы отнял вот это (дед указывал себе на голову), а сестричка у братика – вот это (он хлопал себя по мягкому месту).

Конечно, то была лишь добродушная отцовская шутка. Тамара неплохо училась, окончила вуз, преподавала в университете историю. Но её разбросанность, её причуды создавали ей определённую репутацию. Сама доброта приобретала у неё чрезвычайно комический вид. В конце войны она заведовала подготовительными курсами инженерно-экономического института и, как рассказывал мне один из слушателей, всех своих питомцев называла «ребятками». Пользуясь, а иногда и злоупотребляя этой её добротой, даже родственники не могли отказать себе в удовольствии посмеяться, а порой и *добродушно позлословить* над забавными моментами в её поведении. Да и можно ли было удержаться?

...В 1951 году Марлена вышла замуж, мы ютились тогда с нею и с бабушкой Сарой в маленькой комнатке, куда нас выселили в связи с арестом родителей, поместиться ещё и четвертому человеку там было немыслимо, и Тамара позвала меня жить в саоновской квартире. В одну из четырёх комнат своей просторной квартиры она ещё раньше впустила квартирантов-погорельцев, мать и дочь, в остальных трёх жили она с Шурой, двое детей, домработница, да ещё и портниха Ольга Фёдоровна, так что я, получалось, седьмой. Спальных мест не хватало, и мне стелили на восьми стульях (как за десять лет перед тем нам с сестрой в бомбоубежище). Но вот настали дни, когда Ольга Фёдоровна почему-то перестала приходить, и диван, на котором она ночевала, освободился.

– Фелинька, – сказала мне Тамара простодушно и самым добрым, ласковым тоном, – ложись сегодня спать снова на стульях: *пусть диван отдохнёт!*

...Милая тётя Тамара! Какая всё же чепуха и мелочь все эти её забавные благоглупости – по сравнению с вечностью, в которой она вот уже двадцать лет пребывает. И могут ли они затмить главное свойство её натуры: стремление приласкать, обогреть, приютить. Не один я попал в орбиту этой её доброты. Сколько помню, всегда в доме были люди, которым она по мере сил помогала: то её приятельницы Дора и Маша (одна из них – с ребёнком), которые прожили здесь целую зиму, потому что некуда было им податься. То – много лет в одной из комнат жили эти погорельцы, Надежда Даниловна и Таня, – жили, пока не

дождались-таки ордера на квартиру... А Александр Ильич Мосенжник («Сюня») с Кларой, – её с дядей Шурой бывшие студенты, – ведь они буквально молились на чету Сазоновых. Оба рассказывали мне, что в Кзыл-Орде, куда Сюня прибыл с фронта после ранения, Тамара с Шурой их спасли, – чем и как, я не расспросил.

Добротой и верностью своей Тамара с папой были в самом деле похожи, как двойняшки!

Когда Тамара лежала в гробу, я, наклонившись для последнего целования, был поражён внезапно проявившимся сходством её черт с чертами её брата.

На памятнике её, установленном над могилой, есть (если сохранилось) фото: прелестная белокурая девушка с ангельским, кротким выражением лица. Такой её увидел и полюбил Шура Сазонов. Было ему тогда что-то около тридцати лет.

Шура, то есть Александр Васильевич, типом лица, фигурой и даже происхождением был похож на Никиту Хрущёва. Он происходил из шахтёрской семьи и сам в детстве и юности работал на шахте, а потом на заводе машинистом. Служил в царской армии, участвовал в гражданской, стал большевиком, был командиром эскадрона в Первой Конной армии Буденного, после войны учился в школе «червонных старшин», познакомился там с Лёвой Рахлиным, который и привёл его в рахлинскую семью. Тамара в то время работала в аппарате ЦК комсомола Украины. Шура влюбился в неё пламенно.

Не мода, конечно, но какое-то странное, полумистическое притяжение влекло в первые годы советской власти этих «новых русских» того времени, «сифогрантов»⁴⁰ большевистской Утопии, к девушкам из еврейских семей. Ведь не случайно же на еврейках были женаты и Ворошилов, и Молотов, и Бухарин, и многие военачальники. Вот и Шура Сазонов женился на Тамаре (а на самом-то деле Тойбе)... И – я свидетель! – её родне до конца дней предан был больше, чем своей собственной.

Помню рассказ Абраши, папиного брата, долгое время жившего в Москве. Дело происходило где-то уже в 60-е годы.

⁴⁰ *Сифогранты – сословие руководителей на острове Утопия, созданном фантазией социалиста-утописта Томаса Мора.*

«Шура – просто невозможный человек, – рассказывал Абрам при мне кому-то из родственников. – Приехал он в Москву, мы встретились, садимся с ним в переполненный трамвай – он как инвалид с передней площадки, я с задней. И вот он мне через толпу пассажиров кричит: “Абраша! Ты сел? Абраша!” – На меня весь вагон оглядывается, не знаю, куда деваться от неловкости... Ну, это же надо уметь: в московском трамвае что есть сил кричать “Абраша!”»

Я уже упоминал в 1-й части этих записок, что в начале 30-х Тамара с Шурой жили в Киеве, и там трагически погибла их старшая дочь Ирочка. Она каталась по перилам парадной лестницы, сорвалась в пролёт с 4-го или 5-го этажа и убилась насмерть. С тех пор Сазоновы панически боялись высоких этажей и всё стремились перехитрить судьбу, но – напрасный труд!

Перед войной Шура, получив должность ректора университета, мог, конечно, выбрать квартиру себе по вкусу. Но предпочёл две или три комнаты в коммунальной квартире с соседями и общей кухней, лишь бы не жить высоко. Квартира была на Бассейной, угол улицы Артёма, в большом двухэтажном особняке – Сазоновы жили на первом, и одна из комнат имела выход на огромный балкон-веранду. Всё это низко над землёй, так что и при желании не убьёшься.

Во время войны, вернувшись в Харьков сразу после освобождения города и будучи директором института, Шура вновь мог свободно подобрать себе жильё по вкусу – и опять выбрал первый этаж: на сей раз в большом многоквартирном «Доме Специалистов». Как посмеялась жизнь над этой предосторожностью! Вот уж поистине права пословица, которой пользовался ещё Пушкин: «Знал бы, где упасть, так соломки подостлал». Живя в этой *безопасной* квартире, сын Сазоновых, Игорь, умер двадцати двух лет от болезни сердца, Тамара на шестьдесят пятом году – от антонова огня и диабета; сам Шура, ещё задолго до своего 50-летия, упал с козырька соседнего подъезда, приняв по ошибке окно лестничной клетки, выломанное во время войны, за выход, покалечился, чуть не умер и на всю оставшуюся жизнь остался хромым инвалидом. И это далеко не полный перечень всех бед их трагической семьи. Впрочем, бывали и уда-

чи: например, Светочка Сазонова однажды попала под трамвай, который отрезал ей колесом на ноге лишь самый кончик большого пальца...

На должности ректора Харьковского государственного университета имени Горького Шура сменил (не непосредственно, а после какого-то очень временного ВРИО⁴¹) известного Я. М. Блудова, отправившегося в 1937 году в лагеря и реабилитированного лишь лет через восемнадцать...

(Кто-то рассказывал мне со слов самого Блудова: будучи личным другом Емельяна Ярославского, он в «смутные годы» жил у этого видного большевика на даче и чувствовал себя в безопасности. Но только лишь отважился уехать, как был арестован, и даже Емельян не смог (или боялся?) помочь...

В 1940 – 1941 гг. Шура был «большим человеком», а Тамара – *ректоршей*. Когда-то, почему-то она не вступила в партию, и это, возможно, спасло обоих от потрясений 37-го и последующих лет (если, конечно, не считать потрясениями репрессии против её родных и двоюродных братьев, многих близких людей. Но их самих репрессии не коснулись). Шура после 37-го даже пошёл на взлёт. Подумать только: ректор! Да ещё и одного из крупнейших и старейших в стране университетов.

Само слово ректор было в те времена своего рода раритетом. Это сейчас во главе любого вуза стоит ректор, а в те времена у нас в Союзе так именовался лишь руководитель университета. Остальные вузы возглавлялись директорами. В общем-то, какая разница, скажет читатель – и будет прав. Есть лишь небольшой оттенок: директор – должность назначаемая, а ректор – выборная, и в этом названии сохраняется какое-то воспоминание о кастовой демократии академического сословия.

Положение обязывает: Шура постоянно должен был как ректор где-то представлять, заседать, кого-то принимать, давать на дому обеды то в честь наркома, то в честь «советского графа» Алексея Толстого, то во чью-нибудь ещё высокочинную честь...

⁴¹ ВРИО – аббревиатура: временно исполняющий обязанности. – *Примечание 2003 г.*

Квартира их была очень скромно, даже убого обставлена, но времена ещё не предъявляли в этом отношении высокого стандарта. Впрочем, комнаты именно вследствие своей пустоты были для устройства приёмов очень удобны. Кроме того, особняк, в котором жил ректор, сам по себе имел внушительный «графский» вид.

Веранда, огромная и просторная, мне особенно нравилась. Там я целыми днями играл с восьмилетней Светкой и совсем ещё маленьким – четырехлетним – Игорьком: своими двоюродными. В сентябре начались было занятия в школе – правда, не совсем в школе (её здание забрали под госпиталь), а в полуподвале одного из соседних домов, но из-за участвовавших бомбёжек и ежедневного отъезда учителей и школьников уроки срывались, и родители вовсе перестали отпускать детей в школу (я учился тогда в 3-м классе). В городе всё сильнее пахло войной.

Ещё с лета гнали по улицам скот на Восток: шли усталые пропылённые дядьки позади одуревших стад; коровы мычали, овцы блеяли в теснине каменных улиц, толкая друг друга, обтекающая остановившиеся трамваи. Водители, вытирая потные лбы, терпеливо ждали, пока стадо пройдёт, люди на тротуарах жалась к стенам домов, заскакивали в подъезды.

Стали строить баррикады из разного хлама, обкладывали их мешками с песком, оставляя узкий проезд для машин. Чуть ли не на каждом перекрёстке устроили окопчики с пулемётными гнёздами, и в них круглосуточно дежурили красноармейцы.

Наконец, в областной газете появилась передовица «Не сдадим родного Харькова!», и всем стало ясно, что город обречён.

Уезжали сначала организованно – с заводами, с учреждениями. Шло много разговоров: «Вы едете?» – «А вы?» – «Ну, это ненадолго». – «Но, знаете, всё-таки... Куда-то на чужбину...» – и т. д.

Под нами на Дзержинской жили Гафановичи, они все уехали, а их старик-отец не пожелал. Это был коренастый, крепкий еврей с седой бородой, с бородавкой под глазом. Как-то раз у них дверь захлопнулась на защёлку автоматического «французского» замка. И этот почти семидесятилетний дед пришёл к нам на балкон, взял верёвку, навязал на ней узлов, чтобы руки не скользили, привязал к балкону и спустился по верёвке с чет-

вёртого этажа на свой третий, чтобы войти в квартиру через балконную дверь. Кроме храбрости и рисковости, надо ещё и силу в руках иметь! Такому человеку, казалось, износа не будет.

В газетах много писали о зверствах фашистов, о том, что евреев они преследуют особенно.

– Шо ви мене пугаете шо? – говорил Гафанович. – Ну, убьют, ну, повесят. Так шо? Игде человек родился, там и должен умереть. Никуда не поеду, я вам говорю, и не морочьте мне голову.

(Такой ход рассуждений назовём «*комплексом Гафановича*» – запомните этот «термин», он нам потом пригодится).

А теперь расскажу о «*комплексе Жидовецкого*». Этот молодой инженер, тоже еврей, жил в квартире над нами. Женат был на русской или украинке – взрослые говорили, что она – красавица. Незадолго перед войной у них родился ребёнок.

Жидовецкий приходил к нам звонить по телефону. Договариваясь о чём-то, часто повторял собеседнику в трубку: «добге-добге» (то есть – «добре»: по-украински – «ладно», «хорошо», – он картавил). Придя в очередной раз и застав родителей за упаковкой вещей, – стал уговаривать:

– Ну куда вы собгались? Кого вы боитесь? «Звегства»? «Гаспгавы»? Бгосьте! Гегмания – культугная стгана, немцы – культугный нагод, все эти госсказни – пгосто пгопаганда!

Один «комплекс» стоит другого: «культурный народ» в конце декабря расстрелял в Дробицком Яру, за Тракторным и Плиточным заводами, и старика Гафановича, и молодого Жидовецкого, и, как мне рассказывали, красавицу жену его, которая не пожелала воспользоваться своим славянским «преимуществом» и поделила судьбу своего мужа и ребёнка, а заодно и «всех жидов города Харькова», как было сказано в приказе немецких властей...

Расстреливали оккупанты и граждан других национальностей, но, так сказать, выборочно, а с евреями расправлялись (как и с цыганами⁴²) сплошняком. Сейчас кому-то очень хочется

⁴² Мои сведения о политике гитлеровцев в отношении цыган спустя лет пятнадцать после написания этой фразы существенно уточнил большой знаток истории Катастрофы харьковчанин

замять эту подробность, эту разницу. Иногда её просто не учитывают. Ведущий в документальном фильме о Бабьем Яре – киевском аналоге нашего Дробицкого, – украинский поэт и публицист Виталий Коротич, заявляет: «Вот, например, меня фашисты могли убить просто за то, что я – украинец». Но ведь не всех украинцев они убивали. А евреев старались извести под корень – всех до единого. Для украинцев или для других это было небольшим, но всё же утешением: кому-то ещё хуже! Во время войны Василий Гроссман в одном из рассказов устами своего героя раскрыл этот дьявольский замысел нацизма. Но кто-то упорно противодействует исторически правдивому изложению событий тех лет, кто-то старается исказить факты. Зачем?

Немцы где-то в середине декабря 1941 года расклеили по Харькову приказ: на сборный пункт в бараки Станкостроительного завода предписывалось явиться, как уже сказано, «всем жидам города». После чего их всех и порешили в недалёком овраге. Этот эпизод был широко освещён в советской и зарубежной печати в годы войны, подробно раскрыт на харьковском процессе военных преступников в 1944 году, фигурировал и на процессе главных военных преступников в Нюрнберге. Приказ немецкого коменданта вскоре после освобождения Харькова экспонировался в здешнем историческом музее – я сам его видел и читал. Но вскоре экспонат убрали.

А в 60-е годы вышел сборник документов времён оккупации, в котором (со ссылкой на архив) сказано, будто фашисты в декабре 1941-го издали в Харькове вот какой приказ: в бараки близ ХТЗ предлагалось явиться не «*всем жидам*», а *жителям центральных улиц*. Получалось, что этих-то жителей, незави-

Ю.М.Ляховицкий. Оказывается, нацисты преследовали цыган хотя и из «евгенических», но, в отличие от преследования евреев, отнюдь не расистских соображений: уничтожению подлежали лишь кочевые цыгане – оседлым разрешалось жить. Здесь будто бы действовали меры против бродяжничества, а не расовые законы. Хотя, конечно же, расистский привкус был и в этой стороне деятельности нацистских карателей. Любопытно, что в израильском музее «Лохамей а-Геттаот» (бойцов гетто) хранится архив документов антицыганской политики нацистов. – Примечание 1996 года.

симо от национальности, и уничтожили... Ложь! Не было такого документа!⁴³ Многие жители центральных районов, как ни трудно пришлось, проживали на одном и том же месте всю войну – некоторые и до сих пор там живут. Приказ касался «жидов», и только «жидов». Для чего понадобилось кому-то фальсифицировать исторический факт? Конечно же, для того, чтобы уменьшить естественное человеческое сочувствие к беспримерным страданиям евреев во время гитлеровской оккупации.

⁴³ *Через много лет после того, как я написал столь горячую и безапелляционную строчку, мне довелось – и не понаслышке, а при изучении архивных материалов (Харьковский облпартархив, фонд 2. опись 14, дело 1) – убедиться: такой документ БЫЛ! Но не фашистский, а... советский!!!* Формулировка о том, будто нацисты в Дробицком Яру под Харьковом расстреляли не еврейское население города, а неких «жителей центральных улиц», содержится в акте «О зверствах и чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков в г. Харькове», составленном 9 марта 1943 г. – в период первого освобождения Харькова от захватчиков, продолжавшийся, примерно, месяц. Нарочитость, заданность такой версии, искажающей истину и затушёвывающей антиеврейский гитлеровский геноцид, несомненна: о массовом выселении в бараки посёлка ХТЗ именно евреев и об их последующем уничтожении знал в городе каждый мальчишка. Несомненно и то, что замалчивание харьковской трагедии было лишь частью информационной (дезинформационной!) политики сталинского правительства относительно еврейской Катастрофы на тот исторический момент. Уже вскоре (возможно, под напором фактов, ставших известными в мировом масштабе) эта политика на какое-то время поменялась – поголовное уничтожение гитлеровцами евреев стало освещаться и советской прессой. И уже через две недели после второго, окончательного освобождения Харькова, 5 сентября 1943 г., на том же месте, на основе частичного вскрытия расстрельного рва и опроса тех же (!) свидетелей, был составлен акт «О поголовном истреблении мирного еврейского населения г. Харькова». Однако вскоре после войны «генеральная линия» Сталина вновь «колебнулась» в сторону антисемитизма, её продолжили советские руководители и после смерти «вождя», и при издании сборника документов времён оккупации Харькова была процитирована формулировка первого акта, а второй акт – проигнорирован! Лживая трактовка трагедии конца 1941 г. – начала 1942 г. проникла и в наши дни. – Примечание 1990 года.

Дескать, все страдали. Да, но не так сплошную, не так поголовно – и, главное, не за одну лишь «вину»: свою «презренную» национальность. А ведь именно в этом и заключалась страшная суть гитлеровской сегрегационной машины. Но безмозглость, лютая ненависть или ещё какие-то причины заставили составителей и редакторов книги пойти на прямой подлог. Этот подлог неоднократно повторялся в газетах и в других изданиях.

Но вдумайтесь, какой смысл кроется в нём для человека, который знает правду. Он безошибочно поймёт, кто имеется в виду под «жителями центральных улиц». Зачем, подумает он, выбран столь странный синоним слова «жид»? Чтобы скрыть истину? Или чтобы внушить читателю: «жиды» жили только в центре, в центре жили только «жиды»... Но ведь это – ложь! Например, на окраинной, непрестижной Москалёвке жило так много евреев, что даже шуточная загадка была: «Какая улица названа именами двух евреев?» – Ответ: «Моська, Лёвка»...

Вернёмся, однако, в сорок первый год.

У наших родителей никаких сомнений в истинности сведений о жестокости фашистов, к счастью, не было. Отец стал добывать для семьи *посадочные талоны* в какой-нибудь беженский эшелон. Сам же всё рассчитывал получить боевое назначение.

Тем временем дядя Шура Сазонов находился «на окопах» (то есть – на рытве укреплений) во главе чуть ли не дивизии народного ополчения. Где-то под Днепропетровском дивизия попала в котёл, и довольно долго его судьба оставалась нам не известной.

Однажды вечером, когда мы все сидели за столом, дверь из коридора отворилась, и в комнату вошёл заросший бородою, грязный, страшный мужик с котомкой за плечами. Тамара вдруг дико закричала, бросилась незнакомцу на грудь. Это был Шура. С трудом вышел он из окружения и вывел свою дивизию ополченцев.

Вскоре Шура отправил семью эшелонам на Восток, а сам остался в Харькове – заканчивать эвакуацию университетского имущества. 23 или 24 октября, уже когда в город с запада входили немцы, он ушёл пешком на восток вместе с двумя-тремя сослуживцами, сопровождая подводу, в которой были сложены деньги из университетской кассы (зарплата сотрудников) и дра-

гоценные металлы из лабораторий: золото, платина... Пройдя пешком сотни километров, сдал всё это в банк и много позднее добрался до своей семьи, которая в это время жила уже в Кызыл-Орде, в Казахстане, – сюда был эвакуирован и Киевский университет, ректор которого стал главой объединённого Украинского университета, а Шуру сделали проректором. Бедовали они там страшно. Но все выжили, а в 43-м его послали в освобождённый Харьков. Весной 44-го, вскоре после нашего возвращения, вернулась и Тамара с детьми.

Но я опять забежал вперёд. Пока что мы находимся лишь в 41-м... Тамара с Игорьком и Светкой уехали на вокзал, мы остались в сазоновской квартире. Как вдруг прибегает папа и трясёт в воздухе посадочными талонами: ему дали их в военкомате на тот же эшелон, которым должна ехать Тамара с ребятами. Неслыханная удача! Узлы у нас уже упакованы, остаётся только нанять транспорт. Вот и он: телега, влекомая одной лошадейкой под водительством пожилого дядьки.

Взгромождаем на телегу свои пожитки, меня усаживают рядом с возницей, Марлену – на вещи, мама с папой идут пешком.

Медленно, страшно медленно тащимся к вокзалу. Вот уже мы совсем рядом – на Красноармейской, за поворотом – площадь Красного Милиционера, на которой – Южный вокзал... Как вдруг завыли сирены, и искушённый «водитель кобылы» немедленно вводит её под уздцы во двор большого дома: так положено во время воздушной тревоги.

В бомбогазоубежище с интересом разглядываю толстые, обитые железом двери, тяжёлые запоры на винтах, крупные заклёпки. А время идёт. Наконец, бомбёжка кончилась. Мы быстро преодолеваем те 200 – 300 метров, которые отделяли нас от вокзала. Но... поезд ушёл!

Бесславно продефилировали мы вспять на той же кляче – навстречу потоку таких же телег, машин, тачек, гружённых узлами и чемоданами...

Через два-три дня мы всё же уехали. Папа получил в военкомате другой посадочный талон – на сей раз «куда глаза глядят»: до станции Елань, Сталинградской области («глубокий тыл», как он сказал).

Грузились на товарной станции. Толпа ринулась в открытые двери маленького товарного вагона. Мне при посадке наступили на горло, – не в переносном смысле, а в буквальном. За несколько секунд «телятник» был набит до отказа.

Папа куда-то ушёл, потом вернулся и, ничего не объясняя, стал нас выгружать.

– Там, в конце эшелона, совершенно свободный *пульман*, – объяснил он маме – тихо, шепотом, чтобы люди не услышали и не опередили нас.

«Эшелон»! «Пульман»! Какими заманчивыми казались мне эти диковинные слова.

В пульмане – большом четырехосном товарняке – и в самом деле было попросторнее. Мы выложили узлы вдоль стены, затем разложили постель так, что узлы оказались у нас в головах. Так же устраивались и другие.

Перед отъездом много разговоров было о том, где маме хранить деньги. Обычно она носила их в своей «сумке», как она называла ридикюль, но в дороге это было неудобно, непрактично и ненадёжно. Решено было пошить для денег мешочек, и мама, подобно Антону Пафнутьевичу из «Дубровского», повесила его к себе на шею, спрятав на груди, и за всю дорогу ни разу не снимала. Вытащить рубль для неё теперь каждый раз было проблемой.

Ночью эшелон тронулся и минут через 15 – 20 остановился на пригородной узловой станции Основа, где простоял всю ночь.

Где-то полночь, когда все в вагоне спали, кто-то что есть силы заколотил в дверь.

– Открывай – милиция! – раздался зычный голос. Мужчины откатали дверь, и в вагон вошло четверо: три женщины и мужчина. Мы потеснились, и они улеглись на пол возле нас.

Под утро, 29 или 30 сентября, мы укатали в неизвестность.

ЧУВСТВО РОДИНЫ

Я пересёк её с Запада на Восток и с Юга на Север. Побывал в Москве и Ленинграде, Донецке и Горьком, Днепропетровске и Тбилиси, Таллинне, Орджоникидзе, Полтаве, Риге, Уссурийске, Челябинске, Умани, Одессе, Симферополе, Кисловодске, в Целинном крае и на Кубани, в Воркуте и Мордовии, в Кировской области и в Крыму, у подножья Казбека и в Поволжье, на Урале и в Юрмале...

Конечно, ещё больше мест, где мне так и не удалось побывать, но и увиденного достаточно, чтобы сказать о своей стране: она прекрасна!

Я говорю это с чистым сердцем и неотяжённой совестью. Хотя не все места были хороши и не всё увиденное – отрадно. Что весёлого в посещении концлагеря? Нелёгкими были и дороги беженцев, служба в армии. С целины я привёз болячку на всю оставшуюся жизнь.

И, однако, радовали или огорчали посещённые места, это моя страна, иной родины у меня нет и быть не может⁴⁴.

В XX веке чувство родины подверглось небывалому испытанию. Миллионные массы поменяли среду обитания и оказались в чужих странах. Появились британские индийцы, канадские украинцы, американские русские... Евреи, не имевшие своей земли две тысячи лет, вновь обрели её, а многие палестинские арабы, узбекские русские, азербайджанские армяне, напротив, стали скитальцами.

Много разговоров идёт о том, что родина – понятие отжившее. Мол, где мне хорошо, там и родина.

Но что такое «хорошо»? Сытно? Вольно? Безопасно? В таком случае Россия никогда не была родиной для миллионов своих сынов и дочерей.

⁴⁴ *Готовясь теперь к выезду навсегда в Израиль, оставляю написанное без изменений – как вылилось от чистого сердца. Предвидеть сегодняшнее ужасное я мог, но не хотел. – Примечание 1990 г.*

Нет, чувство родины – это не чувство сытости или свободы – оно не зависит от них.

Может быть, оно и исчезнет когда-нибудь вместе с разноречием языков, с государственными границами, по мере развития транспорта на Земле, но пока что до этого далеко. Для большинства людей разлука с родиной, особенно эмиграция, – тяжчайшее моральное испытание, которое не все выносят. По крайней мере, оно не для меня.

И не потому, чтобы я грешил комплексом Жидовецкого – нет, я далёк от иллюзий. Но комплекс Гафановича принимаю всей душой: умереть хочу здесь⁴⁵.

В сорок первом мы ехали не умирать, а жить. И ехали не на чужбину: страна была огромной, не всегда ласковой, но казалась своей.

⁴⁵ *Не удалось!.. – Примечание 1990 года.*

Глава 5

Дорога

В телячьем вагоне

Утром снова откатили дверь, стало светло. И я принялся разглядывать попутчиков.

Нас угораздило попасть в эшелон, сплошь набитый польскими евреями. Многие из них снялись с мест ещё в 1939 году. Когда «панская Польша перестала существовать как самостоятельное государство» и между советскими и гитлеровскими войсками прошла демаркационная линия, правительство СССР договорилось с германскими властями, что на какой-то период этот рубеж будет открыт для желающих. Тогда через новую границу ринулись толпы беженцев, преимущественно евреев, быстро разобравшихся в обстановке: фашизм грозил им невероятными унижениями, а как потом выяснилось, и полным уничтожением – кое-кто, возможно, уже об этом догадывался.

Ненадолго они осели в Западной Украине и Западной Белоруссии, – на землях, входивших ещё недавно в состав прежней Польши, и вот теперь опять вынуждены были пуститься в путь – далёкий, таинственный и страшный. Страшный даже для нас, советских, – многие ведь так и не решились бежать на Восток. Но польские евреи видели нацистов воочию, – кого-

то те уже драли за бороду, оскорбляли, били, а у кого-то убили близких.

Как это всегда бывает, одни были объята ужасом, другие – ненавистью, решимостью мстить. Одни бежали от фронта, другие рвались в бой.

Но и те, и другие (пусть меня Бог простит) – ужасно пахли...

Даже в обычных, мирных условиях одно дело – сесть в поезд местного формирования, где дорожный быт ещё не сложился, где люди ещё не успели прокиснуть, а совсем другое – войти ночью на промежуточной станции в транзитный состав и сразу окунуться в спёртую атмосферу, в эти сонные вздохи, посыпыванье, храп, в запах давно немывтых тел и грязных носков.

Вот так и мы, с бухты-барахты, нырнули в устоявшийся беженский быт (оказывается, даже «бег» может устояться!), и на нас набросились вши, предки которых кусали, может быть, самого маршала Пилсудского.

Мы разместились у одной из малых стен вагона, головами к стене. Слева, в углу, ехал молодой сапожник Лёва с женой и грудным младенцем, – почти не понимавший по-русски, богатырского сложения и великанского роста мужчина лет около тридцати, добродушный, как все богатыри, и, тем не менее, люто ненавидевший Гитлера. Он мечтал попасть на фронт и сетовал на недоверие советских властей: его как польского гражданина не берут в Красную Армию. Всё это он объяснил по-еврейски (на идише) маме, которая с трудом его понимала: в Польше у евреев диалект специфический, разговор у них (говорила мама) очень протяжный, непривычный для «наших». Языковой барьер Лёва пытался преодолеть с помощью эмоций и нескольких, известных ему всё-таки, русских слов.

– Товарищ Маргулис, – говорил он маме, прижимая к сердцу пудовые кулаки. – То-ва-рищ Маргу-лис! Чэснойслова! Чэс-ной-сло-ва! .

Я так и прозвал его: «Лёва – Честное Слово».

Дальше, уже вдоль стены, противоположной входу, приютился молодой варшавский портной Срулек с женой Ружкой, то есть Розой. С ними была Ружкина подружка – как ни странно, моя тёзка: её тоже звали – Феля.

Затем большая семья какого-то ремесленника или торговца – пожилого, многодетного, удручённого семейными заботами. Собственно, детей у него было не так уж много – всего трое, но старший был инвалидом с парализованными ногами; средний, Хацкель, едва отметил свою «бар-мицва», еврейское совершеннолетие, то есть был тремя годами старше меня; третьей была одутловатая девочка лет восьми-девяти. Была и мать этих детей, но её совсем не помню.

Дальше помещались два друга-холостяка, оба с французскими именами, но произносили их они на польский лад – с ударением на первом слоге: Ві́ктор и Ма́рсель. Марсель объяснял, что его так зовут потому, что родился в Марсэ́ле. Был он щеголеватый, с тонкими изысканными усиками, но не менее вшивый, чем Виктор, у которого пышная шевелюра, казалось, ходуном ходит от насекомых, – огромная шевелюра мелко вьющихся волос. Оба по-русски говорили плохо.

Справа от нас ехал милиционер Андрюша, – тот, что кричал ночью: «Откройте – милиция!». Он присоединился где-то в пути к миловидной женщине Даше, по национальности русской, но родом из Румынии. Ехала она из Буковины и возле себя прикармливала двух молодых деревенских дева-украинок, которые бегали ей за кипятком и оказывали иные бытовые услуги.

Андрюша сплёл о себе целую историю: как его отряд милиции где-то на границе вёл неравный бой с немцами – и победил, а теперь он едет по заданию, но куда – говорить нельзя. Он почти не выходил из вагона, особенно на крупных станциях, и я теперь думаю, что это был заурядный дезертир.

С Дашей у него завелись шашни, но я тогда этого не понимал – догадался только теперь.

Кроме нас, сколько помнится, была ещё в вагоне единственная советская семья, добротной интеллигентной: старуха с дочерью и внучкой Женечкой – мягоньким трёхлетним пушистым существом.

– Ты меня любишь? – спрашивала она.

– Люблю, – говорил я. – А ты меня?

– Лю́бу, – важно отвечала она (с ударением на первом слоге).

Итак, считая нашу семью, я перечислил более двадцати человек, – всех, кого запомнил. Но одну персону оставил «на десерт» – это «ничья бабушка», как назовёт её Марлена в своём школьном сочинении, которое напишет через год или два в девятом классе.

Старушка совершенно не вписывалась в общий фон. Она была не из Польши, не из Харькова и даже не из Румынии, а почему-то из Бобруйска. Старая-престарая и совершенно одинокая, она скрипучим голосом рассказывала, как перед самым захватом Бобруйска немцами «соседка еврейка» украла у неё ботинки, и она убежала босиком.

Эту фразу она повторяла, как склеротик, бессчётно. На ногах у неё всё же была какая-то обувь – видно, кто-то сжалился и подарил.

У старушки не было ни денег, ни припасов, ни вещей. Из милости её кормили обитатели вагона. Она жадно хватала протянутую пищу, как должное, не рассыпаясь в благодарностях, и поспешно принималась жевать беззубым ртом, роняя куски.

На второй или третий день пути мы с сестрой, одурев от скуки, устроили в вагоне концерт художественного слова. Это была дикая затея: почти никто в вагоне не понимал по-русски. И, однако, мы имели успех!

До войны мы оба занимались во Дворце пионеров – в студии художественного слова, у отличного педагога – актрисы А. И. Михальской (как говорят, бежавшей потом с немцами). На одной из длинейших стоянок я вышел на середину вагона и стал читать стихи:

*Уже конец урока,
Уже десятый час.
Открылась дверь широко –
Вошёл Серёжа в класс.
Почему же, отчего же
Опоздал на час Серёжа?*

В этом стихотворении (кажется, Агнии Барто?) Серёжа заврался, объясняя причину опоздания. Ребята из его класса, сговорившись, отмечают его ложь хоровым рефреном:

Ой, ку-ку́, ку-ку́, ку-ку́!

Стихи страшно понравились Виктору. Подмигивая мне чёрным весёлым глазом, он потом все дни совместного пути изводил меня:

– Ой кú-ку! Слухай: кú-ку! И йещче: кú-ку, кú-ку!..

Марлена читала «Смерть пионерки» Багрицкого. Она (то есть не пионерка и не смерть, а Марлена) очень нравилась фатоватому Марселю, который пытался заигрывать с нею, пощипывая свои тоненько подбритые усики.

Вдруг, когда в концерте наступила пауза, послышалось скрипучее, но по мелодии безупречное пение. Это «ничья бабушка» завела «Марш энтузиастов». Старушка распелась – и стала исполнять ещё и ещё много всяких песен, русских и еврейских, преимущественно советского времени. В одной из них, заздравной, предлагался тост:

*Фар Октябрь революцье,
Ай-я-я-яй!*

*Унд фар Сталин конституцье,
Ай-я-я-яй!*

Ещё там были такие слова:

*Хавер Ленин, хавер Сталин,
Ай-я-я-яй!*

«Фар» на еврейском-идиш языке – «за», «хавер» – товарищ. Остальное понятно. Вот разве что надо иметь в виду, что «Ай-я-яй» в идише, кажется, не имеет пристыжающего значения. А впрочем... «Октябрьская революция... Сталинская конституция... Ленин... Сталин... Ну, как вам не «ай-я-яй!?!»

Своим выступлением бабушка стяжала себе славу в вагоне, её охотнее кормили, а также пускали ночевать на своих узлах. И каждую ночь она возлежала над чьими-нибудь головами. Спавшим под её ложем хозяевам узлов это не было приятно, а потому условились чередоваться. Ночь она проспала над головой Даши, потом – над нами, далее – над Лёвой – Честное Слово... А дальше дело запуталось. Срулек с «Многодетным» заспорили, чья теперь очередь, и, не желая друг другу уступать, подрались. Срулек бросился душить Многодетного, а тот, вырвавшись, вцепился ему зубами в горло. Дети и жена Многодетного завопили, Ружка и Феля от них не отстали.

Впервые в жизни увидав, как дерутся взрослые, я от страха тоже заревел. Мама кинулась разнимать дерущихся – маленькая, гневная, решительная, что-то кричала им по-еврейски, но – безуспешно... Как вдруг раздался резкий милицейский свисток, а затем – зычный голос:

– Прекратить безобразие! Я – представитель Эр-Ка-милиции!

Хотя и непонятно было, какое именно отделение Рабоче-Крестьянской Милиции представляет дезертир Андрюша, но его крик возымел действие: Срулек отпустил глотку Многодетного, а тот выплюнул кадык Срулека. Оба насмерть перепугались, особенно Срулек. Он вообще боялся собственной тени, так как не хотел попасть на фронт. На какой-то станции выбежал пройтись – и угодил в облаву: прямо в объятия военного патруля. Правда, выпустили его быстро. Но в вагон он вернулся белый с прозеленью.

Ещё один памятный момент: в Купянске вдруг раздался выстрел зенитки. Об этой узловоей станции, которая находится в 125 километрах от Харькова, перед нашим отъездом ходили слухи (вполне достоверные), что там большое скопление поездов, и немцы их страшно бомбят. Поэтому, когда началась пальба, мама швырнула на меня пару подушек, а сама улеглась на них сверху, вознамерившись прикрыть меня от осколков и пуль собственным телом. Но я стал брыкаться: стеснялся посторонних. К счастью, стрельба прекратилась, а мы через минут двадцать тронулись в дальнейший путь. Повезло!

Вот так, день за днём, «мы приближались к месту своего назначения». Прошла неделя, и мы прибыли в Елань.

По свежим воспоминаниям я, будучи 16-летним подростком, написал стихотворение об этой неделе пути. Вот оно – во всей его юношеской неумелости:

*Телячьи вагоны, без печек, без нар,
Понуро плетутся по рельсам,
И люди в вагонах, и молод, и стар,
Устали от нудного рейса.
Чего не приходится мне увидеть,
В телячьем влачась по России!
Ругаться учусь я в три господа мать
И с вошью встречаюсь впервые,*

*Сырые початки пеку на костре
И – горькие, чёрные – ем я...
Пучит меня ночью. А ночь в октябре
Окутана тягостной тьмью,
Опутана ночь перестуком колёс.
Пропитана запахом пота и слёз.
Дрожит от рессорного стона...
А где-то чахоточный, злой паровоз
Устало волочит вагоны...*

..

Бабинкино

Так называлось большое, нелепо разбросанное по степи переселенческое украинское село, куда нас направили из Елани. На той маленькой станции эшелон простоял почти весь день, пока не сработала районная неповоротливая машина местной бюрократии. К вечеру явились за нами подводы, и, перегрузив свои узлы из вагонов в телеги и фуры, мы тронулись в путь – в разные сёла района.

Под тёмным, усеянным звёздами небом, в глубокой крестьянской телеге, влекомой парой равнодушных волов по грязной осенней дороге, ехал наш «вагон» несколько часов, пока не прибыли в какое-то село (это и было Бабинкино). Здесь скоротали ночь в доме сельсовета, а утром всех развели, развезли «по хатах».

Поделюсь одним наблюдением, сделанным на основе многих впечатлений: переселенческие сёла – русские на Украине, украинские в России – имеют одну общую черту: неприкаянность. Объяснить причину не берусь: ведь переселенцами были деды-прадеды сегодняшних аборигенов, казалось бы, в течение двух-трёх поколений пора бы и привыкнуть, обосноваться... И всё-таки дома́ и хозяйство пришлого населения, как правило, отличаются от жилищ и усадеб коренного – то шаткостью строений, то неухоженностью садов-огородов, то ещё чем-то неуловимым: может быть, отсутствием стабильности, надёжности, обжитости...

Так или иначе, но Бабинкино было село голое, бедное и – лучше слово не подберёшь! – вот именно что неприкаянное.

Нас определили на квартиру к «титке Олэне» (о ней я уже упоминал в связи со «Змеем»), – это была молодая, жилистая, уже заезженная жизнью солдатка, через каждое слово выдававшая на-гора обильные и отборные матюки. От мужа давно не было ни слова, но она верила, что он жив, и усердно сочиняла письма к нему, которые, в виду своей полной неграмотности, диктовала нашей маме. Письма были на диво патриотичны. Олэна не говорила, например: «такого-то и такого-то забрали в армию» и тем более не употребляла широко бытовавшего тогда в народе словечка «угнали» (впрочем, оно не означало отрицательного отношения к мобилизации, а просто в точности передавало её картину: массы куда-то ведомых людей, действительно, напоминали гонимое стадо), – нет, она диктовала с истовой убеждённостью: «Гриша Опришко пишов Родину защищать, и Ваня Чоботар пишов защищать Родину...»

Когда пронёсся слух о сдаче Ростова (в Бабинкине всё больше слухами пробавлялись – не помню, было ли радио даже в сельсовете, а этот город на Дону от тех мест довольно близок), Олэна заявила убеждённо:

– Мы нимцив у Бабынчино нэ пустымо!

...А нищая была эта Олэна – страшное дело! И всё село было нищее. Дом «под железом» считался символом богатства. У нашей хозяйки хата была под соломенной крышей, в ней – одна горница с русской печью и огромной, нелепой, сбитой из досок кроватью, под которой для подогрева была сложена маленькая печурка – «галанка» («голландка») с выводом в дымоход русской печи.

Возле хаты стояли в штабелях плиты кизяка (прессованного овечьего навоза – это такой вид топлива), но топить им сейчас не полагалось из соображений экономии, а полагалось – соломой, за которой Олэна и предложила нам сходить на «опчий» двор, как только мама задала вопрос: как помыться с дороги?

В этот период осенне-зимнего сельского межсезонья главным занятием Олэны было – материть и лупасить Нюрку: семилетнюю непоседу дочь. Она раздавала ей тумаки при каждом

удобном случае. Нюрка спасалась на печи, но мать и там её доставала «рогочом», то есть – печным ухватом.

Фамилии нашей хозяйки не помню, а «по-уличному» её звали «Пушаёва». О происхождении этой «кликухи» Олэна сама нам с удовольствием рассказала семейную легенду: её (а то ли её мужа) дед-прадед, прослужив в царской армии лет двадцать пять, набрался там москальских словечек. Вернувшись в родное село, он однажды увязил телегу в грязи возле моста. Бился-бился, телегу вытянуть не мог, выпряг и увёл лошадь, а на застрявшую колесницу рукой махнул: «А *пушишай* стоит!»

Олэне с кличкой повезло. Рядом, в хате под железом, жила почтенная семья местных полуинтеллигентов по прозвищу... Пердуновы. Их дед-прадед однажды на сельской сходке случайно произвёл звук – и тем обессмертил себя в потомстве.

Бабинкинский быт отличался крайней простотой. Из-за отсутствия леса (и даже лозы!) вокруг хат не было и подобия заборов. Почему-то мало было садов. Впрочем, возможно, это ошибка памяти, потому что у богатых – гм! гм! – Пердуновых нас угощали взваром (компот без сахара, приготовленный из сухофруктов – вряд ли привозных и покупных).

По рассказам Олэны, до начала зимнего сезона, то есть до первых морозов, здесь топят печь соломой с «опчего» двора – всё равно, надо ли что-то сварить, разогреть или помыться... Чтобы хватило этого «топлива», приходилось его носить мешками – но всё равно не хватало. Бани не было в этом огромном селе ни у кого – мылись в тазике или корыте. Не возле каждой хаты был «нужник» (кстати, он так и назывался). А учитывая почти полное отсутствие садов, спрятаться для отправления нужды было ох как непросто!

Чтобы выкупаться с дороги, нам пришлось распаковать собственное корыто: мама предусмотрительно взяла его с собой, набив доверху книгами, и это было одно из самых тяжёлых мест нашей клади. Корыто потом, уезжая, мать оставила вместе с книгами Олэне. У той ничего подобного и в заводе не было. Не пойму, в чём они с Нюркой мылись, да и мылись ли вообще. Во всяком случае, привезя с собою «польских» вшей, мы хозяйку этим не озадачили и не напугали: у неё у самой в обилии водились... «нащадки скифів».

На другой-третий день пошёл я в школу. С семилетней Нюрой оказался в одном классе – вернее, в классной комнате, потому что школа была «малокомплектная», и Нюркин первый класс занимался в том же помещении, что и наш третий, а учительница была у нас, как колхозный двор, «опчая».

Нюрка и другие ребяташки, для которых моё имя было ещё более редким и трудным, чем даже «Хацкель», стали звать меня «Хведько», а учительница – «Федей» (обучение велось на русском, а не украинском, хотя почти сто процентов жителей села говорили, как Наталка-Полтавка).

Сами бабинкинские жители, предки которых были переселены с Украины, о себе отзывались так:

– Ни, мы нэ руськи й нэ украинци: мы – хохлы!

Учительница же была настоящей русачкой с характерным средневолжским «акающим» говорком.

– Ты опять по-хохлацки? – то и дело кричала она Нюрке и другим детям. – Поставлю «очень плохо»!

На первом же уроке я щегольнул беглостью чтения и получил «отлично». «Молодец, Федя!» – сказала учительница.

На перемене в коридоре меня обступили ребяташки – из моего класса и из соседних. Стали толпой и молча глазели, как на чудо. Чтобы как-то выйти из неловкого положения, я принялся читать стихи из своего дворцово-пионерского олимпиадного репертуара. Но успеха, к какому я привык в Харькове, здесь не получилось: русский язык здесь плохо понимали.

Последовавшие затем две-три недели я провёл на диво бездельно и бездумно, как не живал потом никогда: не читал, не учился, немедленно нахватал плохих отметок. Ведь, кроме чтения, была ещё и арифметика, но я не решал ни задач, ни примеров... Не знаю, чем бы это закончилось, если бы мама не пришла к твёрдому решению: уехать отсюда немедленно.

Близилась зима. Работать ей было негде. Деньги, которые она получила по аттестату, не имели реальной цены из-за полного отсутствия рынка. Решение уехать было единственно правильным.

Но куда ехать? Этот вопрос был обдуман заранее и давно. Мамина младшая сестра Этя ещё в первые дни войны была эвакуирована со своими детьми и нашей с ними общей бабушкой

Сарой из Ленинграда в село Юму близ станции Свеча, Кировской области. Этот адрес, казавшийся (да и оказавшийся) наиболее стабильным, был намечен родителями для встречи или связи на всякий «пожарный» случай, столь возможный в дни войны.

Отправившись пешком в Елань по осеннему бездорожью, мама оформила в военкомате проездные документы, получила деньги по папиному аттестату, вернулась через день – тоже пешком – по пояс в грязи и объявила: едем!

Шпроты

Одиссея эвакуации... Что-то есть болезненно притягательное в воспоминаниях о ней, что-то мучительно сладкое в той горькой бедности, богатое и яркое – в самой скудости беженской нищеты.

Снова – и теперь уже на более длительный срок – всосала, втянула нас в себя гигантская аэродинамическая труба Дороги. Опять подвода – на этот раз не круторогие волы, а «пара гнедых», еле вытаскивающих копыта из немыслимой вековой грязи, чтобы снова погрузить их туда. Опять – Елань: скопление людей в крошечном помещении вокзала, узлы вразброс и вперемешку с телами спящих людей, неумытые, сонные лица. Драка возле кассы, драка и вой при посадке в поезд...

«Литер» – проездной документ, который был выдан маме военкомом как жене командира (вот только командира – чего?), – значительно облегчал наш путь. Он давал ей право на первоочередное приобретение билетов. Поэтому из Елани мы выбрались довольно скоро. Поездом доехали до Камышина – ближайшего волжского города с речным портом: отсюда по воде нам предстояло добраться до Горького.

В Камышине, оставив нас с сестрой на железнодорожном вокзале, мама ушла искать подводу. Стою возле вещей и вижу, как какой-то парень лет шестнадцати кому-то кричит, повторяя одно и то же – доказывая свои на что-то права:

– У меня отец больной на кр^овати лэжить! – (В слове кровать он ударение делал на «о»).

И опять – то же да то же:
– У меня отэць на кр^овати!..

Через минуту (видно, удалось доказать!) лихорадочно подхватывает вещи, командуя уже кому-то из своих:

– Давай цыберку! Беры чемайдан!

И во главе маленькой группки людей куда-то бежит, таща в руках наполненную чем-то «цыберку» (ведро), а за спиной – ещё какую-то тяжёлую поклажу.

А вот и наша подвода. Медленно тащимся по тихим предутренним улицам спящего городка к волжскому берегу. Длинный пологий спуск... С его верхней части открылась нашим глазам поистине драматическая картина: весь берег возле пристаней (помнится, их было две) буквально усеян людьми, спящими под открытым небом на узлах, чемоданах, мешках, подстилках, а то и просто на песке. Кое-где этот человеческий муравейник шевелился, пробуждаясь; люди куда-то брели, пробираясь меж узлов.

Впереди, сколько взгляд мог охватить, расстился спокойный волжский плёс, от него веяло холодной сыростью. Река была и спокойна, и, вместе с тем, охвачена мощным движением вправо от нас – к Югу, к своим низовьям, к Каспию. А из-за незаметного отсюда низкого восточного берега всходил, как в театре, освещая всю представшую нам панораму, оранжево-багровый солнечный диск.

Из написанных через несколько лет отроческих моих стихов:

*Расправившись с чумазым, вязким грузом
поволжской ночи,*

– звонкое, как день,

*камышинским разрезанным арбузом
вставало солнце,*

с тучкой набекрень.

*На ширь, несущуюся мимо города,
ложился ясный невесомый груз:
весёлый, светлый, яростный и гордый
разрезанный камышинский арбуз.*

*Над этой ширью, легшею не меньше,
чем на сто вёрст,*

*над изморозью тонкой
в безумном крике рвался голос женщины.
зовущей утонувшего ребёнка...*

Да, так было: над всей величественной и безмятежной розовой гладью и тишиной Волги – дикий, нечеловеческий вой, зов, уже полный отчаянья, но ещё не лишённый надежды:

– Рок-са– на! Ро-ок-са-а-а-на-а-а!

Потом мы увидели и эту несчастную мать: истерзанная внезапным горем, растрёпанная, шла она в сопровождении каких-то людей и повторяла:

– Она мне за молоком ходила! За молоком ходила!

В толпе рассказывали: ночью девочка пошла по надобности. Вероятно, оступилась и с пристани упала в воду.

* * *

Мы расположились, как и большинство беженцев, под открытым небом – благо погода была ясная. А если бы дождь, то и спрятаться негде: на пристанях под крышей всё было забито.

Мама поблизости где-то купила еду, в том числе молоко, которое налила в чайник, и огромный полосатый арбуз, в превосходном качестве которого (а камышинские арбузы, как узнал я после из учебника экономгеографии СССР, славятся на весь Союз) мы тут же убедились.

Через некоторое время маме удалось, благодаря всё тому же волшебному «симсиму» – воинскому литеру, взять билет на пароход, который шёл из Сталинграда до Горького чуть ли не последним в ту навигацию.

Мама привела двух носильщиков-«крючников», у каждого на спине и груди были специальные деревянные колодки – приспособления для груза. Они ознакомились с нашим багажом и заверили, что всё будет хорошо:

– Посодим, хозяйка, не волнуйся, посодим! – говорил один.

– А места какие? – поинтересовался другой.

– Мест не обозначили; говорят – в трюм идти надо, – объяснила мама. Начинённый морской романтикой Стивенсона, Жюль Верна и Адамова, я при слове «трюм» чуть не подпрыгнул от радости.

– В трюм? Можно и в трюм, – заговорили дядьки. – Лучше в носовой: там воздух чище. – Да и в кормовом неплохо! – Ну, в носовом-то посвежее. – Да, на носу получше. – Да ты, хозяйка, не сомневайся: посодим. Правда, Егор?

Егор кивал: «Посодим, посодим!»

Вскоре справа показался пароход. Он ходко приближался, бодро шлёпая по воде лопастями колёс, а на палубе были видны такие же люди, узлы, чемоданы – и так же вповалку, как на берегу.

Крючники ухватили наш багаж, и мы пошли к левой, товарной, пристани. Пароход подшлёпал к ней боком, матросы дружно выбросили трап. Огромная толпа штурмовала пароход. Остаётся для меня непонятным, как мы смогли протиснуться сквозь это сплошное людское месиво, да ещё и вещи пронести.

Пронесли, но не все. Часть осталась у носильщиков. Вот они стоят в толпе, вроде как волнуются, делают нам какие-то знаки, разводят руками: мол, никак не пройти, сами видите... Тем временем трап – узенький мостик с перильцами – втягивают на палубу. Отданы концы – и пароход, пятясь, боком и задом стал вырливать на стремнину – на знаменитый волжский *стрежень*.

Я стоял на палубе, держа в обеих руках чайник с молоком, только что купленным мамой на берегу. Вдруг заметил, что мама чем-то страшно расстроена и встревожена, на глазах у неё слёзы...

Что случилось? – стал я спрашивать у неё.

– Остались без продуктов – вот что! – выпалила мама в своей обычной манере «пылить» с досады. – Саквояж остался у носильщиков!

В старом, ещё ленинградских времён, саквояже был сосредоточен весь наш запас провизии – в том числе те самые сардины и шпроты, которые папа привёз из Махачкалы. Мама нам с сестрой их не давала, несмотря на умильные наши просьбы. Всё берегла для нас же – на чёрный день. И вот: этот день на-

стал, а шпрот – нет... И сардин тоже нет. Драгоценные деликатесы достались плутоватым волжским крючникам.

Надолго потом в нашей семье эти шпроты оставались символом излишней осмотрительности и экономии. Вывод был таков: долой чрезмерную запасливость и опасливость – следует жить по преимуществу текущим днём!

И часто, благодаря камышинскому прецеденту, нам с сестрой, пока жили с родителями, скромные деликатесы трудных лет перепадали до срока. Может, без полученного тогда урока мама и старалась бы растянуть вкусенькое на более длительное время, но как вспомнит, бывало, злополучный эпизод, так и рукой махнёт, лишь скажет одно словечко:

– Шпроты!

И всё отдаёт нам сполна – без заначки на будущее!

Пароход

Итак, мы остались без крошки хлеба на переполненном пароходе, который отшлёпывал своими колёсами последний рейс в тот навигационный сезон. У нас не осталось буквально ничего съестного – даже чайник, который я держал обеими руками, украли вместе с молоком. Услыхав от мамы страшную новость, я так растерялся, что поставил чайник перед собою на палубу. И его немедленно спёрли у меня из-под носа.

Положение, в каком мы очутились, было, действительно, куда похуже губернаторского. Посреди великой русской реки, откуда до любого из двух берегов и вплавь не доберёшься, на пароходе, где, по условиям военного времени, не было ни столовой, ни ресторана, ни даже завалящего буфета, где пассажиры пуше всего берегли те горстки продовольствия, которые удалось прихватить с собой, мы могли вполне свободно опухнуть от голода – ведь путь предстоял долгий (до Горького мы плыли десять суток!). А если учесть возможные болезни, которые, как хищники, подстерегают голодающих, то вполне свободно можно было и окачуриться...

У мамы были деньги – если правильно помню, рублей пятьсот: на тот момент вполне приличная сумма. Но тратить их

на пароходе было не на что, а сойти на берег во время стоянок, продолжительность которых никогда не была известна, она боялась панически: вдруг пароход отчалит, и мы потеряемся!

Итак, положение было отчаянное. Но пока что нужно было как-то устроиваться: не стоять же на палубе с вещами.

Спустились в трюм, уже не разбирая: кормовой он или носовой. Народу и там – яблоку негде упасть. Единственное свободное место – под лестницей. Тут мы и расположились – и лишь тогда поняли, отчего оно пустовало: с дощатых ступенек вниз, в просветы между ними, сыпалась всякая дрянь – ведь по ним спускались и поднимались люди...

Рядом, на более удобном месте, расположилась группа кавказцев. Их томило вынужденное безделье.

– Карты есть? – спросили они у мамы. Странно, что у нас они оказались с собой – уж не знаю, на какой случай: в нашей семье в карты играли очень редко, а не гадали по ним, практически, никогда, разве что сестрёнка, бывало, раскладывала пасьянс. Мама обрадовалась случаю и тут же обменяла эту колоду карт на кулёк сухариков.

Радостно голгоча, кавказцы пустились в игру, а мы стали грызть сухарики.

Я есть не хотел совершенно и потому равнодушно отложил свою долю. Как вдруг моя 16-летняя сестра разрыдалась: этой фантазёрке померещилось, что я... уже помираю от голода! Хотя прошло от силы полтора часа, с тех пор как мы остались без продуктов.

Не помню, сколько времени мы просидели под лестницей, но, как только какая-то семья выбралась из трюма, заняли её место.

Мама ушла на поиски съестного – и преуспела: кто-то продал ей за бешеную цену 12 килограммов картошки... и это был единственный наш рацион во все десять суток пути. Готовить можно было на общей кухне. Выстояв в очереди, мама сварила первую порцию, мы с наслаждением ели. А на нас, не отрываясь, смотрел какой-то парнишка лет 16-и. Не выдержав этого голодного взгляда, мама пригласила паренька поесть. Так у нас появился нахлебник и друг Коля – сын военного фельдшера, служившего где-то неподалёку от западной границы.

По рассказу Коли, отец поехал в город «за медика́ментами», а в это время немцы перешли границу. Коле удалось бежать, и вот теперь один, без родных, он ехал к каким-то друзьям или родственникам семьи.

Движение маминогo сердца было вознаграждено: парнишка привязался к нам и не только ничего не утащил, но и сторожил наши вещи, когда нам хотелось вместе выйти на палубу, чтобы глотнуть свежего воздуха и полюбоваться Волгой, которая невообразимо прекрасна даже тогда, когда вам мучительно хочется есть.

Всё чаще мы гуляли вдвоём с Колей. Я привязался к нему, он – ко мне.

– Ты кем хочешь стать, когда вырастешь? – спросил как-то Коля.

Этот вопрос меня всегда ставил в тупик. Но, если помните, меня когда-то от подобных затруднений вылечил Виля, подсказав клишированный ответ:

– Военным инженером!

Так я, не задумавшись, ответил и на этот раз – и не ожидал, что Коля этот ответ запомнит.

К борту нашего парохода «Серго Орджоникидзе» была принайтована большая баржа, в которой ехали то ли из Астрахани, то ли из Сталинграда ученики какой-то школы ФЗО (фабрично-заводского обучения). Школа перебиралась в другой город, подростки находились без должного призора, случались драки и, говорили, довольно кровавые. Поэтому мама боялась отпускать меня одного на палубу и была рада, когда я шёл с Колей. Между тем, на пароходе трудно было попасть в туалет – пассажиров было так много, что возле него стояли огромные очереди, и мы с Колей, пользуясь своим мужским преимуществом, за малым делом выходили прямо на борт нижней палубы. Оттуда совсем близко было до водной поверхности, перил, ограждающих палубу, здесь не было, и по первому разу у меня дух захватило от несущейся почти у ног воды, взбаламученной пароходным колесом, поэтому у меня ничего не получилось...

– Эх ты, – упрекнул он меня. – Хочешь быть военным инженером, а ссать на ходу не умеешь!

Так я, наконец, узнал, что должен уметь военный инженер. Может, потому-то мне и не довелось сделать карьеру по этой части?

Коля вышел где-то возле Казани, а на остаток пути у нас появился новый нахлебник – тоже молодой парень. Он говорил с нажимом на «о» и чем-то напоминал молодого Горького – даже книжки любил читать, как Алёша Пешков. От крох нашей картошки и ему кое-что перепало, но точнее будет сказать, что мы вместе голодали.

Голод всё сильнее давал себя знать, но мама так ни разу и не сошла с парохода на пристань. Ели мы дважды или трижды в день по несколько картофелин безо всякого жира. Сначала и без соли, а потом мама раздобыла где-то горсточку – видно, это ещё не стало неразрешимой проблемой.

Почти всё дневное время и часть вечернего я проводил на верхней палубе. Стоял у перил и любовался берегом, широкой и мощной гладью реки, кипеньем воды у колёс, маленькими красными бакенами. Особенно хороши были Жигули: высокий гористый берег, покрытый лесами, полуоблетевшими, но ещё хранившими остаток золотых и багряных осенних нарядов.

В трюме было и душно, и скучно. Там высоко над головой в круглых иллюминаторах виднелась жёлто-зелёная вода, как бы неподвижная, но дававшая почувствовать, что мы находимся на глубине. Под ногами мерно подрагивал пол, но больше ничто не напоминало о том, что мы движемся. Прожевав порцию картошки, я опять спешил вверх – на палубу. Здесь сновали толпы беженцев. Как-то раз один из них бросился ко мне и назвал по имени. Я узнал Илюшу Злотаюбко – родного брата нашего Ёни. Неожиданные встречи бывают, оказывается, не только в кинофильмах.

(Жена рассказывала мне о том, как эвакуировалась – тоже из Харькова – её семья. Отца задерживали на работе, он отправил их (свою жену и двоих детей) каким-то эшелоном, а потом уж, в один из последних дней перед сдачей города, уехал и сам. Он ничего не знал о них, они – о нём. И вот однажды Миша, старший брат моей жены, выглянув из вагона, увидел на платформе отца – тот вышел на минутку из своего поезда... Так они встретились и воссоединились. Если подумать, ничего

странного и чудесного в том не было: направление было одно, пути-дороги – одни. Но на этих дорогах куда больше было потерь, чем встреч).

Увы, встреча с Илюшей не была радостной: он сообщил нам о сдаче Харькова (значит, то было после 24 октября). Грустно было представить, что в нашем городе хозяйничают немцы. Но что с папой? Жив ли он? Илюша не знал ничего.

Я бродил по палубе, заглядывал в окна «кают-компаний», как называл про себя общий салон для отдыха пассажиров (но, может быть, он и впрямь так назывался), в окна кают первого и второго классов. Там шла своя жизнь – какой-то осколок мирной, довоенной. В кают-компаниях кто-то музицировал на фортепьяно, несколько человек сидели в креслах, читали. В одной из кают женщина кормила с рук толстушку девочку – та с аппетитом откусывала от большой белой булки, намазанной маслом с повидлом... Я сглотнул слюну.

На пароходе ехали люди не просто разного достатка и удачи, но как бы совершенно противоположные. Я познакомился с беспризорным мальчиком лет восьми. Куда оно направлялось, это совершенно одинокое дитя в драной одежде, в ветром подбитом пальтишке? Мальчик жил подаяннем. При этом он совершенно не дорожил пищей, не откладывал её про запас. Однажды на стоянке, насытившись частью того хлеба с маслом, которым его кто-то угостил, он без малейшего сожаления швырнул остаток с борта в какую-то ему одному ведомую цель на пристани. Помню, что хотя я и завидовал той девочке в каюте, но теперь ещё большая зависть охватила меня к этой лихости, свободе поведения, и особенно понравилось, что он так презирает еду и вообще благополучие и благопристойность. Может быть, под влиянием этого мальчика я переставал слушаться маму, уходил без спроса. Мама отругала меня, но я, вместо того чтоб повиниться, взбунтовался: лёг спиной на грязную наклонную плоскость, прикрывавшую какое-то сооружение в трюме... Мама, изумлённая таким не присущим мне поведением, сочла за благо оставить меня в покое.

В Казани или Чебоксарах освободилось несколько полок в каюте четвёртого класса, и мы перешли в более человеческие условия. Здесь познакомилась с какой-то семьёй, Марлена свела дружбу со своей сверстницей. В этой или в какой-то другой

семье рядом с нами ребёнок болел корью, и мама беспокоилась за меня, так как я этой болезнью ещё не переболел. Но некуда было деться, и пришлось положиться на судьбу.

Когда на берегу открылся вид Казани, то больше всего меня поразили трамваи – я их не видел уже целый месяц, а в жизни ребёнка это огромный срок. Волга здесь была уже не столь широка. Становилось холодно. Навигация могла прекратиться со дня на день.

Но вот, наконец, как-то к вечеру (уже в первых числах ноября) пароход доплёлся, наконец, до южных пригородов Горького и... остановился посреди реки. Вокруг, впереди, позади нас стояло на якоре множество судов. В Горький их не впускали: там шла бомбёжка.

Из огня мы попали в полымя – опять приблизились к фронту. Надо же было перенести месяц мытарств, лишений, голода, чтобы, удрав от войны и бомбёжек, вновь вернуться в полосу действий вражеской авиации!

Знакомая нам картина открывалась вдали: над городом бродили по небу яркие пучки прожекторных лучей, зенитные пулемёты прочерчивали алые пунктиры трассирующих очередей, вспыхивали разрывы, взмывали сигнальные ракеты, зависали и медленно спускались осветительные... Где-то пылали пожары.

Всё это – яркое, блестящее, вспыхивающее и гаснущее, зеленое, красное и розовое, – отражалось в волжской тёмной воде, озаряло фантастическими контурами стоящие на рейде суда и было полно величественной и ужасающей красоты.

Наконец утром мы прибыли в Горьковский речной порт и пришвартовались борт о борт к стоящим у пристани пароходам.

Эвакопункт

Чтобы пройти на берег, надо было миновать поперёк целую анфиладу стоящих бортами друг к другу судов. И вот мы опять на твёрдой земле. Я уже читал к этому времени «Детство» и «В людях» Горького и с интересом смотрел по сторонам на нижегородские улицы, по которым нанятая мамой подвода везла наши пожитки к железнодорожному вокзалу. А сами мы

шли пешком, едва поспевая за телегой и лошадьми, которыми командовал сухонький старичок с небольшой, клинышком, бородёнкой, похожий, как я решил, на деда Каширина.

Но вот мы на привокзальной площади... Здесь мама узнала, что до станции Свеча надо ехать поездом на Котельнич. Там предстоит ещё одна пересадка, а прямого поезда нет.

Приобрести билеты, даже имея воинский литер, оказалось нелегко. Мама заняла очередь к воинской кассе, но когда будет поезд, никто не знал. Пока что нужно было найти хоть какой-то кров: повалил густой снег, и вскоре площадь и весь город приняли совершенно зимний вид. Снег прекратился, но тут-то и ударил мороз.

Напротив вокзала, в здании клуба железнодорожников, прямо в кинозале и фойе расположился эвакупункт. Надолго потом, вплоть до момента, когда я воочию увидел гулаговский лагерь, слово «эвакупункт» стало для меня синонимом самого страшного в жизни.

Зал, из которого вынесены все стулья, был весь заполнен людьми, покато лежавшими на своих узлах и чемоданах и прямо на полу. А новые всё прибывали и прибывали, становилось всё тесней и тесней. Убывающих было куда меньше, чем прибывших. Нам удалось найти место где-то вблизи от киноэкрана. Чтобы выйти, приходилось почти что ступать по телам. Вся эта масса грязных, измученных, покрытых вшами людей беспрестанно двигалась, чесалась, ворочалась, кашляла и стонала.

В нашем углу, возле киноэкрана, была невероятная духота и жара. Единственная незакрытая дверь на улицу была с противоположной стороны зала, от экрана то и дело кричали: «Нечем дышать – откройте дверь!». Но едва кто-то выполнял эту просьбу, как там, у двери, поднимался бешеный вой: «Закро-о-айте! Скво-зи-и-ит! Здесь же дети!!!»

«У них дети, а у нас щенята?!» – кричал экран. Такие перебранки длились часами.

В памяти на всю жизнь отпечаталась картинка: женщина из Литвы, беженка с уже многомесячным стажем, во сне расчесывает изъеденные вшами ноги, задирая юбку всё выше и выше и бесстыдно обнажая белые, в расчёсах, полные ляжки.

Кажется, ночь мы провели здесь, на следующий день поездов на Котельнич, вроде бы, не предвиделось, и мама решилась рискнуть, чтобы на следующую ночь обеспечить нам более подходящий ночлег. Здесь, в Горьком, жила папина двоюродная сестра Хава Вол с сыном Мариком. Они уехали из Харькова задолго до нас, ещё до начала массовой эвакуации, и у мамы был их адрес.

Мы долго ехали куда-то в промёрзлом трамвае, потом шли пешком и, наконец, добрались до места. Хава с сыном занимала одну маленькую комнатку в первом этаже большого дома. Нас встретил юный Марик, а через некоторое время явилась и сама Хава. Мама начала ей рассказывать нашу одиссею – и не могла сдержать слёз. Зарыдав, отвернула ворот своей кофты – там по белью ходором ходили вши...

У Хавы в комнатке было по-довоенному чисто. Она вытаскала нам белоснежные простыни, постелила на полу, подложив что-то мягкое, и мы с сестрой словно провалились в столь крепкий сон, что ночью, когда началась сильная бомбёжка, мама не смогла нас разбудить, – я смутно помню сильный грохот близких бомбовых разрывов, голос матери, напрасно уговаривавшей нас подняться и идти в убежище, свою страшную усталость и полную отрешённость от всего, кроме желания сейчас же вновь уснуть...⁴⁶

Утром, вернувшись на вокзал, узнали, что наш поезд ночью ушёл. Предстояло ждать следующего. Над заснеженной площадью, наспех украшенной красными флагами, раздавался из уличных громкоговорителей глуховатый голос Сталина – в Москве шёл знаменитый военный парад, позднее вошедший в легенду.

Было 7-е ноября 1941 года.

⁴⁶ *До чего же меняет людей к худшему прогресс и комфорт! С течением времени условия жизни улучшались, и где-то в 60-е годы я позвонил к родственникам в Москве, радушно принимавшим гостей из провинции даже в единственную свою комнатку в барачном общежитии. Теперь они были обладателями двухкомнатной отдельной квартиры. Но хозяин (родной мой дядя) «честно» предупредил: «Только ночевать у нас нельзя: нам тебя не на что положить»... – -Примечание 2005 года.*

На финишной прямой

Следующий кадр, который ярко вспыхивает в памяти – станция Котельнич. Всё вокруг утопает в снегу, внутри маленького вокзальчика разместиться втроём просто не получилось – еле втиснули наши вещи и на них погрузили мою обезножившую сестру: к ней прицепилась какая-то болезнь, при которой она почти не могла стать на ноги... И тут выяснилось, что сесть в поезд, чтобы проехать в нём всего 50 километров до Свечи, решительно невозможно: билетов не продают, проводники не открывают вагонных дверей, а поезд останавливается на считанные минуты.

Между тем, силы наши были на исходе. Мало того, что Марлена заболела, так и у меня поднялся сильный жар. Мама даже не стала измерять температуру: градусник не лечит... Она понимала без врача, что я заболел-таки корью: заразился от того младенца на пароходе...

Свалиться на последнем отрезке пути было бы уж слишком обидно. Мама, и сама-то на пределе своих возможностей, принялась взбадривать меня криком и строгостью. В обычных условиях кричать на больного ребёнка считается негуманным. Но сейчас высшим проявлением материнской нежности и заботы была резкость и даже грубость. И мама не остановилась перед самой крутой и решительной жёсткостью, которая могла показаться жестокостью.

Я стоял у станционного штaketника и слизывал шапочки снега с остроконечных его дощечек. Мама увидела – и резко выбрала меня. Кто-то ей посоветовал поискать на базаре попутной подводы. Я не выказал к этому ни малейшего интереса – хотел остаться рядом с Марленой на узлах: меня размаривала, ломала болезнь. Останься я там в тепле – и меня бы окончательно сморило, но она потянула меня с собой.

Мы шли по базару между подводами, и мама всё спрашивала то у одного, то у другого возчика:

– Дедушка, вы – не дальние? Не из Свечи случайно?

Но нет, дальних было много, из Свечи – никого. Мы вернулись к вокзалу, мама была вконец растеряна, мы остановились опять у штaketника возле перрона, как вдруг я услышал чей-то приглушённый возглас:

– На Свечу? До Свечи! Да, машина...

Две-три фигуры метнулись за здание вокзала. Я крикнул маме:

– Там машина до Свечи!

Мама опрометью кинулась за здание, крикнув мне:

– Стой на месте! Никуда не уходи!

Вернувшись бегом, схватила меня за руку, потащила к Марлене, к вещам. Через две-три минуты мы уже сидели в кузове грузовика, Марленку с её отказавшими ногами удалось посадить в кабину рядом с шофёром.

То была редкая и тогда, а ныне вовсе не известная широкой публике полуторка-«газик» с так называемым *газогенераторным* двигателем: рядом с кабиной был подвешен металлический цилиндр – газогенератор. В тех местах было изобилие лесу и дров, и автомобиль работал не на бензине, а на газе, который вырабатывался в газогенераторе при сгорании деревянных чурок. Может, и сейчас есть такие машины, но мне с тех пор не встречались.

Грузовичок затрясся на укатанной снежной дороге, и вскоре мы очутились в лесу, какого я никогда ещё не видывал. Тяжёлые лапы елей свешивались над нею с обеих сторон, мы то и дело должны были нагибаться, увёртываясь от них, но всё равно с веток сыпались на нас хлопья снега.

Кто-то из ехавших с нами сказал, что шофёр «боится волков». Моё воображение, хотя и затуманенное болезнью, всё же сработало, и я себе живо представил, как на нас нападает волчья стая – то ли как на героев Джека Лондона (я с трепетным интересом прочёл уже к тому времени его рассказ «Любовь к жизни»), то ли как на барона Мюнхгаузена, у которого волк съел лошадь на ходу, сам очутившись в её упряжке ...

Однако очень скоро выяснилось, что под «волками» здесь подразумевали милицию – наверное, и тогда левачество преследовалось.

В одной из попутных деревень остановились ночевать – у шофёра была здесь то ли родня, то ли кума.

Нас поразили грандиозные размеры бревенчатого дома, а особенно – прилегавших к нему просторных служб, крытого двора и сараев. В степях Украины, где лес в дефиците, такого

размаха просто не знают, да и в России далеко не везде строят столь щедро и расточительно.

Хозяйка стала жарить на сале в громадной сковороде мою любимую картошку. Но есть я почти что не стал: еда не лезла в горло. На ночь меня устроили спать на лежанке колоссальной русской печи, но всю ночь я промаялся в каком-то полузабытьи, поминутно просыпаясь: это бродила во мне болезнь.

С утра возобновили путь, но ехали почему-то медленно – скорее всего, из-за несовершенств нашей газогенераторной техники. Водитель то и дело останавливал свой драндулет, чтобы то подтянуть болт, то «задать корму» своему газогенератору, и лишь часам к трём мы добрались до окрестностей Юмы, оказавшейся ближе Свечи. Но тут машина сломалась капитально.

Дорога шла вдоль железнодорожной линии Котельнич – Свеча в каких-нибудь ста метрах от неё. Навстречу нам ехал обоз колхозных саней, в них – старики в тулупах.

– Далеко ли до Юмы? – крикнула мама.

– Три километра! – отвечали мужики.

Всего три километра до цели... Позади – тысячи километров: по рельсам, по воде, по грязи и снегу, на лошадях и на быках, в пароходе и на *газогенераторной* машине... И вот теперь эти последние три километра предстояло проделать пешком.

Марленка осталась в кабине газика, а меня мама потащила с собой. Минут через сорок вошли мы в большое село – именно село, а не деревню, так как в тех местах деревней зовётся населённый пункт без церкви, а в Юме она когда-то была. Теперь сохранились только её останки, лишённые колокольни. (Ну, что за страсть такая владела провинциальными богоборцами: сносить именно звонницы? Может быть, не переносили эти плюгавые души, чтобы хоть что-то выделялось над общим ранжиром?!) В том, что осталось от сельской церквушки Юмы, теперь помещалась колхозная кузня... Впрочем, мы об этом узнали, конечно, позднее.

Мама стала расспрашивать прохожих о своей сестре – нам указали дом, где она жила. Эту, мамину младшую сестру, здесь знали по имени.

Но когда мы в этот дом вошли, то оказалось, что буквально на днях Этя с семьёй переехала в соседнюю деревню,

которая называется... Содом (я, конечно, ещё не мог воспринять комичность такого названия в дальней дали от земли Ханаанской).

– Да тут недалёко! – сказала хозяйка, – вам девочка покажет – дочка моих *выковырянных* (так она, да и не только она, произносила трудное нерусское слово «эвакуированные»).

– Света! – позвала хозяйка. Прибежала девочка – восьмилеточка.

– Тётю Этю знаешь? – спросила мама.

– Знаю! – радостно зашебетала девочка, в которую я, несмотря на мою болезнь, немедленно решил влюбиться. – Знаю и тётю Этю, и Зорю, и Вову, и бабушку Сару... и дядю Додю!

«Дядя Додя» был мой отец, меньше всего мы ожидали, что здесь кто-то мог знать его имя.

– Да ведь дядя Додя в Харькове остался, – сказала мама, боясь поверить внезапно вспыхнувшей надежде.

– Нет, он приехал! Приехал! – радуясь нашей радости, крикнула моя новая и мимолётная любовь. – Да я его сейчас приведу!

Быстро надев пальтецо, накинув на голову шерстяной платок, сунула ноги в валенки – и была такова. Мама поспешила за нею в Содом, а меня, как уже совершенно немощного, оставила дожидаться в избе. Через каких-то двадцать-тридцать минут в комнату вбежал папа – и бросился меня обнимать.

* * *

Последнюю весточку от отца мы получили в Елани. Когда мы в нашей подводе по дороге к станции проезжали мимо почты, мама забежала туда и вышла с прибывшей «до востребования» открыточкой из Харькова. Папа писал, что вопрос его призыва не решился, но что он не теряет надежды. С этого момента около месяца мы ничего о нём не знали. За это время Харьков был сдан немцам. Конечно, всего можно было опасаться. Жив ли он? Успел ли выбраться из осаждённого города? Или, может быть, всё-таки получил долгожданное назначение и находится на фронте? Встретимся ли когда? Все эти мысли одолевали маму и, возможно, Марлену. Своих размышлений на этот счёт не помню.

Лишь через много лет мне стало известно, как завершилась навсегда папина военная карьера.

В Харькове райвоенкомом по месту нашего жительства был тогда майор Супоницкий. К нему-то отец и ходил отмечаться и вымаливать отpravку на фронт.

Супоницкий прятал глаза, всячески тянул время. Наконец, числа 10-го октября, когда немцы стояли уже у порога города (до его сдачи оставалось лишь две недели) отец в очередной раз пришёл отметить. И тут военком, один на один, вдруг сказал ему:

– Рахлин! Слушайте меня внимательно. Я не должен бы вам об этом говорить, но скажу: мне вас жаль, я хочу вас спасти. Дело в том, что вас призвали ошибочно. Поступило указание: *таких, как вы*, не брать: у вас *политическое пятно* в анкете. Не ходите и не просите, не то доходите до немцев. Уезжайте скорее! Назовите мне любой тыловой военкомат – и я вам оформлю проездные документы. Это всё, что я могу для вас сделать.

Так папа попал в Свечу.

На попутном тарантасе ехал он в кошёвке – плетёной из лозы коляске – в Юму, а возница – подросток лет пятнадцати – рассказывал местные новости.

– Дяденька, – сообщил парнишка, делая страшные глаза. – а у нас тут *овреи* есть!

– Да ну? – Отец сделал вид, что поражён сообщением. – И какие же они из себя? С хвостом? С рогами?

– Да не, ты чё! – решительно возразил паренёк. – Они точь-точь такие, как вот ты, либо я...

С полмесяца или больше прожил папа у Эти в беспокорстве и неведении о нас. Он взялся на учёт в военкомате и устроился на работу: директором районного Дома культуры. Никакого «Дома», собственно, не было, культуры – тоже, но должность – была. Директор несуществующего Дома должен был развозить свою собственную культуру по колхозам района, читая там лекции.

Судьба пощадила нашу семью, сохранив её для будущих испытаний. Но в тот момент сколько семей могли бы нам позавидовать! В конце пятого месяца кровавейшей из войн живой, бодрый, здоровый, только исхудалый, стоял отец в чужой избе и обнимал своего младшенького. Меня.

Intermezzo-5

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

*Когда б не занятость, не лень,
когда в финансах вдруг да проблеск, -
в один прекрасный зимний день
махнуть бы в Кировскую область!*

*Привет вам, сонные леса,
и деревянные деревни,
и говорок – дремучий, древний,
как дальних предков голоса!*

*Я оболокся бы в тулуп,
обулся в мягкие шубеньки,
прошёлся чинно по селу б –
глядел, как балуют робеньки.*

*От мыслей мелких отрешён,
прошёл бы от Свечи до Юмы -
и всё бы шёл, да шёл, да шёл –
счастливый, праздничный и юный.*

*Блестит дорога вдалеке,
коричневая от навоза,
застыли дымы в столбняке,
и солнце пляшет от мороза.*

*Вот мчатся сани. – «Подвези!» -
вскочил, уселся бы на сене,
мальцам прохожим погрозил,
чтоб тут же следом не насели;*

*провёл бы в бешеной езде
остаток дня, устал бы страшно,
а поздно вечером, в избе,
вкушал живительные брашна,*

*тянул горячий чай взахлёб
(хозяин баит: «То-то баско!),
благодарил бы всех за хлеб-
за соль, да за привет и ласку...*

*Вот так, однажды навсегда,
кусочек родины запомнишь –
и этой памятью себя
на веки вечные заполнишь.*

*Приходит в ы с ш а я любовь,
тобой угаданная в детстве,
и ты готов на труд и бой, –
пока Россия бьётся в сердце.*

Глава 6

Свеча

Русский Содом

В Содоме, в большой русской избе-пятистенке, на меня набежала с поцелуями крошечная, старая, белоснежно-седая еврейка – моя бабушка Сара, мамина мама, с ленинградских времён мною начисто позабытая. Теперь я с интересом слушал её чудовищно ломаную русскую речь.

– Фэлинькэ, возьми эту тарелек и кушай эту кутлети, – уговаривала она меня, что означало предложение съесть котлету, ожидающую меня на тарелке. Полотенце называлось у неё – «пулутенец», блюдец – «блюдэце»... Но к речи вятских аборигенов она относилась весьма критически – со мною, например, сразу же поделилась таким своим диалектологическим наблюдением:

– Здесь гувурят: «Тё!»

Так она попыталась передать смешную особенность местного говора: на зов здесь откликались, вместо» «что?» или «чего?», – «чё». Как в позднейшей шуточной песенке: «Чё те надо, чё те надо?»

Взволнованно и молча улыбалась полузабытая ленинградская сестра Зоря, сновал по избе маленький тупоносенький Вовка – его я помнил младенцем. От радости потирая руки, хлопотала вокруг нас Этя – такая же, как мама, маленькая, но с

лицом ещё более широким, с широко поставленными глазами, доброй улыбкой.

Хозяйка, Матрёна Яковлевна, дебая и курносая крестьянка лет 50-и – 55-и, накинув козушок и платок, пошла в огород топить баню.

Потом было первое купание в этой Матрёниной бане, топившейся «по-чёрному», то есть без дымохода, – ужасно жаркой, душной и копотной. Вернувшись оттуда, я слёг основательно и надолго. Надо мною склонялись в тревоге родители, на меня глядели их взволнованные лица. Мне и в самом деле было очень плохо, градусник показывал температуру за тридцать девять, но (и это до сих пор вызывает у меня жгучее чувство стыда и раскаяния) я ещё и немного играл в тяжёлую болезнь (почему-то мне нравилось попугать родителей), и я стал разыгрывать бред – кричал: «Уйди от меня, старуха!», а потом с удовлетворением слушал, как папа маме говорит удручённо обо мне:

– Бредит!..

Дня через два температура упала, и я, добавивая, с любопытством стал присматриваться к окружающему миру.

Хозяйка, Матрёна Яковлевна Шашмурина, была брошенная жена. Но точнее – мужа у неё забрала советская власть. Его во время коллективизации «раскулачили» – и выслали, почему-то одного. Теперь он жил в Горьковской области, в Лысьве, и завёл там другую семью. А к одинокой Матрёне прибилась отпущенный на волю белорус Пётр Антонович (фамилию его забыл) – тоже, должно быть, «раскулаченный», только в других местах, куда ему возвратиться было, как видно, нельзя. Вот так большевики перетасовывали семьи крестьянские по всей стране: Федьку от Мотьки – к Катьке, Витьку от Катьки – к Надьке, а Надькиного Петьку – опять-таки, к Мотьке... Круговорот мужей и жён...

Матрёнин Петька был прекрасным сапожником, но и пьян бывал, по пословице, как сапожник, в стельку и, по пословице же, как сапожник, ругался. Особенно любил завернуть «в бога», «в душу», сразу «в бога душу мать», «в богородицы душу», а то и «в три господа бога душу мать»!

Работал Пётр Антонович в районном центре – Свече, но часто запивал и прогуливал. До поры до времени на это смотрел-

ли сквозь пальцы, цена в нём чудесные, поистине золотые руки мастера. Матрёна сильно его ревновала, называла: «Петькя-волоучшкя» и «лешой» (то есть – леший).

Родители с ним быстро договорились, и он пошил мне сперва великолепные «шубёньки» (мягкие чуваки из овчины мехом вовнутрь), а затем – бурки: из фетровых дамских гетр, привезённых папой из Харькова (происхождение и судьбу доставленных им оттуда вещей поясню потом особо).

Марлена тоже лежала больная. Её показали местному доктору Ковалю (выходцу из Украины), и он быстро поставил диагноз, позже подтвердившийся: «узловатая эритема». Вскоре сестра стала ходить, но последствия болезни сказывались потом на её здоровье в течение всей жизни.

Настал, наконец, день, когда и мне разрешили ходить в школу. Она располагалась в Юме, то есть за километр или полтора от нашей деревни. Стоял жестокий мороз, а родители почему-то забыли снабдить меня рукавичками. По дороге в школу Марлена несколько раз согревала мне руки в своих ладонях. Я вошёл в переполненный детьми класс, они обступили меня, разглядывали, но совсем не так тупо и бессловесно, как в Бабинкине, а живо, с комментариями. Интересно, что я, помнящий до сих пор пофамильно почти весь состав своего довоенного харьковского класса, из юмских одноклассников запомнил не более двух-трёх.

А ребята были забавные: заросшие, нечёсанные – ну прямо некрасовские «крестьянские дети». Лезли, наваливались, старались заглянуть в мою (отцовскую) командирскую сумку, читали на обложке моих тетрадей (большую пачку которых привёз папа) непривычное им украинское слово, означающее «тетрадь», забавно смещая ударение:

– Зошит! Зошит! (а надо: «зо́шит»)...

Один из толпы ребятишек, русоголовый Вася, тянул жалобно:

– Мария Васильевна, посади со мной (показалось ли мне, или он в самом деле говорил с учительницей на «ты»?).

Мария Васильевна и впрямь посадила меня возле Васи. А дальше за всё пребывание в третьем классе не помню, фактически, ничего! Хотя здесь, в Юме, учился не так, как в Бабин-

кине: там просто ничего не делал, а теперь – старался, подолгу пыхтел над задачами по арифметике и, бывало, плакал с отчаяния, когда не мог их решить.

Сотни «зошитов», привезённых папой из Харькова (перед его сдачей все складские запасы были «выброшены» на прилавки) хватило ненадолго – я их пораздавал одноклассникам. Писать-то детям было не на чем, вскоре и я оказался в таком же положении. Папа и мама поступили на работу, и кто-то из них принёс домой сброшюрованные квитанции, наряды, накладные, бланки... вот на них-то мы и писали. И это было ещё роскошью: большинство использовало в качестве тетрадей всякую макулатуру, брошюры «о передовых методах», купленные в местном книготорге – писали на них в промежутках между строк.

...Но это всё – потом будет, а теперь, в первый день, я ведь должен ещё домой вернуться. Без перчаток...

Марлена, у которой было в день по шесть уроков, осталась в школе, а я, после третьего или четвёртого, отправился домой. Друзей приобрести ещё не успел, шёл без попутчиков. Мороз же был для тех мест небольшой: градусов тридцать. За четверть часа обратного пути – как не отморозил я руки, понять не могу. Прибежал домой, а через минуту плакал от нестерпимой боли: пальцы стали «отходить» в тепле. Хорошо, что отец, оказавшийся дома, догадался подставить свою, тогда ещё буйную, шевелюру, велел мне запустить в неё пальцы.

Потянулись однообразные деревенские дни... По вечерам Матрёна закрывала ставни, заслоняла поверх них окна соломенными щитами. Затапливали железную печурку в отгороженной от всей избы кухне. Печка быстро накалялась докрасна, красными пятнами светились в полутьме железные трубы, коленами изгибавшиеся к дымоходу русской печи. Семья усаживалась вокруг печурки греться.

Спать ложились рано, как и всегда бывает в деревне. Мы, ребятишки, залазили под самый потолок на широкие полаты, Матрёна с Петром Антоновичем спали на печи – на лежанке, мои родители – на каком-то сундуке...

Ели по-деревенски: все – из одной миски. Ложки были деревянные. В сенях стояла кадушка с квасом, в ней плавал

ковшик – или висел, зацепленный изгибом ручки за край кадушки.

Двор был большой, крытый; во дворе, пристройкой к избе, стояли различные службы: подклеть, повесть, сеновал, ещё там что-то... В сараюшке обитала хозяйкина живность: коза Манька, петух да куры. Коровы у Матрёны не было, не помню и поросёнка.

Ещё до нас в доме жили какие-то квартиранты – «солдаты», как о них говорила Матрёна Яковлевна, а скорее всего – мобилизованные трудармейцы. Мы их не застали уже. Но одновременно с нашей семьёй там жила на квартире здоровенная деваха Маруся – десятиклассница, приехавшая на учёбу из районной глубинки, где не было средней школы.

Утром, ещё в темноте, шагали мы с Зорей в школу – она училась в пятом, я – в третьем. Зоря была лишь на год старше меня. Крупная, круглолицая, румяная, сероглазая, очень застенчивая, она нежно любила мать, отца, брата, а заодно и всех остальных родственников. Эта преданность, самозабвение, самоотверженность остались в ней на всю жизнь.

В тот год она стала для меня первым и главным другом. Мы много один другому рассказывали: она – о Ленинграде, я – о Харькове. В Ленинграде остались Гита с Вилей, которого Зоря любила, как и всю родню, а я боялся его до сих пор. Под Ленинградом, в Колпине, был на фронте её отец – дядя Шлёма. Изредка от него приходили короткие, бодрые письма, заканчивались они, как правило, шуткой. Например, помню такую концовку: «Ваш – в доску ваш! – Шлёма».

Писала и Гита. Но вдруг надолго замолчала. Ленинград был в блокаде, вокруг нас эвакуированные почти все были ленинградцы, и то, что там голод, ни для кого не было секретом.

Мы пока что не голодали, а только подголаживали. Самое основное было доступно: масло, мясо, молоко, мука. Вот только сахара не было вовсе, а мука здесь водилась только «чёрная».

Отец по каким-то служебным делам поехал в областной центр Киров (бывшую Вятку) и привёз оттуда 200 граммов сахара-рафинада. (Людям молодым объясню, что тогдашний

рафинад, или «кусовой сахар», был совершенно непохож на нынешний «пиленный» и «прессованный». Он продавался большими кусками, был не белого, а голубоватого цвета, а по консистенции мало чем отличался, скажем, если не от булыжника, то от кирпича. На более мелкие кусочки его можно было разбить только при помощи молотка, ножа или специальных щипцов) Взрослые решили отдать привезённый папой сахар детям. Каждый день нам выдавали по крошечному кусочку. Немедленно мы сделали из этого игру: съедали не весь кусочек, а часть. Оставшийся осколочек оставляли на «сдачу», которая шла нам же: на другой день сэкономивший получал новую порцию с остатками старой. Лучше всех экономить умела Зоря. Причём от своей «сдачи» отказывалась в пользу маленького Вовки – у того экономия вовсе не получалась.

Этя с детьми жила на «аттестат» как жена командира (слово офицер тогда ещё не вошло в советский обиход и употреблялось лишь по отношению к белогвардейцам или вообще к врагам), мои родители определились на службу. Мама поступила бухгалтером в «райдоротдел», то есть в дорожный отдел райисполкома. Он помещался почему-то в Содоме, и первое время она работала здесь же, в деревне, метров за 200 – 300 от нашей избы. Папе же приходилось шагать на работу в Свечу – за пять километров от нас, – и, конечно, пешком. Одет он был плохо, а морозы трещали в тот год – до сорока градусов и выше. Папа привёз из Харькова «кубанку» – круглую меховую шапку без наушников – и ходил в ней, потому что свой воинский шлем – буденовку уступил мне. Чтобы как-то прикрыть уши, ему приходилось поднимать воротник своего городского зимнего пальто. Но в этих местах оно грело плохо, и он сильно мёрз. Вскоре по его телу пошли чирьи – фурункулы, от них страдали тем же и другие члены семьи – почти все, кроме меня (ко мне эта гадость прицепится через двенадцать – тринадцать лет, во время службы в армии). Может быть, мне тогда помогли не загнить прежние «запасы» – впрочем, к моему удовлетворению, полнота моя исчезла ещё в Бабинкине. Никто меня теперь и не думал дразнить, называть толстяком (а ведь в Харькове клички «Пуздры», «Пузя» были для меня постоянными), – в Содоме я превратился в обычного худощавого мальчика.

Папа часто ездил по району с лекциями – бывал в отдалённых сёлах и деревнях. Брал с собой кое-какие вещички и выменивал на продукты. Уезжая из Харькова, он зашёл в комнату, где жили прежде жена и дочь его названного брата Мони Факторовича, репрессированного в 1937 году. Тётя Роза, жена Мони, оставила папе ключ и разрешила распорядиться имуществом. Хотя основную часть Мониного достатка конфисковали, всё же Роза, удивительным образом, осталась на руководящей санитарно-медицинской работе, и жили они перед войной лучше нас. Папа захватил кое-какие вещи, частью из них воспользовался сам (кубанка!), другие отдал домашним (гетры, из которых мне были пошиты «бурки»), а оставшееся пошло на менку. Так расстрелянный Моня и его жена, которой тоже оставалось недолго жить на свете (врач-эпидемиолог, она заразилась брюшным тифом и умерла в 1942 году), сами о том не зная, помогли нашей семье в трудное время. Кроме того, отец привёз с собой много водки, которая издавна, а особенно – в острые моменты истории, являлась на Руси «всеобщим эквивалентом».

Благодаря всему этому, картошка и мука не переводились у нас в ту зиму, и, по сравнению с будущими годами войны, мы жили неплохо. Раз в неделю, встав пораньше, мама с Этей принимались печь хлеб. Ещё с вечера ставили квашню, тесто месили деревянной мутовкой. Клали в тесто закваску, взятую из замеса прошлой недели, затем махотку с квашнёй укрывали потеплее и, как мне думалось, попрочней, чтоб тесто не сбегало. Но всё равно к утру оно пёрло через край. Мама с Этей вставали, раскрывали махотку или дёжку, в которой находилось тесто, подхватывали языки сбежавшей квашни и запихивали их обратно в кадушку, затем всё это вываливали на стол, лепили хлеба, тетёшкали их из ладони в ладонь и деревянной лопаткой сажали в печь. Через некоторое время из печи вынимали, один за другим, румяные караваи, и по всей избе разливался вкусный, здоровый, бодрящий дух свежего хлеба.

Действиями сестёр-горожанок руководила Матрёна, которая в шутку называла их своими снохами и учила выпекать не только хлеб, но и шаньги, лепёшки, коржи (конечно, без сахара).

Стали и меня приобщать к труду: мы с отцом пилили, кололи дрова, носили воду из колодца...

Однажды почтальон принёс письмо, Этя, схватив его, села посреди комнаты на табуретку – читать, а я, наклоняясь из-за её спины над письмом, уже видел текст впереди и знал, что сейчас начнётся страшное: «Дорогие, – было написано в письме круглым почерком тёти Гиты, – мне тяжело писать об этом... 18 января умер мой Виленька».

Тётя Этя только и успела начать читать – и осеклась, и ещё не произнесла вслух страшную весть – а я уже... плакал в голос. Но не потому, что мне жаль стало двоюродного брата (тем, кто прочёл посвящённые ему страницы, нетрудно понять, что я не испытывал к нему тёплых чувств), но просто мне было известно, что над смертью – плачут

Теперь, когда прошло много-много лет, так много, что Виля, останься он жив, был бы уже стариком, мне запоздало больно за этого обездоленного мальчика, который так много перенёс горестей в свои детские и отроческие годы, долго жил, пускай и у своих, но без материнской ласки, познал недоброту мачехи, потерял отца (которого «по ошибке» расстреляли), несколько лет оставался, фактически, один на один со своей нездоровой психикой – и вот, наконец, вновь обрёл нормальную семейную обстановку в доме у выздоровевшей матери, чёткое будущее (он перед войной поступил в так называемую «спецшколу» – военное подготовительное училище на базе семилетки) – но теперь, когда всё налаживалось, вдруг грянула война, и он оказался в самой трагической, самой тягостной или, проще сказать, самой голодной её точке и был лишён самого важного вообще, а для этого возраста – в особенности, и умер от свирепого голода, не дожив двух-трёх дней до восемнадцати лет.

В тяжелейших испытаниях он проявил трогательную заботу о матери и незаурядную самоотверженность. Им в училище давали, дополнительно к общему пайку, по две-три оладушки из случайных запасов муки. Одну он съедал сам, а другую нёс матери. Тот, кого мучил длительный, беспощадный голод, поймёт, какая для этого нужна выдержка.

А ведь мог уехать из осаждённого Ленинграда – частично их спецшкола была эвакуирована. Но Виля отказался наотрез,

потому что не мог оставить «мамочку», как неизменно ласково называл он Гиту.

О ленинградской блокаде написано много. Не мне дополнять «Блокадную Книгу». Но в книге моей жизни, в её первой части, Виля был видным героем, и о нём, о его смерти расскажу со слов Гиты. Я помню и содержание её письма, и её рассказ при первой встрече, когда она позже, летом, до нас добралась. Потом во всю жизнь она к этим сценам больше не возвращалась вслух, а в её сознании они (в этом она сама признавалась) ежедневно живут до сих пор, хотя сейчас⁴⁷ ей уже 78 лет.

Виля ходил в свою спецшколу, пока был в состоянии передвигать ноги. За несколько дней до смерти не смог натянуть сапоги на опухшие от голода ноги и остался дома. Но, кроме того, он был сильно простужен, лёг в постель, и Гита его лечила. Где-то добыла ему дольку шоколада, дала ему, а сама куда-то вышла. Вернувшись, нашла его мёртвым.

Обмывала сама – да и то героизм, что обмывала... Соседка Эти (через много лет она сама мне это рассказывала, когда я гостил у Разумбаевых в Ленинграде) договорилась с матерью: «Если умру первая, ты со мной не возись – выбрось мой труп с седьмого этажа через окно. Ну, а ты вперёд умрёшь – не обижайся: я то же с тобой сделаю. Вынести и похоронить у меня сил не хватит». Мать умерла, дочь выжила.

Обмывая сына, Гита извлекла у него изо рта так и не съеденную шоколадку. Чтобы похоронить «по-людски», за баснословную цену (несколько дневных паек хлеба) приобрела гроб, сколоченный из старого шифоньера, и свой собственный шкаф отдала впридачу: на материал для следующего гроба. Сама обрядила, сама выволокла, уложила в гроб, привязанный к саночкам, прикрыла крышкой, из-под которой виднелась белоснежная простыня, а заколотить крышку – сил уже не хватило – надо было себя поберечь, чтобы ещё и до кладбища дотянуть самый печальный и дорогой материнский груз. Тащила – и слышала за спиной

⁴⁷ Писано в январе 1982 года. Гита умерла вскоре после нашего – в 1990-м – выезда в Израиль, успев проститься со мной, Инной и нашей семьёй: квартира её дочери, где и она сама жила, стала нашим последним привалом на родине перед вылетом из Шереметьева за рубеж...

реплики бредущих тенями прохожих: «Вон ведь как чисто обряжен покойник – *живут же ещё люди-то!*» Закопали его где-то на ближнем кладбище – кажется, на Волковом, а потом во всю жизнь Гита не могла найти его могилу и до сих пор жалеет вслух, что не свезла на Пискаревское, где хоронили в ямах навалом, но зато теперь там парадный, всемирно известный мемориал.

* * *

Плакали Этя, и мама, и бабушка, громко всхлипывал я, а испугавшись, поддавал и Вовка, хотя и не понимал, зачем ревет. Зоря куда-то убежала, и у входа в избу её, плачущую, встретил папа, который как раз вернулся с работы.

– В чём дело? – спросил он, увидав её залитую слезами физиономию.

– Виля умер... – неясно пробормотала она, а папе послышалось – «Феля».

– Что? Упал в колодец?! – выкрикнул он и сам не свой вбежал в избу. Но здесь, завидя меня, целого и невредимого, почувствовал, как сам потом сокрушённо и покаянно мне признался, *облегчение...*

Вот какие «облегчения» припасала война!

* * *

Письма от Гиты совсем прекратились – мы уж думали, что и она умерла. Тянулась и тянулась бесконечная лютая, ветреная зима – первая из четырёх военных зим. По ночам намело снегу почти до крыши. Дверь избы открывалась вовнутрь – иначе нельзя: заметёт – не вылезешь. С сугробов, высотой в несколько метров, очень хорошо было кататься на санках, а то и на ногах – раскатав скользкие дорожки, и просто кубарем. Возвращаясь из школы, мы с мальчишками забирались в снежную целину и там «делали человечков»: падаешь навзничь, раскинув руки, а потом товарищ за руку помогает тебе встать, и на снегу остаётся твой отпечаток.

По-новому воспринимал я знакомые строки Пушкина: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Теперь можно было не умозрительно представлять себе эту бурю, а просто вспоминать, как

она бушевала вчера или на прошлой неделе. Новым светом на всю жизнь засияли для меня радостные слова: «Вся комната январным блеском озарена; весёлым треском трещит натопленная печь. Приятно думать у лежанки...», все эти реалии русского деревенского быта теперь каждодневно окружали меня. И даже «кобылка бурая» не была чем-то отвлечённым: сколько раз мы с мальчишками бросались на проносившиеся мимо розвальни, чтобы тайком, за спиной у возницы прокатиться маленько, а то и путь себе сократить из школы домой. Иные мужики относились к этому добродушно, – если и сгоняли с саней, то больше – угрозой, но были и злющие – от одного мне сильно досталось кнутом по щеке.

Огромную радость нам доставили вести о наступлении наших войск под Москвой. С упоением читали цифры трофеев, названия отбитых у немцев городов. Помню и первый очерк в «Правде» о Зое Космодемьянской – он назывался «Таня». Страшно было сознавать, что всё это произошло вот в такой же русской деревне и совсем недалеко отсюда: вот он – Горький, а вот она – Москва... Взрослые говорили, что если бы столица была сдана, немцы могли в несколько дней дойти до вятских мест. Но они не прошли. И теперь получается, что это был глухой тыл.

Искусство и литература – 3. **Первоначальные песни**

«Светлана» Жуковского да пушкинская Татьяна, на цыпочках летящая к Агафону, – вот и всё, что большинство современных городских читателей может вспомнить о крещенских гаданиях. Мне повезло: в начале 1942 года, на крещение, когда за окном трещал и в самом деле крещенский, то есть самый лютый, мороз, наша хозяйка Матрёна устроила пение подблюдных песен.

Вот как это выглядело.

Вечером за большим обеденным столом собралась вся наша семья. Матрёна Яковлевна принесла железную миску («блюдо»), и каждый по её предложению опустил туда своё «ко-

лечко» (за полным отсутствием колец разрешено было заменить их каким-нибудь маленьким предметом: кто положил пуговку, кто – монетку, кто – пряжку от резинки для чулок или стальное пёрышко... Далее она вдруг запела громко и резко, обращаясь, как видно, к пророку Илье:

Илею!

*В страшны вечера-те,
Крещенский
Поём песни
Первоначальныё!*

Илею!

*Кому-то эта песенка
Достанетчя,
Тому сбудетчя,
Не минуетчя!*

Илею!

(Может быть, впрочем, что повторяемый часто рефрен «Илею» был вовсе не именем святого, а искажённым сакральным возгласом «аллилуйя!»)? За всю жизнь так мне и не удалось выяснить это).

После такого зачина, исполненного на однообразную мелодию, состоявшую из нескольких нот, она приступила к самым гадательным песням, состоявшим то из двух, а то из четырёх строчек на тот же заунывный мотив. После каждой песенки встряхивала «блюдо» («кольца», то есть пуговички и прочий хлам, при этом гремели: бряк-бряк-бряк!), затем вытаскивала один какой-нибудь предмет, какой под руку попался, его узнавал владделец, которому и предназначалась только что возглашённая песенка. Каждая из них что-то вещала, предсказывала. Вы помните, конечно: Татьяне досталась песня, которую Пушкин переложил на онегинский ямб:

*Там мужички-то все богаты,
Гребут лопатой серебро
И злато...»*

Эта песня, замечает поэт, «сулит утраты», напев её – «горестный». Ей противопоставлена в романе Пушкина «Кошурка» – предвестница свадеб: «Милей кошурка сердцу дев!» В примечании к этой строке Пушкин цитирует эту песенку в её и впрямь «первоначальном» виде:

*Зовёт кот кошурку
В печурку спать!*

Эти две записанные Пушкиным строчки идеально ложатся на Матрёнин напев. Их и в самом деле пели в тех местах. Когда я впервые прочёл «Онегина», то, конечно, вспомнил тот крещенский вечер и испытал волнение от мысли, что не так уж много времени разделяет нас и пушкинскую эпоху.

Вот ещё несколько подблюдных песенок, которые я запомнил:

*Арина в подовине
Ткала бело полотно...*

Песня, заключающая в себе из рук вон плохой прогноз: она предвещает, как и «мужики, гребущие золото-серебро», несчастье, смерть, похороны...

*Сидит воробей
На перёгорде.
Куды поглядит,
Туды полетит!*

Тут, напротив, заключён прогноз благоприятный: песня сулит волю, счастье, собственный выбор вариантов.

Не каждый раз, однако, содержание песенки прямо соответствовало её колдовскому подтексту. Понятно, что «бело полотно» – к покойнику, а птичий полёт – к вольной волюшке. Но бывало и так, что внешний смысл песни – один, а внутренний – совсем другой, противоположный. Поскольку «из песни слов не выкинешь», то читатель простит меня за цитату:

*На повети мужик
Обосрался, лежит;
Под повестью свинья –
Исчуверилася,
Измаракалася.*

Илею!

*Кому-то эта песенка достанется,
Тому сбудется,
Не минуется!*

Бряк-бряк-бряк! – стучали «кольца» в тазике. Хитро сощурился и без того узкие удмуртские глаза, морща в добродушной улыбке широкий утиный нос, Матрёна вытаскивала фанты. Тот, кому досталась песенка про пьяного мужика, который, искуверившись-измаракавшись, лежит, по-свински пьян, на повети, должен быть без памяти рад: песня предсказывает богатство, здоровье, разлитое море счастья!

В тот ли, в другой ли вечер Матрёна вместе с жиличкой Марусей пели частушки:

*По деревне идёт,
Играет и поёт,
моё сердчѣ надрывает
и спать не даёт!*

*Если вы потонетѣ
И ко дну прилипнетѣ, -
Полежитѣ годик-два,
А потом привыкнетѣ!*

*Серый камень, серый камень,
Серый камень – сто пудов!
Серый камень столь не тянет,
Сколь проклятая любовь!*

*Ягодиночка моя!
Надень рубашку чёрную!
Я страдаю по тебе
День и ночью тёмную!*

*Черноглазки дивки баски
Скоро высушат меня,
Скоро высушат меня
Сушее лукова пера!*

*Я с учителем гуляла,
Целовалась горячо.
Целовалась бы ещё,
Да он ушёл в училищѐ!*

*Мы с девочками гуляли,
Их до дому провожали,
А у самого крыльча -
Ламча-дрича-гоп-чача!*

*Сербиянка рыжая
Четыре поля выжала.
.....
.....*

Я и тогда не здорово разобрал, чем занималась сербиянка после работы, а сейчас и вовсе забыл. Впрочем, ничем пристойным... Но эту частушку слышал уже не от Матрёны, а от мальчишек из своего класса. Хозяйка охальных слов не употребляла, а те, что кажутся нам не вполне удобными, в её понимании были совершенно приличны.

Так, в разгар нашего крещенского вечера маленький Вовка выскочил на середину горницы и пустился в пляс. Хозяйка немедленно откликнулась подходящей частушкой:

*Вова, Вова, попляши, –
Больно ножки хороши,
Баски чевеляжки,
Обдристаны голяшки!*

С тех пор питаю к частушке высокое уважение и считаю её образцом народного острословия, сложной стихотворческой техники, импровизационного таланта. Остроумие не нуждается в комментариях, а что касается поэтики, то посудите сами: в арсенале безвестных творцов частушки – и корневые рифмы (которыми отчасти, в отдельных подражаниях фольклору, пользовался ещё Пушкин, а в литературный обиход они вошли только в XX веке), – например, «рыжая – выжала», внутренние рифмы («черноглазки дивки баски», и совершенно замечательные образы (тяжеленный «серый камень» как символ «про-

клятой любви»), и меткие сравнения («сушее лукава пера»)… Естественно, что в те годы я не мог теоретизировать (да и сейчас прошу прощения у специалистов за своё дилетантство), но прелесть частушки чувствовал безошибочно, как чувствует её всякий, для кого русский язык – родной. Вот уж, действительно, «нерусский взглянет без любви»… Если критерий русскости – любовь к родному языку, то я – русский! Отдаю себе отчёт, что такое заявление осудят национальные экстремисты любой стороны: как «ихние», так и «наши». Но таково моё национальное самоощущение: я – *русский еврей!*

Помню, как меня поразило определение: «*первоначальные песни*». И сейчас не могу объяснить, что имелось в виду. Может быть, древность? И что же такое, всё-таки, «Илею»? Если и не обращение к Илье-пророку, и не искажённое «hallelуа», то, возможно, какое-то древнее заклинание? Или междоиметие вроде «Лёли-лель», «люшеньки-люли»?

Всё же гадальные песни да частушки – это больше словесный жанр, чем музыкальный. Серьёзных, напевных вещей Матрена не пела, разве что, когда мои родители затянули: «Когда б имел я златые горы…»», – стала им подпевать:

*Не упрёкай несправедливо,
Скажи всю правду ты отчу!
Тогда спокойно и счастливо
С молитвою пойдём к венчу!*

«Чокающий» и «окающий» говор местных жителей у них самих вызывал насмешки над собою. Например, в ходу была такая шутливая скороговорка:

*В Котельнице
Три мельнички:
Паровича.
Водяничка
И ветряничка.
И все вёртятчя!*

А то ещё рассказывали такую притчу:

Работает женщина в поле. Бежит к ней ребёнок – и плачет. Мать испугалась, кинулась к нему и спрашивает:

– Ча? Ча? (то есть. «чё?») – что, мол, случилось? Ребёнок её передразнивает:

– «Ча, ча...» – Бежала овца мимо нашего крыльча, да как *вёрнетчя, перевёрнетчя!* Я кричу: «Овча! Овча!» – она и не *обёрнетчя...*

Но не только над чоканьем смеялись – молодёжь передразнивала, утрировала речь старших и по поводу других её диалектных особенностей. Вот, например, шуточный диалог такого рода (читать, налегая на «о»):

– *Матрёна, пойдём, али цо?*

– *'Ак 'ить зовут, так колдыцо не пойдём?*

(Перевод с русского на русский: «Пойдём, что ли?» – «Так ведь зовут же, отчего бы и не пойти?»)

Переимчивые, как все дети, мы уже могли в точности подражать местному говору, но сохраняли свою речь, так что даже мой южный акцент, приобретённый за пять лет жизни на Украине, – даже он казался местным людям говором «акающим», каким для южан слышится говор московский или ленинградский.

Уже тогда я, если не понимал, то чувствовал всю дремучую прелесть тамошнего диалекта. В нём много было слов древних: баский (красивый, броский, пригожий, хороший), суля (бутыль), оболочка (любая одежда), осуягнилась (о козе или овце, родившей козлят или ягнят)... Название нашей деревни только писалось через «о», но в местном произношении звучало иначе: Судом. Впоследствии, поучившись на филологическом факультете, я предположил, что никакого отношения к библейскому Содому – тому, что с Гоморрой – оно не имеет (тем более, что на древнееврейском, кажется, и не Содом, а Седом, а то и Сдом...). Может быть, в русском топониме су – приставка, означающая то ли удвоение, то ли .уподобление, половинчатость, приближённость, присоединённость: сугубый, суглинок, суягная? Су-дом, то есть двойной дом, «придомок», посёлок, – что-то такое возле дома или села, вроде хуторка? Кстати, возле Содома и в самом деле был хуторок (выселки), под названием «Судомчик». А всего вернее, название это – не русского и вообще не пришлого, а сугубо местного происхождения и пришло из глубины веков, от каких-то вятичей-кривичей-радимичей или, там, от пермяков, удмуртов, чухны – ну, не знаю, кто там жил в этом краю, откуда взялись эти странные названия: Юма, Содом... Свеча – слово

вроде бы русское, но ведь тоже ещё не факт, не явилось ли оно продуктом «народной этимологии», по сходству с каким-то сходно звучащим нерусским пра-топонимом.

* * *

Фольклорная струя вятских речений, частушек, побасенок, подблюдных гаданий неожиданно и причудливо сплелась во мне с совсем другой стихией: песнями, которые я слышал с детства от своих родителей. А ведь для него (для советского государства) это были тоже «первоначальные» песни!

Мама и папа петь любили и умели. Не помню, писал ли я, что до войны часто отключали свет в целом районе. Делать было нечего, а сидеть без дела в темноте – невыносимо скучно. И наши родители устраивали целый «концерт». Для меня это были лучшие, любимые минуты. У мамы был голос высокий, чистый, с красивыми переливами. У папы – приятный баритон, которым он неплохо владел. Папа умел и любил вторить. В юности певал вдвоём с Сонечкой, своей старшей сестрой, дуэт из «Пиковой дамы» – «Уж вечер...». А теперь учил этому Марлену. Вдвоём папа с мамой пели, в основном, революционные песни и комсомольские, так что весь нынешний репертуар радиостанции «Юность», исключая, конечно, позднейшие произведения, мне был известен, так сказать, из первоисточника. «Смело, товарищи, в ногу...», «Варшавянка», «Рабочая марсельеза», «Слезами залит мир безбрежный...» – всё это мои старые знакомцы, я знал их наизусть задолго до того, как они снова вошли в моду. «Наш паровоз» родители пели чуть-чуть не так, как поют сейчас: они более энергично подчёркивали строевой ритм этой песни. Очень любили петь «Молодую гвардию» на слова Александра Безыменского, чью поэму «Комсомолия» отец часто вспоминал. А однажды рассказал мне, что там были восторженные строки о Троцком, в честь которого автор даже назвал своего сына (и в самом деле, известный историк и публицист Лев Безыменский носит это имя без каких-либо осложнений для себя и своего папы...). Были в их репертуаре и украинские песни, среди них некоторые сейчас почти забыты, например, такая:

*Ой, вже років з двісті, як козак в неволі.
По-над Дніпром ходить, викликає долю:
– Е-ге-гей, вийди, доле, із води –
Визволь, мене, серденько, із біди!*

Доля отвечает казаку

*– Не вийду, козаче, не вийду, соколе:
І рада б я вийти – сама у неволі...
Е-ге-гей! – у неволі, у ярмі:
Під шляхетським караулом
У тюрмі!*

Кажется, слово «шляхетский» родители вставляли из политической предосторожности: сильно подозреваю, что в подлиннике караул был *московський*. Ведь в первой строке сказано, что казак в неволе «двести лет». Где-нибудь в XIX веке этот текст, явно не фольклорного происхождения, мог быть написан как раз к двухсотлетию Переяславской Рады, присоединившей... виноват, воссоединившей Украину с Россией. Но, может быть, эта песня – позднейшего происхождения, и в ней говорится о закреплении украинских крестьян Екатериной Второй... Национально-освободительные устремления автора песни после революции могли быть истолкованы просто как национализм. А песня – очень сильная, особенно хороша мелодия: смелая, очень украинская, протяжная, трагическая, напевная. Чем такой песней жертвовать, так пусть уж будет «шляхетский» караул, хотя под шляхтой Украина была не двести лет, а, может, побольше. Жаль такую песню забывать, выбрасывать из памяти, как ни кровожаден её финал:

*Коні наші в лузі, а козак за плугом,
А Дніпро буяє, розмовляє з лугом:
Е-ге-гей,
Козаченьку, бери ніж:
Як побачиш вороженька, то й заріж!*

Что за чудо – украинский язык! Всё этакое ласковое: не вражина, а – «вороженько»... По-русски сказать враженька – язык не повернётся!

* * *

«Як побачиш вороженька, то й заріж!» – дружно, в два голоса, выводили во тьме предвоенной пятилетки мои кроткие папа и мама. Господи, кто же кого зарезал в этой жизни? И кто оказался «враженькой», «врагом народа»?!

У «врагов», давших мне жизнь, была в репертуаре начисто забытая сейчас песня – кажется, итальянских рабочих, которая называлась «Никогда». Нет, не та, в которой есть слова о том, что «коммунары не будут рабами» (её они тоже, разумеется, знали и пели), а совсем другая:

*Встаньте, братья, встаньте, сёстры,
В строй, бойцы с стальным закалом, –
Пусть горит на стяге алом
Солнца будущего свет, солнца свет!
В кабале и в унижение
Мы клялись бороться смело,
Средь борцов за наше дело
Для измены места нет, места нет! .*

Припев:

*Для того ль из злой неволи
Вырван труд детьми труда,
Чтобы цепи рабской доли
Вновь надеть нам?– Нет, никогда!
Наша сила – в единеньи,
В одиночку каждый – парий.
Сердце мира – пролетарий.
Мы – вселенной рычаги.
Всё, что есть, – созданье наше.
Мы разрушим – мы отстроим.
Так вперёд же бодрым строем,
Пусть погибнут все враги, все враги!
(Припев).*

А, впрочем, вряд ли эта песня – итальянская, ведь в ней поётся от имени освободившихся от неволи. Уж скорее это песня времён Парижской коммуны или венгерских советов. Папа и мама пели её с огромным воодушевлением, как бы от своего имени. Вся их жизнь была воодушевлена той заманчивой иде-

ей, которая так жестоко над ними же и посмеялась. Под старость пришлось-таки им надеть «цепи рабской доли»... Вот вам и «Никогда»...

В ту памятную зиму впервые начал я сочинять стихи. Были эти первые пробы крайне беспомощны. Почему-то меня тянуло переделывать на злобу дня слова известных песен. Например, мечтая поскорее наказать Адольфа Гитлера, я сочинил новый текст на мотив песни «По военной дороге шёл в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год...»! Восемнадцатый год я заменил ... Гитлером, дав ему в компанию, для рифмы, его же министра сельского хозяйства Даре, о существовании которого узнал из стишка, вычитанного в каком-то журнале:

*Раз к Адольфу в сентябре
Пришли Гиммлер и Даре.*

Дальше в этом стихотворении рассказывалось, как они все трое, в видах увеличения поголовья чистопородных арийцев, учредили в Германии «дома свиданий» для солдат вермахта, находящихся в отпуску. И вот – приехал в отпуск с фронта вояка.

*С тридцать третьейею женой
Он идёт на пункт случной...*

Но мне для моего детища этот пункт был ни к чему, и я его отбросил вместе с Гиммлером, который для рифмы оказался мне тогда не по зубам, а вот Даре я использовал:

*По военной дороге фюрер шёл хромоногий,
А за ним – Риббентроп и Даре.
Сказал Гитлер в тревоге:
«Разболелися ноги...
Мы пойдём на Восток в сентябре...*

В сентябре у несчастного вождя разболелся живот, потом – что-то ещё заболело...

*Но с востока шли наши –
нет тех воинов краше,
И пустился Адольф наутёк.
По курганам горбатым,
по речным перекатам
Не пройти ему, зная, на Восток!*

Словом, не Пушкин и не Маршак. Курганы и перекаты были, разумеется, бесцеремонно заимствованы из копируемо-

го оригинала. Подобным образом второе «произведение» было составлено в подражание «Сулико» – известной грузинской песенке, которую, по слухам, очень любил Сталин. Как и в оригинале, герой моей песенки ищет могилу милой – и вот, наконец, ему отвечают, что милая пала жертвой фашистов:

*Убили они Сулико твою,
Была она храбра в бою,
Шла в бой она в первых рядах,
Защищая Родину свою...*

Папа, с забавной надеждой относившийся к моим сочинительским опытам, связал меня заочно с другим поэтом – ленинградцем, жившим вместе с мамой-учительницей в вывезенной из блокады школе-интернате (отец читал в том селе лекцию и познакомился с этой женщиной и её сыном). И вот между двумя медвежьими углами Свечинского района замелькали белые треугольнички писем. Каждое послание начиналось одинаково: «Здравствуй, Феликс!»

Тёзка писал стихи лучше меня – легче, изящнее (*«ещё»* изящнее!), а главное, он брал живые, знакомые темы, без глобальных вопросов, – например, писал школьные частушки про Алексееву, которая болтает на уроках, да про Кузина, отхватившего «очень плохо» по арифметике. Меня же всё тянуло на политику, на масштабность, – может быть, потому, что я как раз тогда прочёл увлекательную книжку о Маяковском, под названием «Большие шаги» – там энергично восхвалялась гражданственность поэзии и порицались всякие «розы – грёзы».

«Здравствуй, Феликс! – писал мне Феликс. – Твои стихи мне понравились. Но у меня есть замечание. Ты пишешь, что я не соблюл размера (*мои родители очень радостно заулыбались, прочтя это «соблюл».* – *Ф.Р.*), но ты ведь и сам его не соблюдаешь в своей «Сулико»...»

«Здравствуй, Феликс! – отвечал я. – Думаю, что ты неправ. Мои стихи – это песня, и если их не читать, а петь, то всё будет в порядке».

И мой любезный корреспондент в следующем письме вполне со мной согласился.

Таковы были наши «первоначальные песни».

Весна

Воздух стал сырым и тревожным, снег потемнел и осел, побежали ручьи. Дорога, укатанная санями и унавоженная за целую зиму до цвета дубовой коры, держалась долго, но весна и её доконала: ездить по ней стало нельзя, ходить – тоже: ноги проваливались в грязную серую кашу. Из школы домой приходилось пробираться в обход, по полю, с которого снег уже сошёл. Вот он уже весь стаял с полей, а дорога, тёмно-коричневая от навоза, возвышалась, как насыпь, над чёрной осенней вспашкой – одинокая, оставленная путниками, словно никому не нужная, и, постепенно оседаая, сравнялась с землёй. И тут двинул ледоход.

Я не видел, как это случилось, но однажды, придя к мосту, непомерно, на первый взгляд, длинному для той узенькой речушки, которая делила пополам расстояние между Содомом и Юмой, застал на нём толпу зевак. Что речушка маленькая, станет ясно, впрочем, лишь летом, а сейчас это была стремнина, поднырнувшая под брюхо моста, по ней проносились отдельные льдины – по полтора-два метра в поперечнике и, наскочив на опору моста, глухо бухали об неё. Мост содрогался, толпа взволнованно ахала, льдина неохотно поворачивалась сама вокруг себя, краем задевая опору, и вдруг устремлялась под мост – и дальше. Такие деревянные мосты иной раз сносит с деревянных же опор половодьем, но в тот год и тот мост этого избежал.

Вскоре, однако, настал день, когда вода разлилась так широко и раздольно, что мне вспомнилась Волга. Не могу сейчас сказать, были ли то каникулы, или мы просто не ходили в школу, но сообщение между Юмой и Содомом на несколько дней прервалось.

Но вот половодье схлынуло, солнце быстро высушило пригорки, горячо и дружно полезла в рост всякая зелень в лесах и на лугах...

Мне впервые открылась прелесть полевого и лесного хвоща, по-здешнему – пестовника. Словно небольшие ёлочки, затопорщится он летом, а пока что стволлик у него нежно-розовый, мясистый, полупрозрачный и – говорили местные ребятишки – сладкий на вкус. Они ели, а я не решался.

* * *

Перед весной у нас в доме случилось два события.

Во-первых, рухнула кровля, накрывавшая двор. Как видно, подгнили слезы, а солома или дранка (уж не помню, из чего была сделана эта крыша) намокла, отяжелела от снега. И в один миг (а двор был просторный – в нём свободно могли бы разъехаться два грузовика) – крыша оказалась на земле.

Услышав треск, шум и грохот, я бросился к селям: испугался за нашу бабушку. Она только что перед этим вышла из избы во двор. Но ей повезло: как раз в этот момент она зашла в сарай и благодаря этому уцелела. Кое-как пробравшись домой через свежий завал, бабушка, по своему обыкновению, пускала искры из глаз и шипела-бормотала своё любимое проклятие:

– Тшортт такая!!!

(«Тшорт» – означало: «чёрт», «такая» означало: «такой»). В данном конкретном случае перевести это выражение следует примерно так: «Экая чертовка!». Бабушка всю жизнь плохо разбиралась в категории рода. Но в данном случае чёрта она согласовывала в роде, числе и падеже с Матрёной).

Бабушке Саре, Бог даст, будет посвящён мой отдельный рассказ⁴⁸.

Скорее всего, крытый двор держался со времён прежнего хозяина, а новый – «Петька-волочущья» – хозяйством не занимался вовсе. Навес разобрали – восстанавливать его было некому.

Вторым событием той весны было рождение у Матрёной козы двух прелестных козлят. Говоря по-местному, «Манька осуягнлась». Правда, Матрёна нашла для этого явления более эмоциональное слово: выполнив обязанности козьей акушерки, вошла в избу с торжественным и радостным сообщением:

– Манька-та, козлуха-та, двух козлят высрала!

* * *

Вскоре Маньку стали доить. Как-то раз Матрёна предложила бабушке подоить козу.

– Баушко, – сказала хозяйка, – ты ить баила, што доить умеешь – у твоо-де тятки три коровы было...

⁴⁸ См. ч. 3-ю этой книги, стр. 415

Бабушка согласилась, они вдвоём пошли в сарай, но через несколько минут, шипя своё «Тшорртт такая!», бежит в избу наша коротышка бабушка, а за нею, давясь от смеха, идёт «большегрузная» Матрёна и подливает масла в огонь, рассыпая вокруг себя, словно козьи орешки, округлые вятские «О»:

– А хвалилась-от: я, мол, до-ить умею! А козлуха-то швырк по ведру копытом, и всё молоко – наземь!

Бедная наша бабушка, может, и в самом деле малость приврала: её отец, когда-то зажиточный, потом враз обеднел, и я не знаю, успела ли она, выросши, застать хоть какое-то подобие благополучия в доме. А, может, забыла и то, что смолоду умела. Да и если доила ведь когда-то в отрочестве, то не коз, а коров – скотину более смирную и покладистую. А Матрёнина Манька была сущая сатана, «тшоррт такая!», – мне с нею летом ещё придётся дело иметь, ох, уж и хлебу я забот!

* * *

Перед началом огородных работ Матрёна вскрыла нужник и перетаскала все накопившиеся за зиму наши отходы на пашню. Вонь стояла невообразимая, но хозяйка ходила довольная-предовольная и всё посмеивалась над своей завистницей соседкой – презлющей молодкою Павлиной, – она же Павла.

У Павлы тоже стояли на квартире эвакуированные, вселённые сельсоветом, но из-за своего мерзкого, вздорного нрава она их приняла в штыки, в свой нужник не допускала, и они бегали куда попало, – даже к нам, то есть, к той же Матрёне. А теперь их хозяйка осталась без удобрений, – она сама не могла, при всём желании, хоть как ни тужься, обеспечить собственными силами свой приусадебный участок. Павла завидовала ушлой соседке и злилась на неё, на себя, на своих постояльцев, на нас, на весь белый свет!

К весне мы жили уже без папы и без Марлены: он списался со своей Гипросталью, эвакуированной на Урал, в Златоуст, и оттуда ему прислали вызов на работу. Перевезти сразу всю семью в совершенно новое место он не решился, а Марлену, которая уж очень приставала, согласился взять с собой.

Марленка, дитя своего времени, горела желанием попасть на фронт. Ей шёл семнадцатый год, таких молоденьких в армию

ещё не брали, но всё-таки она попыталась стать военной медсестрой, бегала на какую-то медкомиссию и там попробовала скрыть от глазного врача свою близорукость. Это ей не удалось, и, на худой конец, она решила крепить победу самоотверженным трудом в тылу на каком-нибудь заводе. Приехав в Златоуст, в самом деле устроилась на металлургический завод в лабораторию – делать анализы плавок стали. Девятый класс оставила – в тот год не доучилась.

Уйти на фронт, как я узнал гораздо позже, стремилась и наша мама. Без отрыва от работы окончила курсы медсестёр. Готова была оставить меня у Эти и ехать, куда прикажут. Но... если даже отца, кадрового военного, упорно не хотели брать, то кому нужна была почти сорокалетняя женщина, не меньше, чем он, опачканная политическими обвинениями...

* * *

А жить и трудиться надо было, и мы занялись огородничеством.

Собственно, огородом в тех местах называли изгородь из параллельных горизонтальных жердей, а часть приусадебного участка, предназначенная для выращивания овощей, имела другое имя, очень странное для всех приезжих: *осырок*.

Осырок обычно бывал окружён *огородом* или *тыном* (тын, если кто не знает, – это забор из вертикально торчащих прутьев). Навоз, применяемый для удобрения, здесь звался *назёмом*. У кого не было в доме крупного рогатого скота, то бишь, коровы, те испытывали острый дефицит в удобрениях для осырка, потому-то Матрёна так и радовалась случаю попользоваться отходами от той оравы, которую послал ей Бог через сельсовет. Ну, а нам, по пословице, для хорошего человека было не жалко этого... добра. Но осырок был и у нас, место для него нам выделили возле казённой избы, где помещалось лесничество. В ней жил лесничий Ямановский с семьёй, но земельным участком почему-то не пользовался. Вот там нам и дали землю. Как эвакуированных нас обеспечили назёмом, предоставили на время лошадь и плуг. Матрёна показала, как пахать, после чего за дело взялись мама с Этей, неумело налегая на чапиги (рукоятки плуга) и покрикивая на трудолюбивого Савраску: «Бороздой! Бороздой!».

Давали и мне подержать вожжи, и я тоже шёл и покрикивал, так что с полным правом мог бы сказать, как Муха в басне Дмитриева: «И мы пахали!». Но для плуга силёнок не хватало. Вот в устройстве грядок – участвовал. Распушили землю лопатами, расскородили граблями и проделали меж гряд узкие и глубокие бороздки – на Украине их делают гораздо мельче. Посадили редис, лук, морковь, капусту, репу, брюкву, огурцы, помидоры – всего понемножку. Относительно большой участок Матрена нам засеяла яровой рожью. Несколько соток заняли картошкой, но – немного, так как немного было и земли.

Помидоры там сажают рассадой, и всё равно они не успевают вызреть. Чтоб доспели, кто – на подоконник кладёт, под солнышко, кто – наоборот, прячет в валенок, да на печку. Однако ни разу я там не видел красного помидора – только слегка розовые, жёлтые...

Наша переписка обогатилась: стали прибывать письма из Златоуста. Шли вести и от родственников, которых война разбросала по всей стране: Сазоновы оказались в Кзыл-Орде, Сонечка с Ёней – в Копейске под Челябинском, Рая с родителями и детьми – в селе Приволжье, под Куйбышевом, Лёва всё ещё где-то сидел (как оказалось потом, вовсе не на Дальнем Востоке, а на Урале – в Ивделе), тётя Роза Факторович со Светой – где-то в Башкирии, и, кажется, там же – Абраша с Лялей и Лидой; Шлёма был на фронте, Сонин сын Миля Злотоябко пока учился в военном училище – на фронт он попадёт позже. Об одной Гите мы ничего не знали и думали уже, что умерла...

А солнышко, хотя и северное, но светило всё ярче и жарче, весна поворачивалась на лето. Вот, наконец, и оно пришло: с каникулами школьными, с деревенскими трудами возле родителей в огороде и в поле, с незабвенными походами в лес – по грибы и по ягоды.

Лето

Собирать землянику надо так. Станьте на колени, голову приклоните к самой земле, а ещё лучше – лягте на неё пузом и глядите под листики. В зелёной траве заметите нежно-розовые и кроваво-красные капельки. Их брать и – в рот!

Я так и делал, отчего дно моей кружки закрывалось крайне медленно. Трудюлюбивая Зоря уже набрала ягод полкружки, а в моей всё ещё светила между алыми катышками ягод голубоватая эмаль

Земляничный сезон миновал стремительно, а потом пошли черника с голубикой, малина, а уж ближе к осени – брусника... Взяв у хозяйки «бураки» (так называлась в этих местах отнюдь не свёкла, а берестяные ведёрки с крепко пригнанной деревянной крышкой, сидевшей в «бурачке» так плотно, что за рукоятку крышки эту посудину и носили), а то и просто захватив вёдра и корзины (под бруснику – бельевые), шли мы с сестрёнкой в лесную глубь.

Дорога вела через лес к порубке (месту, предназначенному под лесоповал), её территория была обнесена серым от времени «огородом». При въезде на порубочный участок стояли ворота из таких же серых жердей, что и ограда. Назывались они почему-то Холмовскими, хотя никаких холмов там не припомню. Впрочем, соседняя поляна носила ещё более загадочное и поэтическое название: ...Бабья Жопа.

Топоним этот – вовсе не шуточный. Местные жители произносили его без малейшей улыбки, тоном будничным и деловитым, как если бы это была, например, Старая Русса или Ясная Поляна.

Означенное место поросло дурманом; побыв там немного и надышавшись запахом, похожего на очень резкий ландышевый, человек начинал ощущать головную боль и дурноту. Всё-таки секрет названия, как видно, не в этом – может быть, всё дело в сосне, которая росла как раз посреди поляны. Ствол её был тройной, и, возможно, эти очертания когда-то кого-то навели на игривые мысли...

Однажды, довольно далеко от дома, мы с Зорькой набрали на ягодное место, принялись наполнять корзины и не заметили подкравшейся тучи. Спихватились, когда в лесу стало вдруг темно, хотели где-нибудь укрыться, да уж поздно было: воздух дрогнул, трава затрепетала, налетел шквал... Гроза настигла, обрушилась и вымочила нас до последней нитки.

Когда ливень кончился, мы хотели идти домой, но тут выяснилось, что дороги назад не знаем. Долго пробирались по

заболоченному лесу, ступая по нижним жердям лесного «огорода», руками держась за верхние, и кое-как выбрались на сухое место. Тут неожиданно опять наткнулись на заросли чудесной голубики, и снова нас обуял азарт. Уж мы её и ели не переставая, а всё равно через каких-нибудь полчаса корзины были полны до краёв.

Еле-еле, да и то чудом каким-то, вышли мы в тот день из лесу – исцарапанные, перемазанные, изрезанные осокой, искусанные комарами, но счастливые до небес!

Северные ягоды: черника, голубика, а уж брусника тем более – мне на Украине не встречались. Прошли десятилетия с тех дней, и вот недавно в Таллинне, по дороге в Вабаыхумузеум – эстонский этнографический музей под открытым небом, – я почувал доносившийся из лесу полузабытый запах черники.

– Давай свернём в лес на минутку, – предложил я сыну и немало его удивил, согнувшись над землёй и всматриваясь в курчавую зелень. Ну да! Конечно, вот она, родненькая, под мелкими, плотненькими листиками, от которых низенький кустик черники кажется кудрявым. Место не было по-настоящему ягодным, но сама ягода была вполне всамделишная! Я ел сам и дал попробовать сыну. Он похвалил, но, как видно, из вежливости. А для меня это был вкус детства и, если хотите, родины.

«Скажи мне, ветка Палестины...»

* * *

Ходили мы и по грибы. Началось у меня с неудачи: побежал с ребятами местными в лес – и что за нелёгкая: они берут гриб за грибом, а у меня кузовок пустой... Всё же набрал штук пять-шесть, принёс домой и торжественно отдал бабушке.

Надо заметить, что бабушка Сара во многих словах вместо безударного «о» говорила «у». Такова была особенность жиитомирско-еврейского произношения, перенесённая ею из идиша и на русский язык. Здесь, в вятской деревне, это совпало с особенностями местного диалекта, так что бабушке как раз удобно было говорить вместо «Содом» – «Судом»...

Взглянув на грибы, бабушка решительно заявила:

– Эту – плухой.

– Что ты, бабушка, погляди: это же чудесные красные грибы! Подосиновики!

– Нет! Нет! – Бабушка несколько раз мотнула отрицательно своей белоснежной головой. – Эту не пудусиновик, эту мухомори. Наду выбрусать!

Озлившись, я побежал консультироваться к соседке.

– Бабушка говорит, что это мухомор, что всё надо выбросить, – возмущённо пожаловался я соседке. – Да разве это мухомор?

– Конечно, му́хомор, – подтвердила она, и я испёкся...

Бабушка оказалась права не случайно: детство её прошло в украинском Полесье. И она таки прекрасно разбиралась, какие грибы можно есть, а какие надо «выбрусать». Но следующие походы оказались более удачными. Я и сейчас помню многие свои находки и, вспоминая, опять радостно волнуюсь. Но недавно как бы вернулся в детство, обнаружив, что и у нас на Харьковщине есть грибные места. В 1968 году поехали как-то раз с женой электричкой на Змиёв, вышли в Васищеве, чтобы просто погулять по лесу, а там нам повстречались грибники с добычей. И я заново увлёкся грибной «охотой», заразив этой страстью жену...

* * *

Всё же там, в Содоме, нам не часто удавалось выбираться в лес: находились дела поважнее. Эвакуированные вместе с детишками участвовали в различных полевых работах: прополке, уборке льна, вязке снопов.

Я научился вязать перевясла, составлять снопы в бабки, в суслоны. Городскому, вдобавок нерасторопному от природы мальчику не слишком всё это удавалось. Однако сколько-то трудней и я заработал, и уже после нашего с мамой отъезда Этина семья получила какие-то крохи натуроплаты, что, признаться, меня радует и до сих пор.

Но я не был прилежен и быстро уставал. А вот Зоря работала увлечённо, сосредоточенно и с удовольствием. Ей вообще с малых лет было свойственно самоотверженное стремление услужить близким, и, казалось, ей нравится уставать. Я же был лентяй.

Тётя Этя взялась выполнять работу по сбору натурального налога – молока. Меня она взяла в помощники. Ранним утром мы шли с нею в колхозную конюшню и там вдвоём запрягали в телегу престарелого одра по кличке Серко.

В Содоме почти исполнилась моя детская мечта о лошади. Во всяком случае, хотя я и не владел лошадьми, но получил к ним доступ. В мамином доротделе тоже был меринок по кличке Серко, однако, не престарелый, а, напротив, молодой, резвый и прожорливый. У него был какой-то изъян, исключавший службу в армии (ведь коней, как людей, призывали). Не брали пока на фронт и начальника райдоротдела Крюкова, который очень боялся туда попасть. Он жил зимой в Содоме. Там же была его контора, где мама работала, и там же – конюшня, где стоял Серко. Не раз доводилось мне его кормить, смотреть, как он хрустает – пережёвывает овёс, ездить в санях и править (это мне нравилось больше всего). Я присмотрелся, как запрягают, изучил элементы сбруи и их названия: седёлка, чересседельник, хомут, дуга, гужи, супонь...

Теперь помогал Эте запрягать Серко Второго. Мы выезжали на рассвете, объезжали всю деревню, стучали в окна, и хозяйки выносили свою долю молока, которое мы сливали в сорокалитровый бидон. Потом тащились просёлочной дорогой на маслозавод, который находился в деревне со смешным названием «Огрызки». Здесь надо было занять очередь к сепаратору, и, дождавшись, когда она подойдёт, Этя с кем-либо из взрослых подавала молоко в сепаратор и крутила ручку. Из одной трубы лились сливки, из другой – обрат: тощая голубая жидкость вроде нынешнего «государственного» молока. Крутить было тяжело, и меня Этя к сепаратору не подпускала.

Бросив пустой бидон в телегу, налегке возвращались в Содом. Дорога шла полем, мимо пшеницы и ржи с ярко-голубыми вспышками васильков в светло-рыжей массе созревающих хлебов, мимо поля цветущего льна, похожего на голубое озерцо, а ещё – мимо темно-зелёного гороха, который не считалось зазорным воровать (ботву со стручками засовываешь под рубашку, а после идёшь по дороге, беременный горохом, и понемногу со стебелька обираешь зелёные стручки и высасываешь из них, выкатываешь языком сладкие, сочные, душистые жемчужины.

Матрёна Яковлевна предложила мне маленький бизнес: козлята Борька и Райка подросли, надо было их вместе с их мамашей, «козлухой» Манькой, всех троих, отводить утром на выгон, а вечером приводить обратно. За это мне была обещана плата: одно яичко в день.

Утром, встав пораньше, я вёл Маньку с её детками на выгон. Эта часть работы была спокойной. Но вот обратный путь...

Выгон был ограждён плотным забором, и скотину выпускали через ворота. К вечеру козы и овцы собирались гурьбой у ворот и ждали – ни дать ни взять толпа рабочих на разболтанном советском заводе за полчаса до окончания смены. Каждый хозяин должен был, приоткрыв ворота, выпустить только свою скотину, а чужих отогнать батошкой. Так делал и я. Забрав Маньку и её шаловливых детей, гнал их домой вдоль поля, засеянного клевером.

«Шаловливых» – сказано чересчур уж мягко. Это были сущие бесы – и недаром чертей изображают именно с козьими мордами. Козлята удирали от меня в поле и принимались пожирать клевер. В погоне за ними я упустил их почтенную мать, и она также устремлялась в клевер. Вытащить их всех троих было почти невозможно, а по одному – не получалось. Пробовал их всех привязывать на одну верёвку, но тогда они утаскивали в клевер меня самого!

Однажды, когда я гонялся за ними по полю, мне сильно досталось от подростков, убравших косилкой траву: юные колхозники устроили себе развлечение – стали гоняться за мной. И не успокоились, пока всех нас, четверых, не выгнали из клевера кнутом.

Матрёна все эти мои трудности учитывала и расплачивалась аккуратно. Она сама предложила мне получать причитающееся вознаграждение оптом за неделю, и, таким образом, я по воскресеньям кормил яичницей всю семью. Вместе со мною Матрёна радовалась этому моему «семейно-полезному» заработку. Но это не помешало ей как истой крестьянке немедленно снизить мне плату вдвое, как только моя работа, по причине, от меня не зависевшей, сократилась вполовину.

Дело в том, что Манька и её огольцы стали прибегать с выгона самостоятельно, не дожидаясь, когда я приду за ними. То ли они научились протискиваться в узкую щель приоткрытых ворот, то ли (что вероятнее) кто-то их нарочно всех троих выпускал, только вдруг они начали являться домой, когда я ещё только собирался идти за ними. Клевер к тому времени уже скосили, так что соблазна задерживаться по дороге у них не возникало. Мне оставалось теперь их только отводить утром – на выгон-то они сами не шли!

Но за оставшиеся полработы хозяйка с полным основанием положила мне пол-оплаты. А значит – ½ яйца. Строго, но справедливо.

А вот ещё одно из моих постоянных занятий. Местные власти, чтобы поддержать эвакуированных, распорядились выдавать им с маслозавода определённое количество продуктов переработки молока. Мы с Зорькой вдвоём, а иногда – с бабушкой, порой и поодиночке, – ходили в Огрызки за этими продуктами, занимали там очередь, ждали. Помимо обрат, нам отпускали в довольно приличных количествах сырковую массу, тощий творог, брынзу... Иногда выдавали пахту:– обезжиренные сливки: то, что остаётся от сливок после сбивания масла. Пахта, как считалось, лучше обрат – в ней иногда плавали даже мелкие кусочки масла.

Недавно в документальной «Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича я прочёл, что снятое молоко (обрат, пахта) оказывало спасительное воздействие на желудки изголодавшихся ленинградцев в процессе их вывода из дистрофии. Теперь мне понятно, что именно эти продукты (мы тогда не знали об их благотворном воздействии на истощённый организм) помогли нам выходить Гиту, когда она приехала к нам из осаждённого Питера.

* * *

Гита явилась в один из летних дней, когда я в гурьбе ребятишек был занят игрой в «колхоз». Со стороны переулка вдруг слышу – меня зовёт по имени женский голос, оборачиваюсь – и в переулке, разделяющем Матренину и соседскую усадьбы,

вижу путницу с маленькой хозяйственной сумкой в руке. Я немедленно узнал Гиту.

Еле-еле передвигая ноги, она доплелась пешком со станции. Зоря, набирая воду в колодце, через тын увидела её и тоже выскочила навстречу. Вдвоём мы ввели Гиту в избу. Сидя на лавке в горнице, она тревожно вглядывалась в наши лица, имевшие ещё довоенный, «мордатый» вид, и с беспокойством спрашивала:

– Скажите мне правду: сильно вы голодаете? Это вы с голоду такие пухлые?

Я побежал к соседке, что жила напротив, купить молока и уплатил за литр десять рублей – по позднейшим «военным» понятиям дешевизна неслыханная...

Гита рассказывала свою эпопею. И я её передам здесь, как помню, а помню не много, потому что потом она о блокаде рассказывать не любила.

Вскоре после смерти Вили она и сама слегла. Но к тому времени, ближе к весне, слабых начали забирать в больницы, и ей посчастливилось тоже туда попасть. Её пришёл навестить начальник цеха и принёс ей с завода драгоценный подарок сотрудников (или даже, кажется, лично от директора): половинку луковицы. Голодный начальник донёс луковицу по назначению – сам не съел. Это не шутя следует признать поступком героическим.

Наконец, уже весной или в начале лета её отправили на катере в эвакуацию через Ладогу. Где-то ещё она лежала – приходила в себя, набиралась сил. К нам добралась лишь через несколько месяцев.

В то время каждый день мимо Свечи, по Северной железной дороге, шли эшелоны с беженцами-блокадниками. Гита рассказала, что рядом с ней в товарном вагоне лежал на полу пожилой ленинградец, пробиравшийся к своей семье куда-то в Среднюю Азию. Как-то вечером размышлялся вслух о встрече с родными, о том, как они его, наконец, накормят вволю... Утром, проснувшись, она ощутила рядом с собой его остывшее мёртвое тело.

Гита долго болела – её одолевал голодный понос. Матрёна отнеслась к приезду «третьей снохи Обрамомны» сложно. Ещё раньше, когда мама, или Этя, или бабушка заговаривали,

что-де хорошо бы всем сёстрам собраться под одной крышей, она более или менее решительно возражала, а однажды заявила вполне определённо:

– И не думайте, и не молитесь: не пушшу! Мало мне осенью сельсовет постояльцев накидал – полну избу! Не, язви те в душу, не пушшу! Пушшай ину квартиру ишшет!

Но одно дело – распорядиться заочно, а другое – увидеть перед собой несчастное, пострадавшее от голода существо. Поглядев на Гиту, Матрёна Яковлевна вздохнула – и молча пошла в осырок: затапливать баню.

Всё-таки отношения с Гитой у неё сложились не тёплые. Гителе, с детства дерзкая на язык, и теперь не молчала – резала хозяйке правду-матку прямо в глаза.

Матрёна стала менее терпимой, более раздражительной, шумная наша семейка ей, конечно, уже надоела. А тут ещё осложнилась – и, может быть, необратимо – её личная жизнь.

Я уже говорил, что муж или, верее, сожитель её, сапожник Пётр Антонович, пил страшно. Бывало, запивал и загуливал на неделю, а то и на две. На работу ходить переставал, а время было крутое, перед войной вышел указ, по которому прогулы стали расцениваться как уголовное преступление и могли повлечь за собою даже тюремный срок. До поры до времени Петру Антоновичу пьяные прогулы сходили с рук, потому что мастер он был поистине великий, обувь шил добротную и красивую, притом – быстро.

Главной страдальцей во время его загулов была Матрёна Яковлевна. Он работал в Свече, в какой-то мастерской, и если загул начинался там, то домой Пётр Антонович не возвращался во все свои запойные дни. Матрёна в этих случаях сильно его ревновала, и не без оснований: у него там, в Свече, а точнее – на окраине Свечи, в Глушках, жила подружка по пьянкам. Она там служила уборщицей в сельсовете, и при сельсовете же и проживала.

Бывало, как вернётся он пьяный из Свечи (случалось ведь и такое), Матрёна волком на него смотрит и приговаривает:

– У-у-у-у-у-у-у-у, Петькя, лешой, у-у-у-у-у-у-у, волочущкя проклятушшой! Опеть (то есть – опять) к своей бледи таскался!

В ответ «Петькя-Волочушкя» выдавал семь этажей отборнейшей русско-белорусской брани: и в Бога, и в Богородицы душу мать, и в три креста, и по-всякому. Несмотря на всё его свинство и на своё неподдельное возмущение, Матрёна Яковлевна привычно его разувала, раздевала и отправляла спать на лежанку – словом, делала всё, что делают в таких случаях миллионы русских страдалец. Мы, ребятишки, с полатай любовались на всю эту картину, слушали всю эту несусветность, но как-то нас это не затрагивало, не портило, – хотя, наверное, и не украшало. Да и сам пьяный «Волочушкя» никогда не вредничал, не лез к нам, не приставал, а уж трезвый – тем более.

Трезвый, любил он порассуждать – и рассуждал иной раз весьма неглупо. Например, о союзниках:

– Американцы и англичаны только таго и чакаюць, – говорил белорус «Петькя», – кали русские с немцамы пярэдыраутца, як певни (петухи), и яны (они) тагда их голымы рукамы абодвух (обоих)...

Но трезвым и рассудительным он бывал всё реже – и, наконец, так загулял, что дело передали в суд, и Пётр Антонович получил два или три месяца тюрьмы.

В Свече «сидеть» было негде, и его отправили в Котельнич. В конце лета, отбыв срок и вернувшись пешком (идти надо было от рассвета до заката почти без роздыху – между двумя станциями – 50 километров), он на другой же день пошёл в военкомат по делам учёта, и тут его забрили. Военкомат рад был взять его для начала к себе, и начал «Волочушкя» шить сапоги местным военным. А поскольку их здесь было не много, то очень скоро в нём отпала необходимость, и поехал Пётр Антонович в Действующую Армию. О его дальнейшей судьбе не знаю ничего.

Мы с мамой собирались в Златоуст. Гита устроилась работать инженером в райпромкомбинат, и надо было переезжать куда-нибудь поближе к Свече, где для Эти тоже нашлась подходящая работа....

Этя, по слабому своему здоровью, работать в колхозе больше не могла. Вдруг выручил трагический случай, по мистическому совпадению, связанный с судьбой рокового треугольника: «Волочушкя», его верная Матрена и их разлучница – Петькина собутыльница.

Село Глушки составляло топографически одно целое со Свечой, но имело собственный сельсовет, где уборщицей работала та самая женщина, которую Матрёна в сердцах называла Петькиной «бледью», и с которой у него были пьяные шашни. Жила она с маленькой дочкой в крошечной каморке при сельсовете. Рядом располагался просторный чулан, в потолок которого посередине был ввинчен крюк. Петькина подруга однажды привязала верёвку, сделала петлю, накинула себе на шею и удавилась. Причины так никто и не узнал. Может, приступ белой горячки, а может, тосковала по Петьке...

Девочку-сиротку сдали в детдом, а сельсовету срочно понадобилась уборщица. На этот пост взяли нашу бабушку, а Этю приняли в секретари сельсовета.

Эте оставалось жить что-то около десяти лет – здоровье её было очень слабое. Говорили, что у неё порок сердца. Бывало, после глажки паровым утюгом (он, как самовар, разогревается древесными угольями), ей становилось дурно – как считалось, от угара. Сердечные приступы неизменно случались у неё и после каждой бани. Канцелярская работа была для неё спасением – совсем не работать она не могла: денег, получаемых по Шлёминому аттестату, не хватало...

Этя была спокойная, улыбчивая, дружелюбная в отношениях с людьми, и люди к ней привязывались, женщины открывали ей свои тайны, отводили душу – она всегда была копилкой чужих секретов и горестей. Ходила к ней, например, Шадрина – широкоплечая ленинградка, очень шумная, очень русская, из тех, кого называют «бой-баба». Она всё делилась с Этей своими опасениями за мужа-фронтовика, который любил гульнуть налево. Шадрина сильно его ревновала и всё боялась, как бы он её не бросил. А он – бросил.

Слышу разговоры: «Шадрина письмо получила от мужа – ну и ну: другую нашёл – «пэ-пэ-жэ!»

Взрослые, как это часто бывает, вели свои взрослые разговоры, забывая о тут же находящихся детях, недооценивая их проницательность, их внимание. Дети ведь умеют искусно прикидываться, будто ничего не слышат, не понимают. А у самих ушки всегда на макушке! Я, например, уже разобрался в том, что ППЖ – это «полевая походная жена» – так называли вре-

менных «фронтовых подруг», офицерских и генеральских любовниц. Впрочем, может быть, в начале войны этот термин и не имел ещё широкого хождения, но это дела не меняет. У Шадрина завелась, как её ни назови, «другая», и со своей бой-бабой он решил расстаться. А она его любила.

Шадрина пришла к Эте, которой нездоровилось, села рядом с её кроватью и, не обращая на меня никакого внимания, схватила Этю за руку, долго и с мукой смотрела ей в глаза. Этя молчала, не отводя своих больших, добрых карих глаз. Шадрина вдруг крикнула:

– Этя! Ну?!.. – и бухнулась перед нею на колени, уронив большую голову на кровать, разметав волосы по одеялу, завывала, забила в тяжких рыданиях. Этя её то успокаивала, то принималась плакать вместе, красная от волнения и сочувствия.

Спустя время я видел Шадрина сидящей в кошёвке – тарантасе с плетёным верхом. Спустив одну ногу на крыло повозки, а другую вытянув вперёд, натягивая вожжи, покрикивая на лошадей, мчалась она по дороге. Говорили, что стала попить, я сам слышал, как по-мужски ругалась... Но к Эте по-прежнему относилась нежно, как к лучшей подруге.

Мама в своём дорожном отделе вынуждена была выполнять роль не только лишь бухгалтера: вдруг забрали в армию, как ни боялся он туда попасть, начальника отдела Крюкова. Несмотря на немолодой уже возраст, и до него дошла очередь. Между тем, доротдел должен был работать – дороги там мостили, в основном, деревянной шашкой, а она быстро портится, надо часто ремонтировать. Пришлось маме какое-то время побыть за прораба, а то и за начальника, хотя в дорожном деле она не смыслила, конечно, ничего.

Не стало Крюковаа – не стало и овса, а не стало овса – забастовала лошадь (всё в точности как в стихотворении Маршака «Не было гвоздя – лошадь захромала...»). Серко нисколько не был удовлетворён доротделовским сеном. Однажды мы вздумали на нём что-то привезти, запрягли, доехали до околицы, и тут он остановился и стоял, как вкопанный, не помог и кнут, зато, когда повернули назад, резво зашпешил к родной конюшне. Вскоре, несмотря на изъян, и его забрали вслед за Крюковым. А папа мой тем временем в Златоусте уговаривал

военкомат снять с него бронь, автоматически предоставленную ему Гипросталью как ценному работнику тыла. (Много позже, борясь за реабилитацию или хотя бы смягчение судьбы родителей после того, как их обоих бросят в лагерь, мы с сестрой обнаружим мамино письмо того времени – в нём она спрашивает мужа: «Снял ли, наконец, ненавистную бронь?». И делится с ним своими переживаниями: «А меня мучает беспокойство. Все эти годы я не оставляла надежды вернуться в партию». Пишет, что чувствует необходимость сделать «в борьбе за родину» что-то большее, чем «честная бухгалтерская работа»... Мы пошлём эти письма в Прокуратуру СССР для приобщения к «делу», я предварительно перепишу их текст в свой юношеский дневник, и только благодаря этому удастся сохранить их текст, потому что Прокуратура немедленно выбросит оригиналы на помойку... И после реабилитации родителей, когда я захочу получить документы назад, их в деле не окажется...)

* * *

Голодал не только Серко – нам тоже стало голодно. Маленький судомский огород выручал лишь отчасти, обменный фонд кончился, да и обменщики – местные крестьяне – насытились уже всякими городскими вещами, питали ими свои коморы и сундуки – вот уж подлинно «выковырянным» добром эвакуированных.

Становилось между тем и крестьянству колхозному всё труднее. Лучшие силы были на фронте, молодые парни едва подрастали, как их отправляли туда же. Восемнадцатилетние ребята то и дело проносились на тройках да на парах лошадей пьяные по дорогам из села в деревню, из деревни в село, с песнями, гармошками, густым и бесстыдным матом, как исстари повелось на Руси гулять перед забритием лбов.

Однажды такая компания, повстречав меня на дороге, загнула в поле: они повернули прямо на меня, и мне пришлось спастись во ржи. Это они так остроумно шутили – да уж пусть их Бог простит: вряд ли вернулись с войны...

Народ становился злее, и это проявлялось в отношении к «выковырянным». В передовой статье свечинской районной газеты «Ленинский призыв» было рассказано о случаях непра-

вильного отношения отдельных местных жителей к эвакуированным. Там ли было написано или просто молва шла, но говорили, будто некоторые колхозники предпочитают скармливать обрат свиньям, и один якобы сказал: «Лучше свинье отдам, чем этим дармоедам».

Вот в такой обстановке вступили мы в осень 1942 года.

Осень. Глушки. Отъезд

Перед переездом в Глушки мама успела помочь Эте вспахать наш содомский огородный участок (под какую-то зябь). Но ручками плуга растёрла себе руки, и на одной из них, на правой ладони, образовался внутренний нарыв, очень болезненный.

В Глушках, в сельсовете, мы разместились так: на ночь мама и я легли в каморке, а все остальные – в просторном чулане. В каморке было теплее, но именно здесь таились целые полчища клопов – столько сразу мне ни раньше, ни в последующие годы видеть не приходилось. Всю ночь мы промучились – голодные клопы, как стаи волков, набросились на нас. Пришлось снять с керосиновой лампы стекло и, обирая с постели, бросать их прямо в раскалённую горелку. Мы буквально ни на минуту не сомкнули глаз. Не помню, какие меры были приняты, но такое больше не повторялось.

Чулан не отапливался, и вскоре спать в нём стало уже невозможно. Тогда в крохотной комнатёнке поместилась вся семья – напомним, что нас было СЕМЕРО, а площадь каморки – не больше пяти квадратных метров, если считать только площадь пола. Но там ведь была и лежанка печи, топившейся с нашей стороны, но обогревавшей и служебную комнату сельсовета, и маленькие полаты под самым потолком... Как-то все разместились: четыре женщины, девочка и два мальчика.

В первый же день новоселья большое удовольствие мне доставил сбор остатков урожая с огуречных грядок. При сельсовете был чей-то огород, уже полностью убранный, но в огуречнике ещё оставалась молодая завязь. Председатель сельсовета милостиво предложил нам собрать её, и мы с Зорей это сделали с готовностью, получилось около ведра крошечных

огурчиков, Этя их засолила, и уже через несколько дней мы все хрустели аппетитными малосолевыми огурчиками. Ещё запомнилась зелёная курчавая муравушка, которой буквально выставлена была наша глухая, тупиковая улочка. По ней и ездили-то редко, – может, оттого село и называлось Глушки?..

Живя там, я не учился (но, может быть, потому, что тогда учебный год начинался в октябре?) и занят был различными хозяйственными заботами. Ходил, например, в магазин за хлебом и, стоя в очереди, мечтал, как убегу на фронт. Убегать я не собирался, но мечтать было сладко. В силу такой сосредоточенности на своём заветном – совершенно отвлекался от реальности, и какая-то женщина, стоявшая позади, с интересом спросила меня однажды:

– Мальчик, отчего ты такой задуманный?

Иногда ходил к Гите на мыловарню. Гита в качестве инженера-химика Свечинского райпромкомбината варила мыло для беженцев всего района. Её вызвал какой-то руководитель и спросил:

– Можете ли вы организовать производство мыла для эвакуированных?

– Могу, – ответила Гита – выпускница Московского химико-технологического института имени Менделеева. – Мыло – это соль жирных кислот. Жирные кислоты есть в животных организмах, но чтобы из них сделать мыло, нужна каустическая сода.

– Каустик найдём, – ответил начальник – с жирами похуже, но выкрутимся. Как вы относитесь к дохлым лошадям?

К живым Гита относилась лучше, но из живых мыла не сварить... Так она начала варить мыло из павших кляч Свечинского района. Дохлыми они становились ещё задолго до своей кончины: на конское кладбище свозили старых одров, околевших от маразма. Сала в них не было уже до войны. Гита доложила начальству: мыло – соль жирной кислоты. А без жира не быть и соли... Хорошее мыло из этого сырья не выйдет... Но он замахал на неё руками:

– Делайте, как получится!

Получалось – что-то непонятное: крайне тягучая, крайне вонючая, чёрная вязкая масса. Но даже за нею выстраивалась

очередь. А тут ещё Гита догадалась – или кто-то её научил – добавлять в эту дрянь некоторое количество канифоли. Это отшибало вонь, но варево получалось твёрдым, как стекло – куски приходилось откалывать зубилом. Словом, мыло вышло на славу, и у него был лишь один недостаток: оно не... мылило.

Салотопка, или мыловарня, находилась возле конского погоста. Здесь работал сторожем Николай, бывший заключённый, на вид страшный, а в жизни смиренный. К нему-то и поступала дохлятина – он её свеживал, разделявал, закладывал в котёл, ненужное закапывал в могильники. У котла они орудовали вдвоём. Вонь стояла страшная от дохлого мяса, но вскоре обнаружили и некоторые выгоды Гитинового нового поприща.

Однажды к ним принесли тушу поросёнка. Хозяева объяснили, что он не околел от какой-нибудь болезни, а пал благородной смертью: напоролся животом на тын. Хозяин повёз раненого к ветеринару. Но по дороге поросёнок испустил дух. Теперь ветеринар из перестраховки велел сдать его на мыло и привезти от мыловаров справку. Хозяин уговаривал Гиту выдать ему фиктивную справку, а кабанчика поделить пополам.

– Просто жаль, понимаешь! – сетовал колхозник чуть не плача. – Хошь и всё, понимаешь, себе заберите, а на мыло грех переводить: свинина чистая!

– Бери, Обрамомна, – подмигнул Николай, – разделим!

Так Гита принесла домой взятку – четверть поросячьей тушки. В другой раз волк задрал лошадь, и Гита опять не устояла – принесла домой конину. Мы впервые ели конское мясо, и мама его поругивала. Но Гиту от предрассудков начисто избавила блокадная ленинградская зима. Она вновь притащила конину, а маме сказала, что это телятина. Мама, с аппетитом съев обед, сказала:

– Вот теперь совсем другое дело! Всё-таки одно дело – конина, а другое – телятина!

И была очень смущена, когда Гита не без некоторого злорадства сообщила, что мясо, всё-таки, опять было конское!

После нашего отъезда для маминых сестёр наступили и вправду чёрные дни. Поросята перестали натывать на тын, а жеребята и кони – на волков. Голод ещё не наступил, но «проголодь» обозначилась. И Гита отправилась со своим, то бишь

– казённым, каустиком по деревьям – ведь мыло нужно было не только эвакуированным, а у местных жителей могло найтись (и находилось) некоторое количество животных жиров. Это уже не была дохлятина, и мыло получалось сносное.

В одной деревне хозяйка избы, где Гита остановилась на ночлег, спросила, умеет ли гостя гадать. Перед этим она сама о себе много рассказала, и Гите было легко предсказывать этой женщине её «судьбу». Посулив ей много счастья и пригрозив возможным несчастьем, Гита тут же приобрела репутацию настоящей гадалки, и к ней потянулись другие местные женщины, неся под полой натуроплату: хлеб, крупу, мясо. Но она не стала этим промышлять, а устроилась воспитательницей в школьный интернат, где жили дети, эвакуированные из Ленинграда. Она взяла с собой Зорю, чтобы Эте легче было перебиваться с хлеба на квас.

Но всё это произошло уже после нашего с мамой отъезда.

* * *

Уехать нам отсюда было очень непросто. Первое, что мешало – это мучивший маму нарыв на ладони. Надо было от него избавиться, а – как? Врач велел лечь в больницу на операцию и в самом лучшем случае сулил лишь медленное выздоровление. А уже подступала ранняя северная зима. Выручила маму бабка-ведунья, жившая в одной из деревень района.

– И-и-и-и, милая, это у тебя *змеевича* (то есть, «*змеевица*», «волос»), – сказала бабка. И сварила пластырь, наказав приложить его на всю ночь к нарыву, замотать руку тряпкой и набраться терпения: болеть будет – нестерпимо. Но на утро нарыва не станет...

Мама за всю ночь не сомкнула глаз, и я вместе с нею... Но утром, сняв повязку с пластырем, мы увидели «змеевичу»: толстый, чуть ли не с полпальца толщиной, гнойный стержень. Легко удалив его и промыв рану, мама перевязала ладонь, и потом очень быстро всё прошло.

Но как всё же уехать? Поезд на Свердловск (или на Молотов – нынешнюю Пермь?) останавливался на несколько минут. Но взять билеты было невозможно: окошко кассы штурмовала

дикая толпа. Как пробраться к нему женщине с рукой на перевязи, с ребёнком, пускай уже и не маленьким – одиннадцатилетним?

Тогда-то я и услышал впервые выразительное слово *взятка*. Кто-то подсказал маме, Эте или Гите, что станционный кассир Шашмулин (однофамилец или даже родственник Матрёны) любит выпить. А у нас от «обменного фонда» сохранилось ещё несколько поллитровок и чекушек...

Мама отправилась к кассиру, сумела с ним встретиться наедине и объяснила своё положение, рассказав, что одна, без мужа, с ребёнком, а тут ещё и последствия «змеевичи». Попросив помочь, не забыла произнести и сакраментальную фразу: «Мы будем вам очень благодарны!» Пьяница Шашмулин молча выслушал и обещал помочь, велел ждать его у входа в кассу – то есть как раз по другую сторону окошечка.

Тут три сестры стали готовить ему гостинец. В две холщовые сумки из-под противогазов сунули бутылки с водкой. Сумки надели на меня крест-накрест – и велели не зевать, а быть готовым подбежать к маме по первому её зову.

Мы несколько дней ходили на станцию с вещами, но напрасно: билетов на поезд не было. Наконец, в очередной такой поход дверь кассы отворилась, Шашмулин вышел с билетами к маме, мама мне подмигнула, я подбежал... Но Шашмулин замотал отрицательно головой, заслонился руками, сказал: «Не надо, ничего не надо!» – и юркнул обратно в кассу. Бояться ему было некого: поблизости никто не появился. Так что помощь его оказалась полностью бескорыстной – приятно вспомнить!

Так по-отечески заботливо проводил меня тогда край, который считаю куском своей родины, своего естества.

Перед лицом отчуждения, бессмысленной и звериной юдофобии, перед лицом тех, кто считает или воспринимает нас как чужаков, я склонен настаивать на своём еврействе: это бушует внутри меня дух противоречия, человеческая гордость и достоинство. Но наедине с собой лелею в себе то русское, что получил с ласками няни, с говором толпы, с природой мест, где родился и рос. И вот тут-то год, проведённый в Содоме, Юме, Глушках и Свече, оказывается самым существенным в моей

жизни. Всё русское, что есть во мне, рвётся навстречу этой памяти, этой привязанности и любви.

Прощай, Вятская земля, – «уже за шеломянем еси»: ты уже за бугром... Всю жизнь буду потом стремиться к тебе – но обстоятельства жизни мне никак в том не помогут. Не хватает денег, свободы от дел, не хватает беспечности.

Недавно в припадке ностальгии написал письмо в Свечинскую районную газету (она, как оказалось, и до сих пор (1971) носит название «Ленинский призыв»): просил прислать мне несколько номеров этой «районки». Хотелось припомнить названия, прочесть знакомые фамилии... Но там, в редакции, по-своему истолковали мой порыв: напечатали выдержки из моего письма – и прислали мне по почте денежный перевод: три рубля гонорару.

Intermezzo-6

УЗЕНАКОЗЕ

Пока поезд несёт нас прочь от сырых и печальных лесов и полей вятской осени, – почитайте эпизод, которому (очевидно, в силу его пустяковости) как-то не нашлось места в моём рассказе. Судите сами: ну, не безделица ли? А вот запомнилось же на всю жизнь, и не выходит из головы, и всё тяготит почему-то...

Дело было в Глушках, в сельсовете, вскоре после нашего туда переезда. Пришли какие-то просители, ждали кого-то в сенях. Молодой мужчина, явно не местный, стал меня разглядывать, глаза у него вдруг зло повеселели, и он ко мне обратился:

– Ну зе, и сьто-о-о-о зе? – запел он, явно передразнивая чей-то нерусский выговор, и хоть я подобного акцента никогда не слыхивал, что-то внутри меня как бы оборвалось, что-то ёкнуло под ложечкой от мерзкого предчувствия, от горькой догадки. – И сьто зе ты тут сто-и-и-сь? И мамке узе пги-сё-о-ол? И татке узе пги-и-сла-а???

Наша семья вся говорила по-русски, и все владели им прекрасно. Лёгкие остатки еврейского акцента были у мамы, у её сестёр. Очень скверно, чтобы не сказать – чудовищно, говорила лишь бабушка, но и её ломаная русская речь нисколько не напоминала эту издевательскую пародию. Тем не менее, я немедленно, каким-то шестым чувством, понял, против кого она направлена.

Публика вокруг, мне кажется, понимала выходку парня куда хуже меня, однако с интересом слушала, как он дразнится.

– Узе-е-е-е-е??? Узе-е-е-е-е??? – тянул парень свою мерзкую партию. Я сказал ему, что говорю по-русски не хуже его, а лучше, чище, но он, нимало не смутившись этим возражением, продолжал издеваться, пока я не ушёл, сопровождаемый выкриком:

– Узе на козе!

Пустяк, конечно, но...

Я чувствовал себя безнадежно и непоправимо виновным в глазах этого по-хозяйски самоуверенного человека. Я был перед ним виноват ещё до того как родился.

«Узе на козе»...

Почему вместо «уже» – «узе»? Ни один из мне известных евреев, кроме физически косноязычных, так никогда не произносил этого слова. Но кличка родилась и жила, и приходилось верить, что у неё есть какие-то основания. Приходилось вновь и вновь глядеть на себя со стороны – и задумываться: видно, что-то в нас во всех не так...

«Узе...» Совпадение, конечно, случайное, но красноречивое: ответом на унижительные дразнилки стал всемирно известный израильский автомат «Ўзи».

«Узе на козе!» «Узе на козе!»

*Переполненный разношерстым советским людом поезд уносит меня всё дальше и дальше от дремучего вятского края на далёкий Урал – навстречу чему? Навстречу чему?
– Узе на козе! Узе на козе! Узе на козе! У-у-у-у-у!..*

Глава 7

Златоуст

Трамвай «маневрует»

Конечно, я не мог этого не запомнить: городской мальчик, за год истосковался по городским улицам, по городскому транспорту, а здесь, в Златоусте, было целых два трамвайных вагона. Они сновали (иногда! Не круглый год! Не каждый день и месяц!) от вокзала до метзавода по одноколейному пути. По дороге были разъезды, и случалось, что один вагон ожидает другой, встречный, целую вечность. «Кольца» на конечной остановке не было – вагон разворачивался, заезжая задом в тупичок. При этом пассажирам находиться в трамвае не разрешалось. Папа встретил нас на перроне, мы вышли на привокзальную площадь, залезли с вещами в пустой трамвай, но явилась вагоновожатая и крикнула:

– Выходите все: я буду *маневровать!*

Развернувшись с помощью дополнительной колеи на 180 градусов, вагончик впустил пассажиров и бодро покатил через зимний ночной Златоуст к металлургическому заводу имени Сталина. В посёлке метзавода папе дали комнату, «уплотнив» семью местного жителя.

Хозяева и соседи

Из трёх комнат хозяевам оставили одну, а в две других вселили по семье. Была ещё кухня – она получилась проходной: через неё мы попадали в свою комнату.

Хотя и было уже поздно, по квартире бегало крошечное черномазое существо – трёхлетняя девочка из другой семьи эвакуированных, поселившейся здесь задолго до нашего приезда. Верочка приседала, плясала, пела. Она исполняла популярную песенку: «Есть на Севере хороший городок...» и была совершенно неумоима: едва закончив, начинала опять и опять... За нею явилась мама – молодая красивая женщина, Лия Борисовна. Муж Лии – маленький, чёрненький Натан Исаакович Шапиро, он работает инженером в Гипростали, жена зовёт его – Ноня, а гипросталевцы – «Шапиркин» (очевидно, за маленький рост).

Хозяйка, спокойная рыжеватая приветливая женщина Зоя Николаевна, – родом из дальней деревни, говорит «чё» и «быват», «знам-знам: сами – хозява». Её мужа, Николая Александровича, мы видим мало: он работает энергетиком мартеновского цеха и дома почти не бывает. Хозяин молчалив, тих, трезв. Единственный вид отдыха, да и то крайне редкого, – охота. Жена говорит о нём – «сам-то» и «мой-то», заботливо кормит и обихаживает. Она не работает на производстве или в учреждении – везёт на себе всю семью, но ещё с довоенного времени является «делегаткой», как её здесь называют, то есть, очевидно, депутатом местного совета. Сейчас к ней ходят из окрестных домов, чтобы заверить «стандартные справки» на получение хлебных и продуктовых карточек.

Их дочь Люся – старшая из двух детей – славная девочка, старательная, но очень посредственная ученица. Вкладывает в учёбу все силы, а толку – чуть.

Однажды им задали учить наизусть начало письма Белинского к Гоголю. Бедная Люся не виновата – не она придумала это задание. Как видно, учительница налегала на выразительность чтения, потому что девочка, зазубривая наизусть публицистический текст, очень потешно старалась читать его «с чувством, с толком, с расстановкой».

– Вы только отчасти ПРАВЫ! Увидав в МОЕЙ статье рассерженного ЧЕЛОВЕКА! – выкликала она так громко и с такими нелепыми акцентами, что услышь её чтение Гоголь – он бы тут же раскаялся и немедленно изъял из продажи весь тираж своей ошибочной и реакционной книги «Выбранные места...», – лишь бы она поскорее перестала кричать.

С Люсей связан такой эпизод. Фамилия наших хозяев была – Понос^овы, с ударением на первом слоге. Так они её произносили, чтобы она звучала прилично, а не связывалась в сознании окружающих с расстройством желудка. Но в письменной речи для этого надо проставить ударение, что они и делали, придавая этим особенно комичный вид всей ситуации: внимание читающего лишний раз привлекалось как раз к тому, что хозяева фамилии хотели бы прикрыть, стусевать. Как-то раз, послав на фронт кисет или варежки (тогда то и дело собирали у населения посылки для фронтовиков), она получила ответ от солдата, которому достался подарок. На конверте так же чётко, как и в её письме, было проставлено ударение над её фамилией, – словно для того, чтобы сама Люся не произнесла её как-нибудь... пон^осно!

Борька Медный

Родители Поносовы больше любили и жалели свою дочь, а сына (он был двумя годами младше её) считали не совсем удачным, несерьёзным, ветреным. Я же убеждён, что он был гораздо ярче сестры.

За рыжие волосы мальчишки в посёлке звали его «Медным». Это был деятельный и проказливый малый. Обладая золотыми руками и технической смёткой, он всё время что-то строил, ладил, моделировал, трудом своим немного и промышлял, подрабатывал – родители смотрели на это сквозь пальцы, никогда не изымая у него выручку, и он её обращал, чаще всего, на приобретение новых материалов или деталей к своим поделкам. Основной Борькин заработок был от изготовления и продажи клеток для птиц, а также от ловли певчих птичек и их продажи: в клетках и без. Он строил для птиц целые дворцы из

проводами и деревянных реек, и к каждому такому дворцу были приделаны две или четыре ловушки, а однажды он их соорудил целых восемь. Заправлял ловушки салом. Выставлял всю клетку на снег в огороде, попадались чаще всего синицы, а иногда снегири и щеглы.

Для Борьки не существовало ничего невозможного: намотать ли трансформатор, выточить ли брусок, снабдить дверь квартиры (она была внизу, на первом этаже, а квартира – по лестнице, на втором) – снабдить её устройством, благодаря которому замок можно открыть со второго этажа, не спускаясь вниз, – всё это для Медного раз плюнуть. А вот книг не читал и учился посредственно. Однако в реальной, конкретной жизни был очень любознателен и совал свой нос буквально в любую щель.

Борька находился в том беспокойном и шkodливом возрасте, когда подросток проявляет усиленный интерес к сфере сексуальных отношений. Оборудовав себе небольшие полати над коридором рядом с комнатой «Шапиркиных», он вдруг обнаружил соблазнительную возможность подглядывать по ночам за молодыми супругами. В их отсутствие слегка расширил сверлом зазор между углом и косяком двери, но теперь надо было убрать попавшие внутрь опилки, а дверь была заперта всяким замком. Недолго думая, вывинтил петли вместе с замком, вошёл в комнату и тщательно подмёл там пол под дверью. Потом позвал меня, чтобы продемонстрировать найденные им в ящике комода Нонины презервативы. Взял из коробочки со швейными принадлежностями иголку и сделал вид, что хочет проколоть презерватив, но не решился – и спрятал находку на место.

Мне он предложил прийти к нему на полати вечером, чтобы вместе подглядывать, но я отказался, – меня это ещё не очень интересовало. Но вот что примечательно: Борьку я ничуть не осуждал – моральные критерии ещё по-настоящему во мне не сложились. Назавтра он дал мне полный и увлекательный отчёт об увиденном. Впрочем, Шапиркины, как видно, что-то заподозрили, так как стали гасить в своей комнате свет, и юному пакостнику оставалось довольствоваться лишь воображением.

Метзавод

Наш двухэтажный дом стоял в ряду таких же на Генераторной улице, застроенной, как и другие улицы посёлка, лишь с одной стороны: другая заканчивалась уступом – склоном к следующей улице. Дома, таким образом, были выстроены террасами, а в самом низу, в котловане, со всех сторон окружённом горами, располагался металлургический завод, издавна выплавлявший известную во всём мире златоустовскую высококачественную сталь.

Единственная доменная печь давно стояла мёртвая, холодная, а сырьём для завода служил только металлический лом. Груды его ежедневно прибывали с фронта: разбитые, искалеченные, обгорелые танки, орудия и ещё Бог знает что – вовсе неузнаваемое: вражеское и наше... А ещё, конечно, металл в чушках с других заводов.

Вся жизнь завода шла буквально у нас на глазах: перед нашим окном разворачивалась гигантская панорама производства, сновали по путям и гудели день и ночь маневровые паровозы, негромко переговариваясь, иногда издавая одну и ту же «мелодию», в которой я значительно позже, став в армии радиотелеграфистом, распознал четырёхзначную цифровую группу «7220»:

Таа – таа –ти-ти-ти,
Та-ти-ти- таа –таа,
Ти-ти-ти- таа-таа,
Таа!

По вечерам небо озарялось отблесками плавков.

Сюда, в посёлок метзавода, была эвакуирована основная часть харьковской Гипростали, металлурги Донбасса; «вторым эшелонем» уже в 1942 году прибыли беженцы из Сталинграда, пережившие апокалипсические бомбёжки, когда немецкие самолёты не покидали неба над городом в течение целого дня, и бомбы беспрерывно сыпались на пылающие кварталы...

Кроме того, из среднеазиатских республик прислали трудармейцев – узбеков и таджиков. Они прибыли зимой на Урал в чём были: в тюбетейках, халатах и белых холщовых штанах (едва ли не в кальсонах). Чьё-то страшное головоупяцтво, пре-

ступное равнодушие или равнодушное преступление были причиной невероятных и бессмысленных лишений этих людей, очутившихся здесь без языка, без средств, без тёплой одежды – в суровом, губительном для них краю, в чуждой, иногда враждебной им среде. Те, кто всё-таки пережил эти бедствия, возможно, и сейчас связывают их со злой волей «старшего брата» – русского народа, и не удивляйтесь потом, товарищи русские, если они и их дети в один прекрасный день отнесутся к вам и ко всему «Союзу нерушимому» без малейшего почтения⁴⁹.

...Строим шли они по утрам на работу, негромко переговариваясь, надсадно кашляя; кто-то мочился на ходу прямо из строя, не стесняясь прохожих. Вообще, они больше напоминали толпу заключённых, нежели «армию». Поначалу были у них с собой какие-то запасы нехитрой среднеазиатской снеди: сушёный урюк, например, которым они приторговывали. Местные мальчишки, имея опыт общения с татарами и башкирами, быстро смекнули, что могут применить свои познания для *контактов* с узбеками, таджиками, туркменами. Бывало, идём из школы, а навстречу – азиат-трудармеец. Какой-нибудь златоустовский *оголец* кричит ему нахально:

– Бабай! Урюк бар? (То есть: «Эй, дед! Есть у тебя сушёный абрикос?»)

И «бабай», которому, несмотря на бородёнку, лет, может, не более тридцати, отвечает, «бар» у него урюк или «йок». На этом запас тюркских слов у огольца обычно бывал исчерпан – разве что он пускал в ход какую-нибудь непристойность, – например, спрашивал у «бабая», «бар» ли у него «кутак». Чтобы читателю были понятны эти слова, поясню, что «кутак» есть у любого «бабая»...

В свободное время бабаи слонялись по посёлку, как неприкаянные. Местные жители относились к ним неприветливо. Сказалось ли тут не лучшее свойство души человеческой – ксенофобия, или сработали специально-златоустовские «гены», а может, традиции? Ведь многие здесь были потомками так называемых «кузюков» – каторжников, которых клеймили в давние

⁴⁹ Увы! Эти слова, написанные в конце 70-х, выглядят сейчас как пророчество... – Примечание 2005 года.

времена тремя буквами на лбу: «КУЗ», то есть Казённые Уральские Заводы. То была, наверное, одна из первых русских аббревиатур, предвосхитившая целую россыпь диких сокращений советского времени. Каторжные нравы могли наложить свой отпечаток на целые поколения и тех, кто был клеймён, и тех, кто их клеймил и охранял, и уж, конечно, на потомков и тех, и других. Только в этом я вижу если не оправдание, то объяснение той бессмысленной жестокости, которая проявлялась к бабам (и, как после увидим, не только к ним...) Одним словом, «жестокость – бар, милосердие – йок», – такова была нравственная, а точнее – безнравственная, формула общественного отношения к среднеазиатским трудармейцам.

Борька Медный был, как уже сказано, беззлобный паренёк, но и он совершил однажды непостижимо жестокий поступок. У Поносовых была в доме «воздушка» – пневматическое ружьё. Мы с Борькой сами штамповали для этого ружья крошечные свинцовые пульки при помощи специального приспособления. Одно время оба увлеклись стрельбой из воздушки. Как-то раз он случайно выпустил из клетки синицу. Она полетела по квартире и в нашей комнате села на хозяйские настенные часы. Борька протянул мне воздушку, я, прицелившись вовсе не всерьёз, выстрелил и... убил птичку, о чём жалею до сих пор.

Однажды, спустившись в уборную, которая находилась во дворе, Борька заметил, что позади этого нужного сооружения, в огороде, который был выше по склону горы, какой-то бабай присел по своей надобности, выставив зад навстречу Борису. Соблазн слишком был велик – наш юный шкода пулей взлетел вверх, схватил воздушку – и опять засел в туалете, тщательно целясь сквозь отверстие в досках. Оснований для мести не было: с огорода всё убрано ещё осенью. От жилища довольно далеко – пусть бы себе человек облегчился... Но можно ли стерпеть, когда чужак расселся в твоём огороде, как в собственном?! И Борька выстрелил по этой донельзя исхудавшей мишени. Бедный бабай поднял крик, в котором различалось одно русское слово: «Началник! Началник!»

Признаюсь откровенно: хоть я и не «кузюк», но слушать Борькин рассказ мне было весело, и я куда меньше жалел под-

стреленного Борькой бабая, чем убитую мною птичку... Это стыдно, но это так.

Уже когда весной 1944 года мы погрузились в эшелон, чтобы возвратиться на Украину, ко мне на Златоустовской товарной станции, от которой эшелон ещё не успел отойти, подошёл *молодой бабай* (то есть, скорее – *малай*, – парень) и на ломаном русском стал с завистью расспрашивать, куда мы едем. Рассказал, что его родина – «Эсталинабод», то есть тогдашний Сталинабад, столица Таджикистана (теперь это опять Душанбе, как и до ренволюции и советской власти). Мечтательно прикрыв глаза и для убедительности прищёлкнув языком, пытался описать красоты своего края. Позади была страшная зима, может, он перенёс их даже две вдали от дома – и теперь, кажется, надеялся, что тоже вернётся. Но – когда?! Вот что не давало ему покоя.

Бабаев использовали на самой чёрной, самой тяжёлой и неквалифицированной работе. Трудармию некогда изобрёл Троцкий. Сталин разгромил троцкизм, изгнал, а потом и (руками наймита) убил своего знаменитого соперника, а вот дьявольское изобретение Льва Давидовича использовал на полную катушку. Но сколько ни приходилось мне читать о войне, – о трудармии не встречал ни слова! А ведь без неё не было бы и победы. Бабаи выстелили к ней путь своими телами, – безответные, безъязыкие, комичные в глазах местного русского населения узбеки, таджики, туркмены... Трудармия была предтечей современных стройбатов, где, кстати, контингент зачастую этнически такой же...

Я рассказал сейчас об одном полюсе советского общества военных лет – самом разнесчастном (если, конечно, не считать узников ГУЛАГа). На противоположном полюсе (в масштабах златоустовских) находился директор метзавода Крамер. Для меня это лицо полумифическое – я его и не видел никогда. Зато отчётливо помню, как к нему домой возили ежедневно на подводе большой бидон молока и другие продукты.

Помню толстенького, маленького начальника заводского ОРСа (отдела рабочего снабжения) Павла Семёновича Либина. То был человек могущественный. А сын его – кажется, Ленька – известен был всему посёлку как повеса и бездельник.

ОРС в народе расшифровывали так:

Обеспечь Раньше – Себя.

Обеспечь Родных своих.

Остатки Раздай Сотрудникам.

А ещё в те годы была в ходу шуточная классификация всех граждан по пяти категориям: *торгсиньоры*, *блатмайоры*, *литер-Аторы* (то есть получающие паёк по карточкам литера «А»), *литер-Бетеры* (обладатели литера «Б») и – *кое-какеры* (то есть живущие кое-как, перебивающиеся с хлеба на квас, чудом не погибшие). Мы, конечно же, принадлежали к этому последнему классу: папа и мама получали паёк служащих (карточки категории СП-1 или СП-2 – кажется, 400 граммов хлеба), я был обладателем карточки иждивенца (тоже шутили: «*изможденец!*») – 300 граммов хлеба, и лишь Марлена, пока работала лаборантом, получала рабочую норму: 500 граммов хлеба в день. Литр молока стоил 100 рублей. Ведро картофельных очисток оценивалось в 25 рублей, и мы такое их количество обменивали у державшей корову соседки на «чекушку» (0,25 литра) молока; хлеб на рынке стоил 200 рублей за буханку. К сожалению, не помню размеров зарплат, но они мало возросли по сравнению с довоенными, а перед войной оклад у моего отца был – 700 рублей. Это значит, в переводе на военные рыночные цены, три с половиной буханки хлеба. На зарплату прожить было невозможно. Администрация предприятий выдавала, кроме зарплаты, талоны на различные промтовары, всё это – с расчётом на то, что люди реализуют выданные вещи на чёрном рынке по спекулятивной цене. Это считалось практически законным и не преследовалось. Часть своих продуктовых карточек работающие люди сдавали в столовую и там питались во время обеденных перерывов. В столовой давали жиденький суп, а на второе – «гуляш». То есть несколько кусочков жёсткого, жилистого мяса с горсточкой грубой каши. В столовой постоянно паслась категория существ, стоявших ещё ниже «кое-какеров» и «изможденцев», – так называемые «*доходяги*», то есть люди, дошедшие «до ручки», до потери человеческого достоинства. Пока нормальный кое-какер поглощал свой гуляш, такой оборванец-доходяга стоял у него за спиной, держа наготове самодельное ведёрко из консервной банки на прово-

лочной ручке. Стоило обедавшему встать из-за стола, как к его обедкам немедленно устремлялся доходяга, аккуратно собирая их в баночку, и порой тут же, отойдя в сторонку, доедал...

Подспорьем в борьбе за выживание был огород. Папа ещё до нашего приезда посадил овощи на выделенном ему участке земли, но у него с грядок всё покрали. Весной 1943 года мы получили новый участок – в пойме реки Ай, на заливных лугах. Я ходил с родителями вскапывать там целину, сажать, полоть, окучивать, копать картошку. Земля была жирная, влажная. Вскрывая её лопатой, наш сосед по участку выкопал тяжёлый стальной меч в полуистлевших ножнах, тыльная сторона этого оружия вся состояла из зазубрин, остриями направленных к рукоятке: явно для вспарывания вражьего брюха. Может быть, то было одно из знаменитых изделий златоустовских оружейников.. А возможно, на дно реки попало в незапамятные времена оружие русского землепроходца или татарского хана?

Но урожай с этого огорода мы могли собирать лишь в конце или хотя бы в середине лета. А весной 1943-го нас очень мучил голод.

Голод

– Сынок, сходи за крапивой, – просила мать. Я шёл вниз, под горку, за трамвайную линию, и там рвал под корень молодую крапиву, которую мама сперва замачивала (жалящие свойства моментально исчезали), а затем варила из неё похлёбку. Иной раз и теперь вижу крапиву на рынке – её продают как витаминную приправу, но тогда это была зачастую единственная гуща в супе. Правда, ещё покупали у торговков местные лесные съедобные травы: кислицу и пикан. И та, и другая обладали толстым стеблем, мясистыми листьями, дающими аромат и навар. Однажды мама сварила саранку – нечто внешне напоминающее артишок, но эта трава была слишком дорогая (речь о саранке, конечно, а не об артишоке, которого в тех краях и не видывали никогда. Притом, у артишока съедобны листья, цветы, а у саранки – корень-луковица): В пищу шли картофельные очистки. Мы их жарили – уж не помню на чём – и ели, тщательно жуя.

Чтобы поддержать семью, папе пришлось принять предложение своего начальства и поехать в качестве представителя Гипростали и ОРСа на так называемую децентрализованную заготовку продуктов – в сельскую местность Зауралья. Он отправился туда ненадолго, зато, вернувшись, привёз (помимо коллективных заготовок, в которых мы имели свою долю) очень нужные продукты отдельно для нашей семьи, а также для хозяев, соседей, друзей: солонину, топлёное масло, картошку и так далее.

Развлечения

Вопреки всему убожеству быта, люди умудрялись как-то скрашивать своё существование. Устраивали встречу нового года, ходили в кино, на редкие, однако примечательные концерты. Однажды, например, приехала Клара Юнг – знаменитая звезда еврейской оперетты. Несмотря на свои семьдесят с лишним лет, она ещё весьма бойко плясала каскад в еврейской музыкальной комедии «Шестая жена». Играя главную роль, Клара Юнг на сцене выходила замуж за богача, который своим злым нравом загнал в могилу пять предыдущих жён. Шестая же сумела взять над ним верх, да ещё и завела шашни с его молодым работником Мотке (или Мордке?) и, прося любовника о ещё одном поцелуе, пела под бурные аплодисменты зала:

*Мотке. либер. нох а-мол,
нох а-мол,
нох а-мол!*

(то есть: «Милый Мотке, ещё раз, ещё раз, ещё раз!»).

Среди зрителей большинство составляли русские, знающие идиш евреи вполголоса им переводили, – увы: как и мне переводила мама...

Взрослые сплетничали, что молодой актёр, игравший роль Мотке, является любовником престарелой актрисы не только по сюжету пьесы... Говорили об этом шепотом, но я, конечно же, слышал, как и всё, что мне слышать не полагалось...

В том же зале однажды был вечер гипноза. Заезжий гипнотизёр прочёл лекцию, затем предложил желающим подверг-

нуться усыплению. Вызвалась кучка добровольцев, но через несколько минут гость отсеял притворяющихся и несерьёзных – в том числе хулиганистого Леньку Либина и меланхоличного еврейского юношу по имени Мура. Зато несколько человек добросовестно уснули, и экспериментатор сразу начал творить с ними чудеса. Одному он внушил, что у того деревянное тело, и человек застыл, как в столбняке. Гипнотизёр, при помощи доброхотов из зала, уложил его затылком на спинку одного стула, а концами пяток (ахиллесовыми сухожилиями) – на спинку другого. Лёнька и Мура, реабилитированные по такому особому случаю, держали стулья, упершись руками в сиденья, а сам лектор взгромоздился испытуемому ногами на живот, немного так постоял и даже попрыгал, но деревянный человек даже не дрогнул, словно и в самом деле был сделан из бревна. Усыпивший его гипнотизёр так и кричал подопытному: «Вы – бревно! Вы – бревно!»

С огромным волнением смотрели люди выходявшие на экраны фильма о войне. У многих на фронте были близкие. Поэтому все связанные с войной перипетии воспринимались зрителями с особым чувством сопереживания – даже если фильм был ходульный, нехудожественный. Но шли и талантливые картины: «Два бойца», «Актриса», «Жди меня»... Люди, особенно женщины, словно самих себя видели на экране, а потому с небывалой отзывчивостью реагировали на увиденное.

Родители ещё с довоенного времени крепко сдружились с заведующей техническим архивом Гипростали – Розой Борисовной Сиротой. Она была секретарём парторганизации Гипростали, но с самого начала папиной там работы всячески оказывала ему доверие, чуть ли не демонстративно поддерживая с ним дружеские отношения, и даже написала в характеристике, которую он должен был приобщить к своей апелляции XVIII съезду ВКП(б), что он, несмотря на формальное исключение из партии, «остался «большевиком на деле». То была неслыханная смелость и дерзость, неизвестно почему сошедшая Розе с рук. Мы дружили семьями (я упоминал, что у Розы была дочь моего возраста, Эльза), знали Розиного мужа, глазастого Иосифа Айнгорна. Он с первых дней войны был призван в армию, а весной 1942-го пропал без вести (по-видимому, на Изюм-Барвенковском направлении, под Харьковом). Но Роза всё ждала его, всё

надеялась, как сотни тысяч, миллионы других женщин. И лишь после войны, когда всё стало ясно, вышла замуж, как нередко бывает у евреев, за своего деверя – Якова Айнгорна...

Были, конечно, и совсем другие вдовы. Быстро утешилась сотрудница той же Гипростали Тамара Кирилловна Л., выйдя замуж за красавчика Юзика Х – ва. Но кто в них бросит камень?

Всё же общим идеалом было ожидание вопреки здравому смыслу, фанатичная верность. Вот почему, когда после окончания кинофильмов «Два бойца», «Актриса», «Жди меня» в зале загорался свет, вокруг можно было увидеть так много заплаканных женских лиц.

Занятия

С нового, 1942 – 43 учебного года сестра, не оставляя работы на заводе, опять пошла учиться в школу. Для этого договорилась работать только в вечернюю или ночную смену, а утром шла в обычную школу – опять в 9-й класс, которого в предыдущем году так и не окончила. Однако летом 1943-го, после окончания 9 класса, уволилась с работы, уехала в Челябинск и там поступила на подготовительные курсы при эвакуированном из Киева медицинском институте. Проучившись на курсах месяца два – три, сдала положенные экзамены, но в институт почему-то поступать не стала, а вернулась в Златоуст и пошла в десятый класс обычной средней школы.

Курсы, как считалось, давали ускоренную подготовку в объёме десятого класса. Сестре каким-то образом удалось вытребовать оттуда аттестат за десятилетку. Это было весьма кстати, потому что в апреле 1944-го мы уехали из Златоуста, и доучиться там в десятом классе она не успела. Осенью с аттестатом тех курсов поступила в Харьков на филологический факультет университета.

Теперь о моей учёбе. Я в Златоусте учился в трёх школах: 16-й, 26-й и просто 6-й...

Но тут я вынужден прервать плавное своё повествование: почему-то перехватило горло...

Intermezzo-7

ПУМПА – КВА!

Интермеццо – слово итальянское, в переводе означает – «перерыв». Если перевести буквально. А вообще-то интермеццо – это «небольшая музыкальная пьеса, исполняемая между актами трагедии». Так сказать, отдых. Перерыв. Передых.

Итак, господа, отвлечёмся, отдохнём, снимем напряжение...

* * *

Константин Симонов опубликовал в своей переписке письмо некоему читателю, который, как утверждает писатель, неправильно истолковал один из образов романа «Живые и мёртвые» – образ фотокорреспондента Мишки Вайнштейна.

Читатель-еврей (далее цитирую Симонова) «...увидел обиду для еврейского народа в том, как... в романе выведен Мишка Вайнштейн» (К. Симонов, «Сегодня и вчера». Изд-во «Советский писатель», М., 1976, с. 550). Автор романа обвиняет своего читателя в «болезненной чувствительности, окрашенной националистическим духом», в «подчёркнутом и исключительном интересе к людям прежде всего своей национальности» (Там же).

Поскольку письмо и аргументация читателя не приводятся, мы и не будем гадать, прав Симонов или не прав в своих обвинениях. Более того, предлагаю допустить, что он вполне прав. Действительно, многим евреям весьма свойственно это болезненное чувство национальности, эта обидчивость и мнительность, столь неприятные окружающим и – смею заверить – нам самим.

Но вот вопрос: откуда оно – это чувство? «В крови» оно у нас. что ли? Или порождено «еврейским национализмом» (конечно же, буржуазным)? А он-то чем порождён?

В опубликованном по соседству другом своём письме (там же, сс. 610 – 611) читателю – тоже еврею: тому же или другому – неясно, – Симонов упоминает, что для Карла Маркса или Якова Свердлова их еврейство было обстоятельством второстепенным. Главным для них была принадлежность к революционерам. Изрядно сказано. И с этим спорить не будем: в жизни обоих революционеров еврейство, действительно, оказалось фактом пустяковым, никак не помешавшим им реализовать свои потенции и амбиции: одному – стать во главе Интернационала, другому – во главе ВЦИКа РСФСР. Очень хотелось бы спросить Симонова: а сейчас (1977 г.), в стране развитого антисемитизма, явилось бы их еврейство обстоятельством столь же пустяковым и второстепенным? Поставили бы нынешние кадровики какого-нибудь «Карла-Янкеля» (пользуюсь весьма кстати названием известного рассказа Исаака Бабеля) – поставили бы его не то что во главе Интернационала, но даже хотя бы инструктором обкома, горкома... райкома, наконец?!

Но поскольку покойникам вопросы задавать бесполезно, то и уймёмся. Отметим, что Симонов, вообще-то решительно выступавший против антисемитизма как шовинистической идеологии, никак не мог понять, почему у читателя вызвала удивление фраза о том, что герой романа комиссар Бережной «между прочим, по документам еврей» (там же).

Удивительные люди – эти писатели. Считается, что они как никто наделены даром сопереживания. И действительно, будучи мужчинами, способны (как Лев Толстой) описать, что чувствует женщина во время бала, когда мужчины смотрят на её обнажённые плечи. Или даже что она ощущает в момент родов. И тот же Симонов пронзительно-волнующе описывает чувства женщины при разлуке и встрече с любимым.

Но, оказывается, даже высокоталантливому писателю легче почувствовать себя женщиной, чем... евреем!

Согласитесь, однако, что автор «Русского вопроса» и «Русских людей», а также великолепного стихотворения о том, как умирают русские – «по-русски рубаху рванув на

грудь», – вряд ли отнёсся бы равнодушно к тому, что кто-то сказал бы о нём:

– Симонов? Он, между прочим, русский...

Быть «между прочим русским» – нельзя никак, русскость – во всей поэзии, драматургии, во всём творчестве Симонова – да и не его одного. Она подчёркивается как предмет особой гордости: «Я – русский человек, сын своего народа, / Я с гордостью смотрю на Родину свою» (Виктор Гусев). Но вот быть «между прочим, евреем» не только очень даже можно, но и непременно нужно. Еврейство неприлично выпячивать – его надо ступшёвывать.

Впрочем, русской стороной своей природы я такую странную логику понимаю. И принимаю. Так соблазнительно считать именно ассимилированность свою, свою растворённость в русской культуре и в русском менталитете чертой главной, а еврейскую часть своей природы – второстепенной. К этому я бессознательно и стремился всю жизнь, только мне этого достичь никак не удавалось, – а точнее, не давали.

Поэтому остаётся «с болезненной тщательностью» (выражение К. Симонова) исследовать причины этого противоположного, но – увы! – неизбежного комплекса, который писатель так удачно назвал «болезненной чувствительностью». Итак, отчего же болит у нас наше еврейство?

** * **

Как помнит читатель, до десяти лет у меня не было повода задуматься над своей национальностью. Так что никакого национального чувства «в крови» у евреев так же не существует, как и у любого другого народа.

В 1941 году мальчишка в пионерлагере впервые мне сказал, что я – жид. И этим объяснил и мне, и себе все мои действительные и мнимые недостатки и проступки – как прошлые, так и будущие. Часто у евреев спрашивают: ну, чего это вы так обижаетесь, когда вас называют жидами? Как у нас, украинцев, есть кличка «хохлы», а у нас, русских, – «кацапы», так у вас – кличка «жид»... Ну, и что из того? Обозвали друг друга, подразнились – и разо-

шлись. А вы так обижаетесь на слово жид, как будто вас убивают...»

А ведь и в самом деле: слова «хохол» или «кацап» не означают намерения стереть с лица земли всех украинцев и/или русских. А клич «Бей жидов, спасай Россию!» (...Украину, Польшу, Германию...) всегда был синонимом национального уничтожения, – неважно: мужчин или женщин, стариков или детей, виновных или безвинных, но именно и конкретно – евреев. И в те же дни, когда мне довелось услышать, что я – жид, в немецкой листовке русскому солдату «объяснили»: Гитлер пришёл тебя освободить от жидо-большевистской власти. Это означало, как мы теперь знаем, полное – до последнего младенца – уничтожение евреев! Так есть разница, или нет её, между добродушной дразнилкой «хохол», «кацап» – и полным ненависти клеймом «жид», в «идеале» несущим смерть?

В 1942 году в Глушках взрослый мужчина дразнил меня странным словом «Узе!». Если перед харьковским мальчиком, хотя бы лишь с его (мальчика) точки зрения, я хоть в чём-то провинился (мы поспорили из-за игрушки), то теперь насмешка и издевательство были вызваны лишь тем, что я вообще живу на свете.

Эти два случая нарушили мою национальную невинность. И, однако, всё это были только цветики по сравнению с ягодками Златоуста.

** * **

Папа с мамой не слишком мудрили, определяя меня в школу. Ближайшей была 16-я начальная – вот туда меня и записали: в выпускной – четвёртый класс. Учебный год был в разгаре, я в классе оказался единственным новеньким, и притом – не местным. И притом – евреем.

В Златоусте до войны евреев почти не было. Для меня осталось загадкой, каким образом всего лишь за год могла вспыхнуть такая повальная ненависть. Но главное – как научились жители узнавать евреев, вычленять их из толпы беженцев? Если взрослые ещё хоть как-то сдерживали свои

чувства, далеко не всегда раскрываясь, то дети выносили за пределы семей настроения и предрассудки родителей. Ненависть я ощутил на себе немедленно, едва переступив порог класса. Меня мгновенно опознали и с первой же секунды закрепили за мной кличку «Узе» – уже мне знакомую!

В тех краях детская круговая порука была на удивление крепка. Я это немедленно смекнул – впрочем, жаловаться и прежде не любил. Какой-то переросток (по-видимому, второгодник) принялся меня изводить на уроке. Учительница заметила это и выставила его из класса, он же перевернул это так, будто я его «выдал», и, выходя, громко мне пригрозил. После уроков, когда я вышел из школы, предводительствуемая им толпа мальчишек накинулась на меня и избивала в кровь, изваяв в снегу. Сопротивление было невозможно: их много – я один. Воротившись домой в слезах, я заявил родителям, что в школу больше не пойду. Они и не настаивали – записали меня в другую школу. Впрочем, с учительницей класса, из которого меня забрали, родители попытались объясниться – я при этом присутствовал, Бедняга никак не могла взять в толк, что случилось и почему.

– У нас в прошлом году училась одна девочка, тоже нацменка, башкирка, но её никто не трогал, – повторяла она растерянно.

Так я узнал, что я – нацмен, а родители – что учительница дура и невежда. Видно, тут-то они и поняли, что надо меня перевести в другую школу.

Не то чтобы в школе № 26 были умнее учителя, но там я уже был не единственный еврей. И не единственный эвакуант интеллигентского помёта: в одном со мною классе учился и Алик Дубко – мой харьковский одноклассник, сын главного инженера Гипростали, тот самый, кому я в Харькове невзначай раздавил флюс, за что получил «очень плохо» по поведению. Семья эта «так са́мо» жила в Златоусте, вот только сестрёнка Алика, Лена, умерла от кори. По старой памяти я стал изредка захаживать к Алику, но уж слишком мы были разные и потому не сдружились. А сдружился я – с Женей Медведевым из Донбасса (в этой се-

мье я никакой предвзятости не ощущал), с Валерием Куколем – сыном папиного сослуживца, интеллигентного украинца, женатого на еврейке. Там мне было хорошо.

Зато по улице, бываю, без приключений не пройдёшь. Мальчишки задевали, изводили дразнилками – то уже знакомой:

– Узе-узе, проехал на козе!

То, меняя ударение и рифму:

-Ўзе , ўзе, хвост на пузе!

То, – меняя и самую тему, переходя из категории пространства в категорию времени – и вновь возвращаясь в пространство:

– Сколько время? –

– Два еврея!

Третий – жид,

По верёвочке бежит!

Кто помнит детство, тот поймёт, что этот «фольклор» – не столь уж безобидная вещь. К тому же, он, как правило, дополнялся ощутимыми тумаками, так что я привык, проходя по улицам, втягивать голову в плечи, и вздрагивал при каждом окрике, чем ещё больше веселил злоустовских огольцов. Можно ли удивляться, что летом, когда мама решила послать меня в пионерский лагерь, я активно запротестовал. Хотя дома было голодно, а в лагере кормили, по тем временам, великолепно, и я это знал, но так страшился встречи с новыми детьми, что наотрез отказывался туда отправиться. И даже голод, к которому я очень чувствителен, не мог меня переубедить.

Мама легко догадалась о причине моего упрямства. Но ей как старой комсомолке казалось, что можно всё уладить, если я вовремя пожалуюсь воспитателю. Как представитель советской власти он-она-оно (то есть воспитатель) немедленно привьёт воспитанникам дружбу народов, а они (воспитанники) немедленно перевоспитаются. Радея о моей жизни и здоровье, мама принялась меня уговаривать:

– Сынок, ты же пойми, нам так трудно... А если ты будешь в лагере, нам станет легче. Не бойся, поезжай,

а если будут обижать – дай слово, что скажешь воспитателю.

По нашему внутрисемейному – а, следовательно, и по личному моему нравственному кодексу, слово, данное матери, ценилось превыше всего. И уж, конечно, выше, чем даже тот неписанный кодекс мальчишеской круговой поруки. Это меня и спасло. Но – довольно забавным образом...

Нападки и тычки начались немедленно. На мою беду, я в отряде оказался единственным «круглым» евреем. Были ещё двое полукровок, но их спасали русские фамилии отцов, а также нейтральная внешность. Я же для всех был очевиден.

Данное маме слово заставило меня подойти к воспитательнице – молоденькой, едва за двадцать, – и сказать:

– Елена Сергеевна, меня дразнят и бьют за то, что я – еврей.

И представительница советской власти приняла немедленные и действенные меры. Перед обедом, собрав весь отряд в спальне, а мне велел погулять в сторонке, провела с детьми беседу. Собрание закончилось, я стал в общий строй, чтобы идти в столовую. Дети меня оглядывали с каким-то любопытством и даже, как я почувствовал, с некоторой насмешкой. Но не трогали, не щипали, не стукали сзади исподтишка, как бывало перед этим, а лишь почему-то спрашивали одно:

– Ты виноват или не виноват? – И хихикали.

Я пытался уточнить: в чём я виноват или не виноват? – но в ответ они только смеялись.

После обеда один мальчик, Володя Меньшов⁵⁰, подошёл ко мне, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто на нас не обращает внимания, увёл меня за ближайšie ёлочки и там мне признался, что очень мне сочувствует. Дело в том, что его мама – еврейка, а двоюродный брат – «может, слышал?» – Владимир Гордон.

⁵⁰ Двойной тёзка знаменитого кинорежиссёра, который на 10 лет моложе. – Примечание 2005 года.

Он так гордился этим Гордоном, будто то был сам Джордж Гордон Байрон. Я понял, что речь о Володином родственнике-еврее, в чём-то очень преуспевшем.

Володя мне сообщил о беседе, которую провела Елена Сергеевна – Советская Власть:

– Не надо его бить и дразнить, – уговаривала она детей. – Ведь он же не виноват, что он еврей!

Довод неотразимый. Быть евреем – скверный недостаток. Но я в нём не виноват. Факт.

*Может быть (и даже – скорее всего), если б она разве-
ла бодягу: «Все народы – братья», «Евреи – такие же люди,
как и русские» и т.д. – её не стали бы слушать. Но аргумен-
тация воспитательницы возымела действие – меня оста-
вили в покое.*

** * **

И всё-таки пребывание в пионерлагере вспоминается мне как страшный сон. Голодные дети, как шакалы, набрасывались на еду, не только не стесняясь своего обжорства, но, напротив, похваляясь им. Присваивали чужие порции, выпрашивали подачки и перед каждым обедом, завтраком, ужином неестественно оживлённо принимались подмигивать, гримасничали, приговаривая: «Оттолкнёмся?!» – что означало: «Вот уж поедим на славу, выпросим, выдурим, выкрадем, отберём!»

Я тоже оголодал, как все, но меня тяготила такая обстановка. Надеюсь – не одного меня, но никто не пытался её исправить. Взрослые, возможно, тоже собрались здесь, чтобы «оттолкнуться». В одиночку же спорить с живоглотами мне было не под силу.

Особенно был мне омерзителен Пахомов. Этот мальчишка из нашего отряда целиком состоял из неукротимой, животной алчности. Приземистый, с узкими, крошечными, как у свиньи, глазками, заплывшим лицом, он почти постоянно что-то жевал, а в перерывах между жеванием, казалось, искал, что бы ещё пожевать.

Как-то раз перед обедом, когда мы вереницей проходили мимо окошечка раздачи, чтобы получить по булочке,

Пахомов, шедший как раз позади меня, быстро схватил лишнюю булочку и кому-то её передал. Раздатчица решила, что украл я, а булочки шли по штучному счёту, мне устроили тут же допрос, требуя, чтобы «сознался», но я твёрдо стоял на своём: не брал, не знаю. Первое было правдой, второе – ложью, от меня отступились, но всё-таки сказали: «Ты и украл».

Через некоторое время мы гуляли в лесу всем отрядом. Рассыпались, разбрелись, и я очутился на большой поляне. Вдруг слышу отчаянный детский крик:

– Ма-а-а-а-ма!!!

Из чащи на поляну выбегает девочка лет восьми–девяти, с полным лукошком земляники, а за нею гонится Пахомов. Настиг без труда и одной рукой вырвал у неё лукошко, а другой сорвал с головы платок. Горько плача, девочка удалилась. Корю себя за трусость – позже в жизни мне удавалось одерживать над собой победу, рисковать – и побеждать свой страх, но тогда я не решился на риск. Не в оправдание, а в объяснение скажу лишь, что Пахомов пользовался у детей авторитетом грубой силы и нахальства.

Минут через пять, спрятавшись за дерево, он поглощал землянику из лукошка, пригоршнями засовывая её в своё жевало. Хихикая баском, вытащил из-за пазухи платок и стал хвастаться своей добычей. Потом продал кому-то – и снова хвастался. Всё это осталось незамеченным взрослыми. Вообще, не помню какой-либо воспитательной работы в этом лагере, кроме коллективного пения да сдачи спортивных норм на значок БГТО («Будь готов к труду и обороне!»).

А вокруг простирались сказочно красивые места. Лагерь был расположен на берегу живописного озера. В конце лагерной смены стали готовиться к пионерскому костру. Взрослые разметили на большой поляне пятиконечную звезду, а мы, дети, должны были собрать и выложить по её контурам кучи сухого хвороста. Я носил хворост вместе с Пахомовым и моими одноклассниками Зитевым и Симаковым. Это были смирные, спокойные ребята, но теперь они вели себя по отношению ко мне враждебно, подчёркнуто

отчуждённо. Вдруг, указывая на хворост, который вечером станет костром, Зитев сказал:

– Вот бы здесь сжечь всех евреев! – И выругался матерно.

А Симаков, добродушный, губатенький Симаков, которого прозвали почему-то «Сёмой» и поддразнивали весёлым, безобидным стишком:

*Сёма-лёпа,
Красна жопа,
Синя мудь, -
Айда сюда! -*

этот, в общем-то, симпатичный, приветливый паренёк вдруг злорадно посмотрел на меня – и рассмеялся.

А ведь большинство людей на Земле тогда ещё не знало, не ведало, что по всей Европе горят костры из еврейских тел. Но ведь не только еврейских: лиха беда – начало! Юдофобия – лишь модель любой шовинистической фобии, её «классический» образец...

Однако здесь, в этом русском, уральском лесу, свой зверский вердикт произнёс не Гитлер, не рейхсфюрер Гиммлер, не доктор Геббельс, а златоустовский пионер, мой одноклассник Зитев – по-школьному, «Зитёк»...

** * **

Зимой того года в заводском клубе шёл отснятый перед войной – ещё до заключения с Германией пакта о ненападении – антифашистский фильм «Семья Оппенгейм» (по роману Л. Фейхтвангера, позднее им переименованному в «Семья Опперман»). В фильме есть сцена изгнания нацистами из клиники талантливого врача-еврея, доктора Якоби. Маленький и некрасивый, с типично еврейской внешностью, Якоби задаёт какой-то невинный вопрос нацистскому бонзе, а тот вместо ответа неожиданно бьёт доктора по лицу.

Эта сцена была символом всей политики нацизма по отношению к неарийским народам. Но ведь для того, чтобы это понять, необходим хотя бы минимальный уровень

духовного развития. Когда нацист ударил доктора, зал... взорвался ликованием! Раздались аплодисменты, выкрики: «У, жжжидяра!», «Узе-узе!», «Абгггаша-а!» – и злорадный смех...

Удовольствие видеть ненавистный образ еврея униженным возобладало над советским патриотизмом той группы зрителей, которая доминировала в данной аудитории.

Десятилетиями позднее, где-то в шестидесятые, во время повторного проката довоенной ленты «Искатели счастья», я был свидетелем такого же поведения зрителей в Харькове. Теперь это было хихиканье над отдельными еврейскими именами, интонациями... На экране момент печальный или лирический, а зритель – смеётся. Что такое? Оказывается, прозвучало специфическое имя персонажа: Шлёма...

После пионерлагеря я уехал с отцом в сельскую местность – далеко за город Курган, в Зауралье, и пробыл там до начала учебного года. И даже дольше: когда мы возвратились в Златоуст, школьные занятия шли уже полным ходом, причём оказалось, что я переведён в другую школу. Ведь товарищу Сталину стукнуло в голову с осени 1943 года разделить школы в крупных и средних городах на мужские и женские. Такая реформа протекала в русле возврата к дореволюционным формам быта и жизни (восстановление офицерских и генеральских званий, введение погон, замена наркоматов на министерства, возобновление архаичных «здравия желаю», «никак нет», «так точно» и «слушаюсь» вместо рабоче-крестьянских «здравствуйте», «да», «нет» и матросского «есть!»...)

Всё это можно бы сейчас сравнить со «стилем ретро». Но если погоны и министерства привились прочно, то школы лет через десять после войны и спустя два-три года после смерти Сталина вновь объединили. Возможно, причина в том, что если одни преобразования коснулись лишь формы, то другие (среди них и школьная реформа) затронули суть вещей. Во время войны, с милитаризацией быта, в обстановке обострённого внимания к военно-

патриотическим традициям российского прошлого, кому-то показалось уместным вернуться к гимназиям, кадетским («суворовским») училищам, воспитывать мальчиков по-воински, девочек же учить домашнему хозяйству, «и танцам, и пенью́, и нежностям, и вздохам». Этому предшествовал период военизации школы ещё совместной, где учились и мальчики, и девочки. Например, зимой 1942 – 43 учебного года в нашей 26-й школе (думаю, и в других) был введён порядок, предусмотренный Уставом внутренней службы Красной Армии: при появлении директора (в армии – командира части и вышестоящих начальников) дежурный учитель должен был скомандовать: «Школа, смирно!» – как дежурный по части командует: «Полк, смирно!». Наша учительница Елизавета Алексеевна, похожая на толстую утку, обладала, как на грех, голосом чрезвычайно писклявым. Завидев директора школы (тоже женщину), багровела от смущения и визжала что есть силы на самых высоких нотах: «Шко-ла! Сми-рна!». У детей этот комический возглас вызывал приступ неудержимого веселья – о смирном поведении не могло быть и речи...

Для более успешной военизации мальчиков министр просвещения Потёмкин (вот же метит Бог шельму: просвещение – Потёмкин!) решил дело единым росчерком пера: школы в городах были разделены, и, вернувшись с отцом из деревни, я узнал, что отныне должен учиться в 6-й мужской школе, которая находилась довольно далеко от метзавода (и нашего дома) – в районе, именуемом Татарка.

* * *

Не без робости переступил я порог своего нового класса – и тут же душа моя ухнула в пятки: добрую половину учеников составляли мальчишки из того самого класса 16-й начальной школы, где меня около года назад отлупили до крови и изваляли в снегу и куда я категорически отказался ходить. Меня встретил дружный, ликующий, злорадный вопль – они всё хорошо помнили и были готовы повторить! Я вошёл в класс, когда там сидел учитель, и только это им

помешало. С холодком в сердце я ждал начала переменки. Куда бежать теперь? Что придумать? Мозг мой лихорадочно бурлил в поисках выхода из тупика.

Вот и звонок. Учитель вышел из класса. В следующую же секунду огольцы, старые мои знакомцы, обступили меня плотным кольцом, не дав даже выйти из-за парты. Немедленно начались тычки, щелчки, кто-то ловко и быстро дал затрещину... Всё это пока словно бы в шутку, и я, делая вид, что так и воспринял происходящее, весело улыбаюсь. Но ясно: ещё чуть-чуть помедлить – и кто-нибудь отвесит такой подзатыльник, после которого уже нельзя будет притворяться. В этот миг (чувствовал я) решается судьба моих взаимоотношений с одноклассниками на много месяцев вперёд. Бежать было некуда, вступить в драку – бесполезно, даже если бы я умел. Надо было решиться на что-то совершенно неожиданное, совершить поступок, который перевернул бы общее настроение на 180 градусов.

И тогда я... неловко признаться, но расскажу, как было: тогда я... запел!

Этой шуточной песенке под названием «Китайская болтовня» научил меня в Харькове Эмка Мацкевич – тот самый шестиклассник, который раскрыл мне тайну деторождения и с которым мы подобрали и прочли немецкую листовку про «жида-политрука». Текст песенки в самом деле представлял из себя чистейшую абракадабру. Все вокруг должны были приговаривать мерно под моим управлением: «Пум-па! «Пум-па!», я же под этот аккомпанемент пронзительно выкликал на некий весёленький мотивчик:

*Джумба-й-квили-мили-толи-мили-надзе,
Джумба-й-кви, джумба-й-ква!*

О микадема! О шири-вири-бумба! –

И так далее, – с вариациями и повторами. Там ещё был один куплет с восклицанием, особенно веселившим публику:

О чернопупа!

Вот и на этот раз слушатели пришли в неопиcуемый восторг. Меня немедленно вызвали на «бис!». Наиболее агрессивные всё же попытались меня щипать и дёргать, но тут уж я почувствовал себя хозяином положения: в ответ на тычки и толчки демонстративно замолчал, и большинство публики, заинтересованное в том, чтобы я бисировал, само урезонило нахалов.

На следующей перемене повторилась та же история, и отныне меня стали заставлять петь: если я не хотел, то теперь за это давали затрещины. Но я – хотел, ибо в шутковстве обрёл спасение...

В этом классе «так са́мо» учился и Алик Дубко. Когда я пришёл к нему в гости, его младший брат Коля посмотрел на меня внимательно, засмеялся и, как видно, повторяя рассказ Алика, сказал несколько раз, как дразнилку:

Его бьют, а он поёт!

Его бьют, а он поёт!

Я не стал оправдываться и объяснять Коле, «так само», как и Алику с их родителями, что моя малодушная хитрость спасла меня от более существенных унижений и побоев.

** * **

В дальнейшем жизнь моя в классе наладилась. Некоторому моему авторитету и возвышению содействовало то, что я стал систематически драться с одним из мальчиков – Борькой Лихачёвым. Сидя за моей спиной, он колот меня стальным пёрышком на уроке. Я пригрозил. И мы условились «стукнуться». На перемене нас окружили одноклассники, и я стал неумело, но добросовестно драться. Правила поединка строго соблюдались, на меня не навалились всем коллективом, и противник, чистенький и не слишком ловкий мальчик, оказался мне по силам. В итоге первой драки я разбил ему нос, в другой раз он содрал мне корочку на отмороженном месте щеки... Драки наши вошли в традицию, причём проходили без излишнего ожесточения, и я не могу сказать, чтобы противник был мне неприятен, – скорее наоборот!

Конечно, то, что я оказался в состоянии за себя постоять, поднимало меня в глазах сверстников. Но не роль драчуна, как и не ампула шута, избавили меня по-настоящему от террора, а совсем другое обстоятельство, которое стоит оценить по достоинству.

Дело в том, что в нашем классе, кроме меня, было ещё два еврея. Один из них, Вадим Розенцвейг, приехавший из Запорожья, был, по сравнению со мной, как бы «меньше еврей». Плотный, ловкий, сильный и спокойный, он не соответствовал распространённому представлению о евреях как о «маменькиных сынках», неженках и трусах. Правда, и мне не были свойственны эти черты, но меня подводила физическая неловкость, неповоротливость и связанная с этим робость. Розенцвейг был, с точки зрения тамошних мальцов, меньше «похож» на еврея, у него были спокойные серые глаза. А главное – он блестяще учился, что в среде детей того времени более всего способствовало их уважению.

Но второй – или, вернее, считая меня, уже третий – еврей, по фамилии Гуревич, был как раз «более еврей», чем мы с Вадимом оба, вместе взятые. Этот картавящий, носатый, не очень опрятный мальчик из Орши, сын парикмахера, страдавший хроническим насморком, в наибольшей степени соответствовал карикатурному образу «жидка», созданному антисемитским фольклором.

И вот, ценой несчастий этого-то «шлимазла» (неудачника, в переводе с еврейского), я, очевидно, и обрёл желанный покой.

Ещё до моего появления в классе на Гуревича обрушилась та лавина бессмысленной и необъяснимой ненависти, какую я испытал годом раньше в 16-й школе. Появившись в классе, я чуть было не навлёк её и на себя, но вовремя спасся шутловством.

Гуревич оценил значение моей хитрости и тоже попытался овладеть вниманием аудитории. Оказалось, что он, зажимая пальцем одной руки ноздрю, а при помощи другой манипулируя своим длинным сморкатым носом, умеет исторгать из него звуки... гавайской гитары! Возможно, он

перенял это искусство у какого-нибудь заезжего эстрадного халтурщика – «артиста оригинального жанра». Однако его «Гаваи» не выдержали конкуренции с моим «Китаем» – с моей подачи уже весь класс пел «по-китайски»:

Сальвер-кальвер-ростом!

Пумпа-ква! Пумпа-ква!

С моей лёгкой руки эта «Пумпа-ква» и «Чернопупа» стала поистине гимном нашего класса! А Гуревича дети продолжали изводить, как и раньше. Из «жидов» или «узе-узе» он не вылезал. Особенно для бедняги была мучительна дорога домой. Идти до метзавода нам приходилось не меньше получаса, и всё это время злые мальчишки преследовали его, как оводы – извозчичью клячу, набрасываясь то в одиночку, то стаяй, подставляя подножки, выбивая из рук школьный портфель... В числе истязателей был и Алик Дубко. Я пытался вмешаться, вступиться, стал проповедовать дружбу народов, но весьма авторитетный среди мальчишек Чирков (по прозвищу «Чира», – златоустовские дети в прозвищах не были изобретательны и образовывали их простым усечением фамилий) сказал мне:

– А ты, Рахля, не лезь: его бьют не за то, что еврей (вот тебя же и Розенцвея не трогают), а потому, что он не сопротивляется!

Мне было выгодно и лестно поверить в такое объяснение. Думаю всё же, что оно справедливо лишь отчасти. Хотя вывод для еврея может быть один: сопротивляйся, если есть хоть малейшая возможность. Иногда пренебреги и отсутствием возможности!

Но это легко сказать, и ох как трудно выполнить! Ни от кого не получая защиты, Гуревич вскоре бросил школу. Отец взял двенадцатилетнего мальчика к себе в парикмахерскую учеником – подмастерьем.

Гуревич стоял теперь у кресла и стриг «под ноль» детей (в то время все мальчишки, по седьмой класс включительно, были обязаны ходить голомозгими, как рекруты. Но и это не спасало от вшей!). Таким образом, он окон-

чил только четыре класса, а в пятом проучился не более двух-трёх месяцев. Но от одноклассников не избавился: вскоре они зачастили к нему «на приём»! Он исправно облованивал машинкой вшивые головы своих истязателей, а назавтра Чирков, Аверьянов, Свинухов, Тошка Поленов, Лёнька Казаков и Алик Дубко ревниво спрашивали друг у друга:

– Ты у кого стригся? У Гуревича?

И каждый рад был с гордостью похвастаться:

– У Гуревича!

– И я – у Гуревича!

* * *

Маленький парикмахер был не единственным, кто вынужденно оставил школу из-за бессмысленных и несносных юдофобских издевательств. В отрочестве и юности я дружил с Мироном Черненко. Сейчас (писано в начале 2000-х гг.) Мирон Маркович – известный киновед и кинокритик, автор ряда книг по истории и теории кинематографа, живёт в Москве, разъезжает по свету⁵¹. А в то время это был тихий, нескладный шестиклассник Роня, живший с мамой Сарой и тётей Шелей на Генераторной улице, увлекавшийся чтением и филателией. При знакомстве нашем там, в Златоусте, он сразу же, ещё на пороге своей квартиры, едва открыв мне дверь, спросил:

– Маггги собигггаешь?

Да, картавил он изумительно: как два Гуревича! И нос у него еврейский, и глаза... В моей памяти – сценка, которую я увидел снизу – из-под крутой горы. Мирон по этой горе, по тропочке, возвращался из школы. Его нагнала толпа мальчишек – и ну давай лупить портфелями по голове! Все – на одного! Вынести такую ежедневную травлю он не мог – и

⁵¹ Глава «Лиги московских кинокритиков» М.М.Черненко внезапно скончался в феврале 2004 г. в Петербурге во время служебной командировки, по дороге на Гатчинский кинофестиваль. – Примечание 2005 года.

потому просто перестал ходить в школу. Возобновил учёбу только по возвращении в Харьков (мы оказались земляками и возвратились из Златоуста в одном эшелоне).⁵²

Может быть, со временем и меня бы постигла такая судьба (популярность «Пумпы-Ква – «Чернопупы» могла пойти на спад, да и репутация драчуна нуждалась в непрерывном подтверждении, на что меня бы не хватило), но тут помогли обстоятельства. Дело в том, что администрация школы при комплектовании пятых классов допустила некий педагогический просчёт, мне лично пошедший на пользу: каждый из двух этих классов был подобран по территориальному признаку. В одном классе все ученики были из посёлка метзавода, во втором же – только из района Татарки, где и находилась школа.

Территориальный антагонизм вообще очень силен среди мальчишек, а тут его ещё и усилили столь необдуманном разделением. С первых дней «татарские» восприняли «метзаводских» как чужаков – и подвергли нас террору.

Хотя большинство «татарских» (если не все) были русские, но ситуация и в самом деле напомнила в миниатюре «татарское иго». Вот идёт в нашем классе мирная переменка: то ли Гуревич сычит своим гнусавым носом «гавайскую» мелодию, то ли я балабоню «китайскую болтовню» или дерусь в очередной раз с Борькой Лихачёвым... Как вдруг в классе воцаряется зловещая тишина: это вошёл в сопровождении свиты вожак «татарских». Угрюмо подходит к моему Борьке, замечает у того на груди алое пятнышко какого-то значка, молча ухватывает этот значок цепкими пальцами и – вырывает добычу «с мясом», то есть с куском ткани, безнадежно испортив Борьке его курточку. У кого «татарские» видели что-либо съедобное – безжалостно отбирали. После уроков

⁵² Любопытно, что в своих (впрочем, весьма беглых), автобиографических заметках об этом периоде Мирон ни словом не упомянул об этом вынужденном перерыве в учёбе и о его причинах. – Примечание 2005 года.

встречали нас за поворотом и били по одному. Но мне в такой обстановке стало даже как-то легче: теперь я не был исключением – ведь били всех. Я же для одноклассников окончательно стал своим.

Долго мы платили местным свой «ясак», но в конце концов наши лидеры – Чира, Лёнька Казаков и ещё два-три мальчика – составили между собой заговор. Они долго о чём-то шептались, а на другой день объявили: выходить из школы будем все вместе. Держаться – гурьбой. Подойдут «татарские» – не разбегаться!

После уроков «татарские», как и обычно, заступили нам дорогу. Но мы стояли тесной стенкой, а вперёд вышел Лёнька. На него тотчас грудью попёр «татарский» вожак, но Ленька размахнулся и ударил его кулаком прямо в лицо. Оно вмиг залилось кровью, вожак зашатался, вся его ватага дрогнула, мы насели, крикнули «Ура!» – и в несколько секунд разогнали «татарских» так же, как они до этого разгоняли нас.

Удивительно, однако, этого случая вполне хватило для нашего избавления от «татарского ига». Между тем, мы сплотились, почувствовали себя если не коллективом, то ватагой, и я был в ней не хуже прочих. А бедному Гуревичу не суждено было это испытать: не дождался, не дотерпел...

** * **

Но хотя в школе я обрёл, наконец, относительное спокойствие, вокруг царила враждебность.

...Иду по улице. Навстречу – женщина, рядом с нею – крупный подросток лет 16-и – 17-и: почти юноша. Мне и в голову не приходит, что эти мирные прохожие (на вид – мама с сыном или тётя с племянником) чем-то опасны. Но, поравнявшись со мною, парень вытягивает руку на уровне моего лица и кулаком разбивает мне губы в кровь. А дальше... оба проходят, даже не оглянувшись! Я стою окровавленный, смотрю им вслед, изумлённо кричу: «За что?!», но ответа не получаю. («Не ходи босой, дурак!» – крикнул

в подобном случае в ответ на такой же вопрос казак-погромщик огретому им нагайкой еврею (в «Тихом Доне»)... Но то был хотя и издевательски нелепый, а всё-таки ответ... На мой же вопрос ни мой обидчик, ни его спутница даже не оглянулись, и носом не повели!)

... Иду в гости к своей подружке Эльзе – дочке Розы Борисовны Сироты. Они живут на четвёртом этаже. Стучу в знакомую дверь, открывает её вовсе незнакомый парень – тоже подросток, но на несколько лет старше меня. Окинув взглядом, вежливо приглашает: «Проходи!» – и жестом указывает на знакомую мне комнату. Иду через небольшой коридор коммунальной квартиры и думаю: кто это? Тоже гость – или их сосед? Между тем, он уже распахнул дверь комнаты и ждёт, когда я войду. Пропустив вперёд, входит сам и... запирает изнутри дверь на ключ. Я уже заметил: комната – другая, не Эльзина! Я ошибся этажом – постучался в квартиру на третьем, а мне нужен четвёртый... Рвусь назад – но он положил ключ к себе в карман, и я в руках врага! Злыми, беспощадными глазами смотрит он на меня – и произносит злорадно:

– Попался, жидаяра?!

– Пусти! – сдавленным голосом отвечаю я, прекрасно понимая, что просто так он меня не выпустит. Сердце между тем ухнуло вниз – до пяток не дошло, но барахтается где-то посредине. Парень – угрюмо:

– Давай деньги!

– У меня нет, честное слово!

Но он не верит:

– А если найду?

– Ищи!

Он добросовестно, как таможенник, вывернул мне карманы⁵³. Но, не найдя ни копейки, разозлился, дал мне подзатыльник, отпер дверь, распахнул её и пинком под зад выгнал меня в коридор. Не правда ли: я дёшево отделался?

⁵³ Писано в 1983 году – тогда я ещё не знал, что таможенники по карманам обычно не лезят. – Примечание 1999 года.

* * *

...А вот и ещё эпизод. На улице осенью повстречавшийся мне незнакомый взрослый мужчина сорвал с меня кепку и забросил через забор кому-то во двор. Я полез, кепку достал, но неисправимо порвал о забор штаны...

* * *

Вот так, с опаской, втягивая голову в плечи, а при возможности обходя встречных, я научился ходить по Златоусту – и от этой привычки долго потом не мог избавиться. Не хочется тревожить прах К. Симонова, и ведь этот писатель был не из худших, он искренне осуждал юдофобию, но её последствия, её тяжкое воздействие на гонимый и презираемый народ полностью осмыслить не мог. Может быть, после такого моего рассказа и ему стало бы понятно, откуда берётся у евреев болезненное чувство, заострённое внимание к своей национальности... Что понапрасну гадать?!

А теперь, дорогой читатель, после столь ощутимого роздыха, вернёмся к плавному, плановому, безмятежному течению жизни.

Глава 8

Папа

Где-то я обмолвился уже, что для спасения семьи папе пришлось заняться по общественной линии заготовками продуктов. Но для того, чтобы объяснить, насколько чуждым и мучительным было для него это занятие, расскажу подробнее о своём отце.

Додя Рахлин вырос на пыльной Большой Панасовке (в советское время – улица Котлова), в обстановке вечных нехваток, в многодетной семье заводского служащего, где первой дочери сумели дать образование гимназическое, первому сыну – «реальное», а уж всем остальным – какое придётся. Доде, пятому или шестому ребёнку из семи выживших, досталось образование лишь «высше-начальное», то есть четыре класса. Он уже начал где-то работать мальчиком на посылках, помощником приказчика, но тут грянула революция, началась чехарда разных властей. Уж не знаю, кто привёл молодёжь этой семьи к большевикам⁵⁴, только все они (исключая взрослую к тому времени Сонечку, так и оставшуюся вне политики, и рано умерших Фрою и Риву), – все, от старшего из оставшихся, Лёвы, до младшего, – Абраши, стали комсомольцами. И все, кроме Тамары, вскоре вступили и в партию.

⁵⁴ Как мне стало известно, это сделал вернувшийся с фронта их названный брат Мотя Факторович. – Примечание 1990 года.

Папа в комсомол вступил в 19-м или 20-м, и в 20-м же – в партию. Сначала заведовал городским комсомольским клубом на Старо-Московской, а потом был направлен на комсомольскую работу в Енакиево (Донбасс), где возглавил райком или горком комсомола.

Был он с детства худой, длинный, горбоносый. За высокий рост мальчишки на Панасовке звали его «Дындя – Телеграфный Столб». Подруга семьи, помнившая его по встречам в Донбассе, рассказывала: он ходил весь покрытый от недоедания фурункулами, красноглазый от бессонницы, а не спал потому, что много было работы. Где-то году в 22-м его направили на учёбу в Харьковский «комвуз» – Коммунистический университет имени Артёма, знаменитую в то время «Артёмовку», В памяти соучеников (проф. Блудов, доц. Штейнман) он сохранился как весёлый, жизнерадостный студент – комвузовский поэт. Тёща моя, примерно с того времени жившая в Харькове, рассказывала: артёмовцы ходили по улицам строем, стуча «подборами» – сандалиями на деревянном ходу, и хором пели свой собственный гимн на мотив известной солдатской песни «Взвейтесь, соколы, орлами!»:

*Нам, артёмовцам, учиться
Революцию творить!*

Тёща не знала, но я-то знаю хорошо: слова этой песенки сочинил мой отец.

Ефимчик, папин друг, говорил: у папы в душе жила тогда мечта о литературной деятельности. Но занялся – политэкономией, потому что считал её более нужной для пролетарского дела. Однако рифмовал всю жизнь – и даже в тюрьме и лагере⁵⁵.

Летом 23-го года в комсомольском доме отдыха под Житомиром, в местечке Коростышеве, отец познакомился с нашей мамой. Есть чудный снимок: лесная поляна, на траве сидит небольшая группа молодёжи. Юная девушка со взглядом задумчивым и ласковым, с короткой стрижкой гладко причёсан-

⁵⁵ Об этом см. в книге: Давид и Феликс Рахлины, *Рукопись. Харьков, Права людини, 2007*. – *Примечание 2007 года*.

ных и, вероятно, заколотых шпилькой волос оперлась о плечо русого парня, а с противоположного края этой живописной группы глядит на нас очень серьёзно и даже чуточку угрюмо чубатый кудрявый юноша в белой косоворотке – такой еврейский Гришка Мелехов. Мне всегда казалось, что отец в тот день ревновал маму к этому русоволосому, что сидел возле неё, – а, может, так оно и было.

Таких снимков у нас было два: один принадлежал отцу, другой – матери. Прощаясь, друзья оставили на обороте друг для друга памятные надписи. Обменялись посланиями и папа с мамой. На мамином экземпляре – посвящённый ей акростих отца. Её звали Блюма («цветок» на еврейском-идиш языке), а по домашнему и для близких друзей она была «Бума». В акростихе же зашифрована кличка, которую, как видно, дал ей отец:

Б уйные пляски под треньки гармоньки,
У зкая речка – как лезвая сталь...
М ы своим «Звоном вечерним» стозвонко
Б умкали в Осень и Даль.
О сень-чахотка кралася лисицею,
Ч ахлым румянцем горела кругом.
К расными звонами, яркими птицами
А ло звенело: «Бум!» и «Бом!»

Довольно полный набор средств из арсенала модернистской поэзии: неологизмы (лезвая, бумкали, стозвонко), туманно-романтическое написание будничных слов с прописной буквы, перенасыщенность образами (осень – сразу и «чахотка», и «лисица») и такие новости морфологии и звукописи, как «треньки гармоньки»... Вкуса, по строгому счёту, маловато, но какой же чистой и обаятельной молодостью веет от этих стихов! Можно по ним легко представить досуги юной компании: танцы под гармонь, дружеское вдохновенное пение, столь ядовито высмеянное в экранизации булгаковского «Собачьего сердца»... Но в данном случае репертуар был далёк от жестокой пародии композитора Дашкевича и поэта Юлия Кима «Суровые будни настали...» – молодёжь в Коростышеве, не заикливаясь на идеологии, пела «Вечерний звон», который в России считают

русской народной песней, а в Англии – английской... Но который и там, и здесь навевает так много волнующих дум! Прибавим к этому волшебную природу украинского Полесья, тихие вечера, такие тёмные и долгие в канун подступающей осени... Так начинался комсомольский роман наших родителей.

Надпись на обороте папиного экземпляра снимка (они ещё не знали, что будут вместе):

*«Нежному Доде
на память о лесе и речке, белом песочке
и комсомольском раздолье в дни отдыха.*

Бума»

По-моему, в этой прозе никак не меньше поэзии, чем в стихах революционера-артёмовца.

Вот так они полюбили друг друга, и вскоре мама приехала к себе на родину, в Житомир, вместе с мужем. На снимке не видно, а по рассказам знаю: всё лицо его было в возрастных прыщах. И бабушка наша будущая, Сара, с присущей ей меткостью слова, наделила его (разумеется, заочно) прозвищем «Дер Прищеватер» (Прыщавый)...

Кажется, из-за мамы он перевёлся, по месту её учёбы, в Ленинградский комвуз – Коммунистический университет имени Зиновьева – и окончил его в том же 1923 году – ускоренным выпуском. Тут он был призван в армию и прослужил в ней 13 лет – до 1936 года, пока не выгнали «за троцкизм». «Прошёл путь» (сказали бы мы, советские журналисты) «от рядового красноармейца до полкового комиссара». Окончил военно-политическое училище, стал в нём же преподавать политэкономии, увлёкся наукой и преподаванием и где-то в начале 30-х окончил заочно ИКП – Институт Красной Профессуры. Вошёл в бригаду ЛОКА (Ленинградского отделения Коммунистической академии), созданную для написания двухтомного учебника политэкономии. Папа был автором главы о прибавочной стоимости, помещённой в первом томе. Соавторами в создании учебника стали братья Вознесенские и ещё ряд экономистов.

По политэкономии капитализма папа написал ряд работ. Его привлекала теория, красота логического мышления, диа-

лектика доказательств. Он сложился как кабинетный учёный и этим был бы ценен стране – если бы страна ценила таких учёных. Но ведь у нас смеялись над кабинетным мышлением – как будто не в тиши кабинетов создавали Маркс и Ленин свои сочинения. У нас товарищ Сталин объявил кибернетику или менделеву генетику – лженауками, а Никита Хрущёв потешался над опытами на плодовой мушке: что за объект наблюдений – муха, уж если экспериментировать, то – на слоне! Кабинетный учёный – это словосочетание превратилось в ругательство. Но ведь кабинет для учёного то же, что поле для крестьянина, цех для рабочего, чертёжный зал для конструктора. Или, может быть, советская наука сильно выигрывает от того, что доценты с инженерами месяц в году собирают кукурузные початки, дёргают морковь или рубят капусту, в то время как сбежавший некогда из сельских мест недоучка руководит губернией из стен служебного кабинета! И он – не кабинетный тип! Он – «плоть от плоти». А «доценты с кандидатами» – «гнилая интеллигенция»

Но в те времена разделение труда носило ещё старую форму. Навыки практической жизни у отца были минимальными. И теперь, в годы второй мировой войны, он был вовсе не готов к тому образу жизни и действий, который был реально необходим, чтобы выкручиваться. Пресловутое «еврейское торгашество» с генами не передаётся.

Патриотические порывы, попытки уйти на фронт успехом не увенчались. Последняя из них была предпринята у меня на глазах. Создавался Уральский добровольческий танковый корпус. В Гипростали, как и везде по предприятиям и учреждениям, созвали митинг. Случайно я на нём присутствовал – и замер от волнения, когда слово для выступления предоставили отцу. Он заявил, что в дни, когда Родина в опасности, не считает возможным оставаться в тылу и просит направить его добровольцем в новое танковое соединение.

Хотя папин голос и показался мне чересчур жидковатым и слабым для такой патриотической речи, меня распирали гражданская гордость, и мне очень захотелось, чтобы папу, наконец, послали на фронт. Но никто не поспешил воспользоваться его боевым пылом. А от его младшего брата Абраши, с которым он поделился своими намерениями, пришла открытка неожидан-

ного для родителей содержания. «Додя, – писал Абраша, – не мальчишествоуй, отбрось романтику, заботься о семье, сохрани себя для Бумы и детей».

Мама с папой в тихих своих разговорах (которые я невольно слышал: комната ведь была одна – и небольшая) нелестно отзывались об Абраше, приписывая такие его настроения влиянию его жены – «мещанки» Ляли (которую, несмотря на её «мещанство», оба очень любили за весёлый нрав и острый язычок). Но, независимо от советов брата, папу на фронт не посылали, да и всё тут... А семья, действительно, требовала забот. Вот тут-то он и принял предложение начальства: отправиться с доверенностью отдела рабочего снабжения (ОРСа) металлургического завода в сельскую местность Зауралья – для длительной командировки по заготовке продуктов в пользу работников Гипростали.

Колхозам, выполнившим план сдачи продуктов государству, разрешалось продавать оставшиеся излишки по льготным или даже твёрдым ценам официальным представителям предприятий. Папу направили с соответствующими полномочиями в посёлок Юдино (на железнодорожную станцию Петухово), Курганской области. С собой у него были наличные деньги, собранные сотрудниками Гипростали, а также предоставленный ОРСом обменный фонд в виде бутылок с «Московской» водкой, служившей на Руси в ту пору (да отчасти и в эту!) «всеобщим эквивалентом» при товарообмене.

Папе было предоставлено право нанять себе помощника из местных жителей. Таковым стал мужчина средних лет – худощавый и сильно рябой Иван Фёдорович (фамилии не помню). То ли вместе, то ли врозь, колесили они по району, который Иван Фёдорович знал, как свои пять пальцев, – скупали у колхозов продуктовые излишки или выменивали на водку. Иногда папа ездил домой в Златоуст: для отчёта и для пополнения заготовительных средств. Основную часть заготовленного товара должны были потом доставить в Златоуст специально выделенным вагоном. А пока, пользуясь возможностью, он отвозил домой всё, что мог (и гораздо дешевле, чем в городе) – купить и увезти с собой: солонину, топленое масло, связки репчатого лука, поваренную соль (в тех местах Зауралья были местные

соляные промыслы). Достояние – бесценное, подспорье – могучее! Возле нас кормились и хозяйка квартиры – Поносовы, и соседи – «Шапиркины», и Роза Борисовна с Эльзой, и даже работавшая в Гипростали переводчицей с английского Шеля Осиповна Лесовая с племянником Мироном Черненко и сестрой Сарой...

Летом 1943-го, после того как я «отбыл срок» своего *лагеря* (пионерского!), папа взял меня с собой – подкормить. В Петухове – Юдине первым долгом повёл на базар и угостил с прилавка «топлюшкой», как называют в тех местах ряженку). Я съел этой «топлюшки» подряд *семь стаканов!* Съел бы и восьмой, да постеснялся отца и торговки.

Мы поселились в избе у каких-то местных жителей, и потекли дни, для меня довольно скучные. Целыми днями слонялся по двору, съезжал на задку с большого стога сена, заготовленного на зиму для коровы, от нечего делать ел растущий дичком в огороде чёрный паслён, чаще именуемый *бздикой*, ковырял подошвой гвоздь, торчавший из какой-то дощечки, – прессованный брезент моей подошвы легко раздался, и гвоздь вошёл острием в мою ступню, которая от этого долго потом нарывала...

Папа продолжал заниматься заготовками. Однажды в поездку по району взял и меня. Так я увидел большое озеро Медвежье, на берегу которого из солёной воды простейшим способом выпаривали соль.

Для дальнейшего рассказа существенно, что папиным непосредственным начальником в Петухове был «райуполкомзаг» – районный уполномоченный госкомитета заготовок, – назовём его, к примеру, Михаилом Кузьмичом.

В один прекрасный день Иван Фёдорович перестал приходить, а ему на смену прибыла помощница из Златоуста – кажется, Нина Александровна. Отец ходил какой-то потерянный, страшно чем-то озабоченный, то и дело куда-то отлучался в официальные учреждения – и возвращался ещё более подавленный. Однажды, когда я во дворе лечил себе нарыв на ноге подорожником, он явился домой вместе с каким-то пузатым, но осанистым мужчиной.

Обычной манерой отца в общении с людьми была независимость и простота. Не припомню, чтобы он когда-нибудь

перед кем-нибудь заискивал. Но теперь (я заметил это немедленно) он явно стелился перед тучным гостем: подставил ему табурет, принялся чем-то угощать, угоднически приговаривая: «Садитесь, Михал Кузьмич!», «Кушайте на здоровье, Михал Кузьмич!» Гость (я уверен, что это и был сам «Уполкомзаг») только что не говорил: «Ладно, ништо, молодца, молодца!», а вообще-то был очень похож на некрасовского «купчину». Ткнув в меня пальцем, спросил:

– А это твой сын, што ли?

– Да-да: сынок, – заулыбался отец. – Наследник!

Никогда он меня так не называл, никогда не держался так жалко. Мне было неприятно за него, я сердцем чувствовал, что он боится «купчину», ни во что не ставит и наверняка ненавидит.

Знал бы я, почему отец так держится, – ещё тогда пожалел бы...

Через несколько дней отец вдруг пришёл и сказал, что мы уезжаем. Этому, впрочем, предшествовал небывалый эпизод: в последнее перед отъездом воскресенье мы втроём (с ним и Ниной Александровной) скупил на местном базаре (а был он здесь большой – приезжали даже из соседнего Казахстана, иногда на верблюдах) – скупил все яйца, не торгуясь и оптом, чем, конечно, взвинтили в тот день цену на них. Я только и делал, что носил в двух вёдрах покупки. Потом мы присоединили их к другим продуктам, уже погружённым в полупустой вагон, стоявший на станции в тупике. Там на полу лежала белой кучей тончайшая соль, выпаренная из озёрной воды. Соль была в жесточайшем дефиците: знаменитые озёра Эльтон и Баскунчак были отрезаны от «большой земли» зоной военных действий.

Несколько ранее произошёл другой непонятный эпизод: мы с папой вытащили из подполья заготовленную им ранее картошку, какие-то люди погрузили её на подводу и увезли.

Нина Александровна была назначена сопровождать вагон с продуктами, а мы вдвоём уехали спешно первым попавшимся поездом. Билетов в кассе не было, входных дверей проводники во время короткой стоянки не открыли, и мы самовольно погрузили свои чемоданы на межвагонную переходную площадку, вскарабкавшись и сами по буферам туда же... На нас внима-

тельно поглядывал дежуривший поодаль милиционер. Но не трогал. Потом вдруг подошёл и потребовал предъявить билеты.

– Билетов нет, – ответил отец.

– Тогда слазьте, – сказал милиционер. И, так как мы не подчинились, взялся за верёвку, которой был перевязан один чемодан, и потянул его к себе. В чемодане были купленные отцом продукты. Если бы «мильтон» стянул чемодан вниз – отец не сошёл бы с поезда, не оставил меня одного, и добыча досталась бы хищнику. Тот, конечно, на это и рассчитывал. Но верёвка лопнула, и как раз в это время поезд тронулся!

– Всё равно я ссажу вас на следующей станции, – сказал негодяй – и тут же на ходу сел в следующий вагон. Мы ехали некоторое время молча, потом папа встал и принялся колотить в запёртую дверь переднего вагона ... Случайно в тамбур вошёл проводник, услышал стук и открыл нам дверь.

– Ваши билеты? – сказал он то, что обязан был сказать.

– Потерял, – ответил папа.

– Платите штраф, – сказал проводник. Папа уплатил штраф – и получил квитанцию. Теперь нам никакой представитель власти был не страшен, и мы благополучно доехали до Челябинска, а потом и до Златоуста.

Отъезд наш напоминал бегство – и, как оказалось, действительно был бегством. Смысл событий через много лет объяснила мне Сонечка. Ведь из Челябинска, где была пересадка на Златоустовский поезд, мы заезжали к ней в соседний Копейск, и папа по свежим следам рассказал ей и Ёне о том, что с ним произошло в Петухове.

Оказывается, вернувшись в Петухово из очередной поездки в Златоуст, папа обнаружил, что обменный фонд – водка – была благополучно вылакана его помощником Иваном Фёдоровичем со товарищи. Мой честный, непьющий папа возмутился: «Мерзавец! – думал и говорил он о помощнике. – Там люди голодают, доверили нам спиртное в обмен на продукты, а он...»

О случившемся отец доложил уполкомзагу, которому был подотчётен. Но «Михал Кузьмич», вместо того чтобы привлечь к ответственности вора Ивана Фёдоровича, сказал отцу:

– Не прикидывайтесь дурачком – вы оба несёте солидарную материальную ответственность, вот и отвечать будете

вдвоём. Может, это как раз вы и выпили эту водку. Или – продали! А вину хотите свалить на Ивана. Не выйдет!

И... передал дело прокурору. Прокурор вызвал папу и взял с него подписку о невыезде. Запахло следствием и судом. А суд, и вообще-то на Руси испокон веков «шемякин», в то время был особенно скорым. Причём срок зачастую заменяли штраф-блатом. Вот он – желанный фронт! Но теперь это была бы гибель не только верная, но и бессмысленная, бесславная: штрафники представляли собой истинное пушечное мясо – мясо – по слухам, их порой даже не вооружали, а просто гнали на минные поля.

В отчаянии отец поделился своими заботами с жившим в том посёлке польским евреем Лифшицом.

Польские евреи – в отличие от наших – это были люди, в большинстве своём, закалённые капитализмом, они не только сами прошли школу пройдохества, сутяжничества, жульничества, но и приобрели способность научить этому других. Может, если б не революция, таким стал бы и наш отец. Ведь евреям диаспоры в течение многих столетий была оставлена почти исключительно сфера торговли и ремесла. Притом, чтобы в ней преуспеть, надо было стать хитрее своих партнёров – коренных жителей, которые, чуть что не так, набрасывались на «жидов» с погромами, что превосходно описано Гоголем – в «Тарасе Бульбе» и Шевченко – в «Гайдамаках». Будучи между собой злейшими врагами, казаки и «ляхи» с одинаковой жестокостью громили «жидов».

Единственным оружием против коренного большинства у евреев Украины и Польши было пресловутое «еврейское торгашество», в котором издревле упрекают наше племя. Также и в других странах: например, в немецком языке это понятие даже передаётся одним особым словом: *Das Judentum*. И неудивительно: несчастным апатридам оставили единственное поприще, а когда они в нём достигли (именно по этой причине) особых высот – их же в том и обвинили! В «еврейском торгашестве» уличал своих соплеменников юный Карл Маркс, этот «термин» появился недавно и в работах советских авторов. См., например, рецензию И. Бестужева (журнал «Москва» № 10, 1979), где утверждается, что «капитализм усвоил принципы «еврейского торгашества». Между тем, дело обстоит как раз

наоборот: это евреи, вынужденные заниматься исключительно ремеслом, торговлей и ростовщичеством, в своё время прочно усвоили торгашеские принципы капитализма.

Может быть, даже лучше других усвоили, так как в борьбе с конкурентами были поставлены в особо неблагоприятные условия: конкуренты как хозяева земли имели возможность и преимущество их просто давить. И часто это делали, а если не давили, то топили, как в «Тарасе Бульбе».

Но биологически такие качества, увы, не передаются. В России конца XIX века, под влиянием освободительных и прочих идей времени, многие евреи увлеклись общеевропейской культурой, отошли от «торгашества» – и сразу же очутились в положении «белых ворон». Вяжется ли образ торгаша с такими героями литературы, как Левинсон в «Разгроме» Фадеева, Иосиф Коган – в поэме Багрицкого, бабелевский Лютов? Ну, а сам Бабель, или – Осип Мандельштам, или – Исаак Левитан, или – Борис Пастернак, академики Иоффе и Ландау, доктор Хавкин, Илья Эренбург, Василий Гроссман, Давид Самойлов, Самуил Маршак – неужели торгаши? – Не более, чем, скажем, Александр Блок, Дмитрий Менделеев, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский...

Массовое обывательское сознание не удивлено бескорыстием и житейской неумелостью, когда речь идёт о русском человеке. А вот еврей – другое дело: «они все – хитрые!», «все – торгаши!». Русские, желая уязвить украинца, приписывают ему ещё большую изворотливость: «Где хохол прошёл, там еврею делать нечего!» Еврей, таким образом, эталон изворотливости! Он не может быть непрактичным в житейских ситуациях.

Но, опровергая этот устоявшийся стереотип, именно таким был наш папа! Да и откуда бы ему набраться практичности, ежели он жить учился – по «Капиталу»?

Иное дело – польский еврей Лифшиц. Тот о капитале не читал, но в его законах разобрался практически.

– Довид-Мейшлз! – сказал он отцу (так звал моего папу маленький сын Лифшица; как и все дети, с которыми папе приходилось общаться, малыш льнул к Давиду Моисеевичу, но имя его перевернул по-своему, на идишский лад. – Довид-Мейшлз! – сказал Лифшиц сокрушённо. – Я прамо не знаю, цо ви за человек. Ну прамо как ребёнок. Или ви не видите, что этот ваш

– ну, как его? – пан «палкувзад», и пан прокурор, и ваш Ванька-шикер (то есть пьяница. – **Ф.Р.**) – что это всё одна мешпоха (семейка)? Они просто хотят поиметь от вас пенёнки (денежки). Дайте им пару тысьнц – и они вас отпустят.

– Легко сказать, товарищ Лифшиц, – возразил папа. – Пару тысяч?! Да у меня копейки нет за душой!

– И опять ви ребьёнок! – воскликнул Лифшиц. – У вас нет? – У вас будут! Ви мне сам говорил, цо под полом у вас в хате лежит картошка, цо ви её купил по твордой цене на деньги со-трудникув. Продайте её по цене базарной, – ну, немного уступите, чтоб скорее купили. Ви поимеете хороший прóцент, уплатите хабар (взятку), а остальное раздадите людям – кто сколько давал.

– Но это значит – действительно стать преступником, – возразил отец.

– О! Пан хце быць учцивем (честным) чловекем? – вскричал Лифшиц. – Прóшу пана: то садитесь в вензень (тюрьму)! Будете сидеть як учцивы чловек!

Папа воспользовался рекомендацией умного человека. Другого выхода – не было. Получив взятку, уполкомзаг поделился с прокурором. Тот немедленно снял подписку о невыезде и закрыл дело – в том числе и на своего собутыльника, а по совместительству – кума, – Ивана Фёдоровича. И мы с папой получили возможность бежать из Петухова.

Так честнейший человек по воле шайки облечённых властью негодяев («при Сталине был порядок!») попал в западню и, чтобы вырваться из неё, сам был вынужден пойти на преступления: спекуляцию, взяткодательство, сокрытие преступлений других лиц.

Можно ли удивляться, что вскоре после этой истории папа тяжко заболел...

Одной из причин, способствующих образованию опухолей, современная медицина считает нервные стрессы.

У папы возникла опухоль мочевого пузыря. Он стал ощущать боли, в моче появились сгустки крови. Единственный в Златоусте уролог, киевский доцент Быховский, был стар, не имел клиники и помочь практически ничем не мог. Пришлось выпрашивать служебную командировку, чтобы съездить в Челябинск: без командировки даже на такое малое расстояние нельзя было

получить железнодорожный билет. В Челябинске находился эвакуированный Киевский медицинский институт, а в его составе – очень хороший уролог, профессор В. Папа вернулся из Челябинска очарованный профессором. Тот сделал ему цистоскопию: при помощи специального аппарата исследовал изнутри мочевого пузыря и установил наличие опухоли. Её требовалось удалить, а сделать это возможно двумя способами: оперативным – путём вскрытия брюшной стенки и пузыря – и методом электрокоагуляции, которая выполняется одновременно с цистоскопией в течение ряда сеансов. Через мочевые пути внутрь пузыря вводится электрод, и опухоль постепенно, в несколько приёмов, выжигают электричеством. Так, по крайней мере, объяснял мне, отец, и прошу прощения, если я изложил это неточно.

Профессор считал коагуляцию методом предпочтительным, так как она больше гарантирует от рецидивов. Но делать эту процедуру мог только амбулаторно: в клинике не было мест, а, возможно, не было и самой клиники... На процедуры папа должен был каждый раз приезжать из Златоуста – километров за сто двадцать пять, – и, значит, каждый раз брать командировку. Конечно, можно было бы на время лечения поселиться у Сонечки – в Копейске под Челябинском, но... кто выпишет больничный? Пришлось выбрать приемлемый – и, как оказалось, опасный вариант.

Папа взял командировку, чтобы явиться на первый сеанс, но он оказался также и последним. Командировка не была условной – надо было выполнить реальное производственное поручение. И после сеанса коагуляции, лишь недолго полежав на кушетке, отец отправился на какой-то завод. Там ему пришлось помочиться по инстанциям. А вскоре от так плохо себя почувствовал, что вынужден был срочно уехать домой. Поздним мартовским вечером вернулся в Златоуст, едва добрался домой и буквально свалился в постель. Наутро не то что стать на ноги – не мог даже повернуться в постели. Уже к вечеру образовались пролежни...

По мальчишеской своей безмозглости я не подумал о том, что в опасности жизнь отца, но огорчился больше всего тем, что его болезнь может помешать нашему возвращению в Харьков. В Гипростали полным ходом шла подготовка к реэвакуации, и отца (перед тем, как он слёг) предполагали назначить начальни-

ком эшелона. Теперь же не только к этому назначению он стал непригоден, но и вообще, как говорили, *нетранспортабелен*.

Надо было срочно проконсультироваться со специалистом-урологом. Мама выпросила в Гипростали единственную там машину – полуторку, села в кабину рядом с шофёром Таней и отправилась в центр города за Быховским. На обратном пути рядом с Таней сидел, конечно, он, а мама тряслась в кузове.

Быховский оказался седеньким длинноволосым старичком – волосы падали с затылка ему на плечи, а голова была увенчана обширной лысиной.

– Где мой напальчник? – приговаривал он дребезжащим фальцетом, роясь в привезённой сумке. Осмотрев и ощупав папу, сказал, что коагуляцию надо продолжить, но сделать это можно и в Харькове, где есть профессор-уролог Моклецов, а у него – клиника и аппаратура.

– В Челябинск его возить нереально, а в Харьков эшелон доведёте, – сказал старичок. – Я лично за Харьков.

Решено было ехать. Этому способствовала, я думаю, и наша ностальгия по родным местам.

Как раз за год перед тем, в феврале 1943-го, Харьков был освобождён от оккупации в первый раз. Немедленно туда выехали представители Гипростали. Всего лишь месяц находился город в руках советских войск, но за это время успели развернуться многие учреждения. И когда он был вторично сдан, довоенные сотрудники, почему-либо не успевшие (а, может, не пожелавшие) эвакуироваться в 41-м, на этот раз явились в Златоуст. Зайдя к своему приятелю Валере Куколю, с интересом слушал я рассказы приятеля его отца – инженера Ливаденко: как он торговал на базаре (кажется, мясом), как бил его немецкий офицер. Но особенно занимал моё воображение другой прибывший из Харькова инженер – Мильман. Будучи евреем, сохранить жизнь – это, как мы уже знали, удавалось лишь единицам. Мильман был послан на рытьё окопов, попал там в окружение, но сумел скрыть «грешное» и роковое своё происхождение, отпустил бороду и усы, перешёл на украинский язык – и остался жив. Так теперь и ходил с рыжей бородой и усами, что в те годы было не модно.

Когда через полгода Харьков освободили вновь, стало ясно, что это уже навсегда. К возвращению готовились основа-

тельно. Эшелон, хотя и состоявший из товарных вагонов, был оборудован добротными нарами. Но как на них положить больного папу? По опыту мы знали: в товарняке от толчков может душу вытрясти даже у здорового...

Мне пришло в голову, как можно облегчить тряску: надо сделать раскладушку – приспособление с натянутой холстиной. Провисающая ткань смягчит толчки... Отчасти я оказался прав. И всё же каждый толчок был для больного мучителен. За несколько секунд до того как вагон тронется с места, издали, от паровоза, слышен набегающий, нарастающий лязг. Он всё ближе, всё слышней – внутри у вас всё сжимается, ждёт удара, и вот, наконец, – ббемз! – вытрясающий все внутренности рывок. Хорошо ещё, если поезд после этого поехал, а то ведь опять остановится, да назад сдаст, да снова: – ббемз! Иногда рывки следуют один за другим. Тут и здорового стошнит, а уж у больного болит каждая жилочка...

Но за весь двенадцатидневный путь папа не издал ни сто-на, не высказал ни единой жалобы. Заслышав вдали нарастающий лязг, приподнимался на локтях – и ждал... Но и во время движения состава не мог расслабиться: в товарном вагоне нет мягких рессор, человеку ехать в нём – тряско, беспокойно, и папа весь путь проделал на локтях, отдыхая лишь во время стоянок – благо, они были частыми и долгими.

Мама, сама очень больная (у неё в Златоусте разыгралась язва двенадцатиперстной кишки с очень сильными болями и рвотами) терпеливо за ним ухаживала. Мы с сестрой помогали, чем могли. Но вот могли-то не слишком много...

Возвращались назад тем же путём, каким ехали два с половиной года назад. Но как же изменилось всё вокруг! Вот Лиски, вот Валуйки, Купянск, – руины, обгоревшие груды железа и камня... Но дорогу обратно – вот удивительно! – я запомнил гораздо хуже, хотя был теперь значительно старше.

...12 апреля 1944 года мы прибыли в Харьков.

Intermezzo-8

МОЙ ХАРЬКОВ!

Тебе не повезло на яркую славу: ты – не Одесса с её ласковым морем, пёстрым Ланжероном, задумчивым Дюком, всемирно знаменитой Дерibasовской. Тебя не упоминают в анекдотах, и нет о тебе ни одной песенки, которую пели бы в народе, а не на официальном концерте по случаю очередного ...летия.

Ты и не Ленинград – город «самых культурных» людей, самых богатых музеев, а улиц и площадей столь прославленных, что даже ни разу не побывавший там человек помнит хотя бы два-три названия: Невский, Фонтанка, Дворцовая площадь... И не Владивосток, о котором Ленин сказал, что он – «город нашенский», не Киев с его каштанами (хотя и у тебя их не меньше!), не Таллинн – город-шкатулка, где, по Чичибабину, «Тоомас лапушки развёл». Не южный Ростов, о котором, даже если ничего не знаешь, то скажешь, что он «на Дону». И не Ростов северный – хотя и маленький, но великий.

И уж, конечно, не Москва, – наша единственная, наша своенравная красавица, от которой каждый день всего можно ждать.

А ты, Харьков, – чем ты знаменит? Каков твой общеизвестный символ? Ну, конечно, турбины, самолёты, приёмы, Людмила Гурченко.

Но ведь такое (кроме Людмилы) есть во многих городах. А она на нас обиделась – и знать не хочет... Что же в Харькове своё, неповторимое, особенное?

Кто-то ответит: ХТЗ. Но другой, особенно если колхозник, тут же ядовито расшифрует: «Хрен, Товарищ, Заведёшь!» Вот вам и символ.

Однако из твоих, о Харьков, 325-и и моих 52-х 42 мы прожили вместе. А это что-нибудь да значит.

Твои улицы, парки, рынки – мой личный музей. Я сам себе и посетитель, и экскурсовод. И – экспонат. Вот здесь я впервые переступил порог школы, а вот на этой аллее впервые обнял и поцеловал девушку. А в этом ЗАГСе женил-

ся, а вот тут стоял роддом, где я принял из рук нянечки перевязанный голубой лентой кулёк – своего новорождённого сына...

Хожу по твоим улицам, как по музею – и как по кладбищу. Сколько дорогих людей жило тут – и как будто их не бывало: ушли, покинули мир – и никто не помнит их радостей, мук, их неповторимых голосов. А если и помнит, то старается забыть...

Папа и Мама!

В тесной своей могиле

*Вы – бок о бок, вы – вместе, вы – рядом, -
как страдали, как жили.*

*Вы навек неразлучны! Не об этом ли счастье мечтали,
Под столыпинский стук проносясь в неоглядные дали?
Не страшны вам теперь ни донос, ни допрос, ни навет –
Вы свободны – навек, и спокойны – навек!*

Мама и Папа!

*Разве было вам лучше на койках железных в тюрьме?
Разве не была ночь воркутинская и холодней, и темней?
Разве нары в вонючих бараках были мягче соснового гроба?
Отчего же вы оба молчите? Отчего не поёте? Отчего же
не пляшете оба?*

Папа и Мама!

*Повезло вам в жизни – да так, что только держись!
Распрощавшись с вами до срока –
воркутинские нары тихо грустят,
И безумно тоскует, вас не дождавшись,
Магадан ли, Тайшет
или какой-нибудь Бийск...*

Мама и Папа!

*Если б вы только знали, какая бушует над вами чудесная
жизнь!*

На ваших костях.
Для ваших убийц.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	5
Часть 1. Записки без названия	19
Глава 1. Ленинградский Петербург	21
Первые гадости	21
Маруся	25
«Великий фантаст»	26
Именное оружие	34
Ёлка	35
Среднее ухо	38
Искусство и литература - 1	40
Наши ленинградцы: Шлёма, Этя и др.	45
Intermezzo-1. ДАВНЫМ-ДАВНО... ..	51
Глава 2. Via dolorosa. 1937: тема с вариациями	52
Феликс Аннович	52
Харьковские «Форсайты»	55
Шишаки	60
Хочу лошадь!	63
Первая ласточка – Лёва	65
«Так надо!»	69
Абраша и китайский вопрос	70
Мамина ошибка	71
Папина ошибка	73
Цена жизни	74
Цена ошибки	75
Цена смерти	76
«Смейся, паяц!»	78
Intermezzo-2. ПРЕСТУПНАЯ ПРАВДА	81

Глава 3. До войны	82
Изгнание из рая	82
Еврей Иванов	88
Первый звонок	102
Искусство и литература-2. Про шпионов	110
«Область государственных интересов Германии»	118
 Intermezzo-3. КАВУНЫ	 123
Глава 4. «Необыкновенное лето»	124
22 июня 1941 года	124
Как наш папа участвовал в Великой Отечественной войне	127
«Вошь» и «Жид»	131
Тревоги	137
У Сазоновых	142
 Intermezzo-4. ЧУВСТВО РОДИНЫ	 156
Глава 5. Дорога	158
В телячьем вагоне	158
Бабинкино	164
Шпроты	168
Пароход	172
Эвакопункт	177
На финишной прямой	180
 Intermezzo-5. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	 185
Глава 6. Свеча	187
Русский Содом	187
Искусство и литература – 3. Первоначальные песни	197
Весна	209
Лето	213
Осень. Глушки. Отъезд	226
 Intermezzo-6. УЗЕ НА КОЗЕ	 232

Глава 7. Златоуст	234
Трамвай «маневрует»	234
Хозяева и соседи	235
Борька Медный	236
Метзавод	238
Голод	243
Развлечения	244
Занятия	246
Intermezzo-7. ПУМПА-КВА!	247
Глава 8. Папа	268
Intermezzo-8. МОЙ ХАРЬКОВ!	283

Автору цієї книги, на момент її виходу в світ, виповнилося 84 роки. З них в дитинстві і юності він в різний час близько десятка років жив у Росії, близько 45 років – в Україні, а останні чверть століття – в Ізраїлі. Журналіст, педагог, письменник. Автор трьох поетичних збірок, ряду мемуарних книг, критико-бібліографічних оглядів, публіцистичних статей. Лауреат ізраїльської літературної премії імені Віктора Некрасова «За гуманізм творчості» (2014).

Книга «Повторення пройденого» – це спогади автора про життя його і його сім'ї, що потрапила в м'ясорубку сталінських репресій. Почавши писати їх на рубежі свого сорокаріччя, ще без найменшої надії на їх опублікування, автор вирішив створити правдиву розповідь про події, парадокси і безглуздя свого часу, про побут і вдачі епохи. Більшість сюжетів пов'язані з Харковом. Частина перша – хронологічна розповідь про дитинство і отрочество оповідача, про життя в евакуації і паралельно – про трагедію його родини.

Книга призначена для широкого кола читачів.

Літературно-художнє видання

РАХЛІН

Феликс Давидович

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Воспоминания

Часть 1

(російською мовою)

ISBN 617-7266-23-4



9 786177 126623 4

Відповідальний за випуск *Є. Ю. Захаров*

Редактори *Є. Ю. Захаров, З. А. Жданова*

Коректор *І. Б. Захарова*

Комп'ютерна верстка *Ю. А. Жданов*

Підписано до друку 09.04.2015

Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офсетний. Гарнітура Times

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 15,73. Умов. фарб.-від. 17,02

Умов.-вид. арк. 17,36. Наклад 1000 прим.

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»

61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35

Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.